Матиас Александри
Кастрен

ПУТЕШЕСТВИЕ В СИБИРЬ

(1845–1849)

Матиас Александтери

КАСТРЕН

СОЧИНЕНИЯ
в двух томах

Под редакцией С.Г. Пархимовича
Составитель Ю.Л. Мандрика
Комментарии А.П. Зенько, С.Г. Пархимовича

Матиас Александтери

КАСТРЕН

том 2

Путешествие в Сибирь
(1845 — 1849)

Нижнеазартобское
МУ "БИС"
инв.№ 91621-1

Издательство Ю. Мандрики
Тюмень, 1999

ББК 63.5 (2)
К 28

К 28 КАСТРЕН Матиас Александтери
Сочинения в двух томах: Т. 2. Путешествие в Сибирь (1845—1849)/Под ред. С.Г. Пархимовича. Сост. Ю.Л. Мандрика; Коммент. А.П. Зенько и С.Г. Пархимовича. — Тюмень: Издательство Ю.Мандрики, 1999. — 352 с. — [Приложение к журналу «Лукич»].

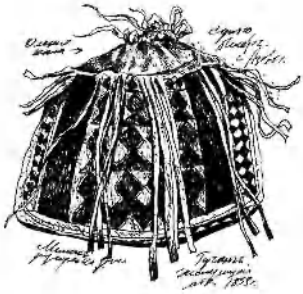
Во второй том вошли путевые записки М.Кастрена «Путешествие в Сибирь (1845—1849)».

Книга адресована тем, кто интересуется историей *края. Сибири*.

© Издательство Ю. Мандрики (издание), 1999.

ISBN 5-93020-020-3
ISBN 5-93020-019-x (том 2)

КАСТРЕН Матиас Александери
(1813 — 1852)



Путешествие в Сибирь
(1845—1849)

Путевые заметки

Казань, апреля 1845 г.

Справив важнейшие дела свои в Петербурге, я начал свое вторичное путешествие в Сибирь 12 (24) марта. Как нарочно, этот день был один из так называемых черных дней, dies infaustus, коротко — понедельник, в который в России неохотно пускаются в дорогу. Основываясь на этом, друзья мои хотели задержать меня еще на один день в Петербурге, но «дружба дружбой, а служба службой», говорит русская пословица; да и я сам был такого мнения, что из трижды трехсот шестидесяти пяти служебных дней не стоит оттягивать у казны один какой-нибудь служебный день в угождение дружбы. Итак, подкрепленный хорошим завтраком и напутственными желаниями добрых друзей, уселся я в упомянутый день в сани, которые, кроме меня, приютили еще моего спутника кандидата И.Р. Бергстади и пастора Платана, отправлявшегося на Ситху. На тройке бойких коней, с лихим ямщиком и в легких санях я надеялся быстрой, веселой ездой заглушить чувства, от которых не так-то легко отделаться в минуты, подобные той, которую описываю; но роковой понедельник вслал на меня сильную метель, лишь только я выехал за заставу на московскую дорогу. Правда, что в хорошо ухиченных[1] русских санях с верхом физические страдания не так страшны и при далеко еще сильнейшей непогоде, но какому ж ученику в истории человеческих бедствий неизвестно, что при некоторых обстоятельствах и ничтожная неприятность мучит гораздо более, чем при других и далеко важнейшая. Так и нынче за московской заставой, вероятно, не имела бы для меня никакого значения, если бы я ехал на свадьбу или за получением степени магистра; но так

[1] Сноски, имеющие цифровую нумерацию, принадлежат автору комментариев и помещены в конце книги на С. 326–342. К словам, обозначенным астериском (*), имеются примечания автора (переводчика), которые помещены внизу страницы. — *Прим. издателя.*

как цель моего путешествия была Сибирь, а в Петербурге я простился с последними еще оставшимися у меня финскими друзьями, то небольшая разладица в природе и пробудила во мне тоску по родине и в то же время горькое воспоминание о сибирских тундрах. Мне казалось, что путешествие мое из отечества на тундры составляет некоторым образом совершенную противоположность вознесению пророка Илии на небо, потому что как, с одной стороны, отечество должно считаться нашим земным небом, так, с другой, всякий, кроме разве какого-нибудь самоеда, согласится, что нет на земле ничего ужаснее сибирской тундры.

Сверх непогоды и сама местность немало содействовала к пробуждению во мне воспоминаний о тундрах, которые составляли цель моего путешествия и должны были сделаться моим отечеством на целых три года. Я ехал по беспрерывным необозримым равнинам, безлесным, пустынным и однообразным, как тундра; нередко из-под стаявшего снега проглядывала темно-бурыми пятнами земля, точь-в-точь как на болотистых тундрах. На дороге ни души, все живое попряталось от непогоды, деревни и дома скрылись за облаками вьющегося снега. Такая точно природа и такая же упорная непогода преследовали меня почти по всей Петербургской и Новгородской губернии. Только окрестности Валдая отличались несколько от всего этого пространства своими песчаными холмами, но высота и этих холмов так незначительна, что их очень можно сравнить с подобными возвышениями на тундрах. С Новгородскою губернией оканчиваются Валдайские горы, и в Тверской снова начинается равнина, но уже красивее, живописнее и разнообразнее прежней. Независимо от естественной, безыскусственной красоты природы, как в Тверской, так и в Московской и во Владимирской губерниях встречается немало поместий, украшенных садами, парками, аллеями и т.п. Но кому придет в голову наслаждаться красотами природы в конце марта, когда не знаешь, как уберечь лицо от грязных комков снега, летящих с дороги из-под копыт лошадей! Во Владимирской губернии меня приятно поразила еще большая красота природы. Я говорю не о безлесных, подобных тундрам, возвышенностях, которые тянутся там на большие пространства и с которых одним взглядом можно обозреть

целый хаос голых снежных полей; кроме таких возвышенностей, в этой губернии встречаются и довольно крутые, поросшие стройными елями, на которых всегда с удовольствием остановится взор финляндца. В Нижегородской губернии дорога шла вдоль Волги. Берега ее состояли из безлесных, песчаных, очень высоких холмов, которые скрывали от меня находящиеся за ними пространства. Все, что я мог видеть, составляло непрерывную равнину. В Казанской губернии я продолжал свой путь вниз по Волге, но здесь берега ее уже не представляли собой обнаженных песчаных холмов, как в Нижегородской: с одной, и именно по правой стороне реки, тянется гористая страна, густо поросшая дубами и вязами; по левой — пространные равнины, состоящие, как говорят, из лугов и пахотных полей.

Путь, совершенный мною от Гельзингфорса до Казани, составляет около 2000 верст. Само собою разумеется, что в продолжение этого пути представлялся случай видеть многое, но, в сущности, я не осмотрел ничего. Через Новгород Великий я проехал, не взглянув даже на место, где граждане во время оно возвышали свой голос во имя общего блага. На прекрасное местоположение Твери я полюбовался за чашкой кофе из окна высокой светелки на станции. Наконец в Москве я посетил Кремль, видел старинный царский дворец, оружейную палату и достопримечательную церковь, которую Иван Васильевич соорудил в память покорения Казани, после чего ему заблагорассудилось приказать выколоть глаза архитектору, чтобы лишить его возможности построить еще другое, подобное этому, чудо. В числе прочих достопримечательностей Кремля мне показывали и знаменитый колокол. Осмотрев все, что заслуживало особенного внимания, я вышел из Кремля воротами, которые, как говорят, Наполеон взорвал на воздух, причем, следуя всеми соблюдаемому обычаю, я должен был снять шляпу, потому что над воротами висит образ, оставшийся невредимым при взрыве. Пробыв три дня в Москве, я продолжал свой путь на Владимир — ближайший губернский город. Здесь я остался ночевать и этим самым избежал несчастия, постигшего многих других путешественников, которые с лошадьми и санями были занесены снегом на одном из подгорных холмов и принуждены были провести там всю ночь истинно по-самоедски. По-

лумертвые возвратились они на следующее утро во Владимир, жалуясь на ночлег и горюя о 50 рублях, которые должны были заплатить за свое освобождение. «Бог тебя обдумал», — заметил мой ямщик, услыхав, что и я располагал было ехать в эту ночь. В Нижний Новгород я прибыл одолеваемый разнообразнейшими недугами, но, несмотря на то, продолжал свое путешествие в Казань.

Здесь, наконец, я остановился на несколько недель, но до сих пор еще не посвящен в таинства города. Дело в том, что у русских теперь страстная неделя, все говеют и молятся и, следовательно, недоступны взорам оглашенных. Точно так же и я веду уединенную затворническую жизнь, но не столько размышляю о своих грехах, сколько о древнейших жителях Казанской губернии.

Известно, что казанская земля, или средняя часть волжской речной области, была поприщем множества разных народцев, из которых иные уже исчезли с лица земли, другие еще существуют, но большей частью, кажется, уже перестали играть роль во всемирной истории. Коренными жителями этой страны были булгары[2] — народ не оставивший по себе никаких следов, кроме гробниц и развалин разрушенных городов, хотя, судя по всем признакам, они стояли на довольно высокой степени образованности и имеют весьма важное значение в древнейшей русской истории. Первые сведения о булгарах мы имеем от аравийских и византийских писателей. Они представляют булгар народом торговым и по религии последователями магометанства. Главным городом их царства был город *Болгари*, развалины которого, говорят, и теперь еще видны при Волге, неподалеку от города Спасска, в 90 верстах к югу от Казани. Булгары относятся византийскими историками к одному классу народов с гуннами, которые, по всей вероятности, были родоначальниками финнов. Вообще и другими историками булгары причисляются к финскому племени и преимущественно на том основании, что, как замечает Ф.Г. Миллер[3], и теперь еще многочисленные ветви последнего встречаются в стране, где некогда булгары играли роль свою. Царство булгаров пало, и на развалинах его возникло Монголо-татарское царство с главным городом его Казанью. Когда впоследствии наступил и его час и вся страна до Урала покорилась

русскому скипетру, область Казанская все еще была наводнена башкирами, киргизами[4] и калмыками, которые заодно с приволжскими финскими племенами действовали против России.

После многократных, но в древнейшие времена малоизвестных народных передвижений, происходивших в пределах казанской части волжской речной области, и в настоящее время существуют еще здесь три племени, которые господствовали в этих местах одно после другого, а именно: финское, татарское и славянское. Теперь русские составляют наибольшую, татары наименьшую часть населения страны. По последней ревизии показано было в Казанской губернии: русских 504930, татар — 136470, а финских племен всех вместе — 356191. Относительно татар полагают, что они произошли из смешения турок с монголами, которые соединились в один народ во времена монгольского владычества. Несмотря на то турки и монголы почитаются до такой степени различными между собой, что обыкновенно их причисляют к двум различным расам. Совершенно противоположного, однако ж, мнения датский филолог Раск, который настаивает на положительном сродстве этих двух народов и, сверх того, полагает далеко простирающееся сродство и между всеми племенами, которые причисляются к монгольскому, манджурскому, турксому, финскому, самоедскому, тунгузскому[5], северовосточно-сибирскому и североамериканскому семейству. Это мнение приобретает, кажется, в наше время все более и более достоверности. По крайней мере в России я имел случай познакомиться с людьми, специально занимающимися этим предметом, и они считают сродство между турксим и монгольским племенем не подлежащим никакому сомнению. Впрочем, как филологи, так и физиологи давно уже допускать сродство между финнами и монголами, сродство же финского племени с турксим почти несомненно. Таким образом, и через финнов мы приходим к тому, что турки, или татары и монголы, принадлежат к одной и той же расе.

Кроме русских и татар, в Казанской губернии встречаются еще чуваши, черемисы, мордва и вотяки[6], которые все принадлежат к финскому племени. О происхождении чувашей существуют, однако ж, два различных мнения. Одни полага-

ют, что первоначально они составляли финское племя, которое вследствие соседства и сношений с татарами до такой степени оттатарилось, что теперь едва уже можно и причислять его к финскому семейству. Другие утверждают, напротив, что чуваши и по самому происхождению турки и только заимствовали многое от пограничных финских племен. Некоторые полагают их потомками древних булгар. Последнее мнение, принадлежащее знаменитому ориенталисту Френу, заслуживает особенного внимания и точнейшего исследования*. Но так как мои сведения по этому предмету не позволяют предпринять подобного исследования, то я ограничиваюсь только предположением, что чуваши — татарская ветвь черемисов. К этому предположению приводит меня сродство языков, смежность мест жительства обоих народов и еще то обстоятельство, что *Нестор* не упоминает особенно о чувашах. Места жительства чувашей и черемисов разделены только Волгой. Чуваши живут преимущественно на правой, или горней, стороне Волги, а черемисы, напротив, — на левой, или луговой. Местами встречаются, впрочем, чувашские селения и на левом и черемисские на правом берегу. Чувашская ветвь простирается по губерниям: Казанской, Оренбургской, Саратовской, Симбирской и Вятской; черемисская — по Казанской, Костромской, Нижегородской, Оренбургской, Пермской и Вятской. Чуваши составляют после финнов самую многочисленную ветвь финского семейства, их полагается до 400000 душ, из которых 271758 живут в Казанской губернии. Черемисов же, общее число коих немногим более 200000 душ, считается в помянутой губернии только 67657. Народ этот играет в русской истории немаловажную роль, потому что во времена Казанского ханства черемисы с диким отчаянием дрались против русских князей и даже после падения ханства упорно сопротивлялись водворению русского владычества. Как чуваши, так и черемисы большей частью приняли крещение, но тем не менее все-таки сильно привязаны к своим старинным языческим обрядам, которые, как говорят, у обоих народов имеют весьма много сходного. О религии, нравах и образе жизни чувашей и черемисов г-жа Фукс сообщила весьма интересные сведения.

* Название булгары, болгары (волгары), может быть, даже вовсе и не собственное имя, а обозначало просто приволжских жителей.

Мордвы, составляющей самую южную ветвь приволжских финских племен, полагается всего на все до 92000 душ, из которых только 1137 живут в Казанской губернии. Прочие разбросаны по губерниям Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Симбирской. Все мордвины исповедуют православную веру. Они разделяются на две ветви: западную — *эрсад*, живущую по Оке, и восточную, которая называет себя *мокшад* и живет по Сузе и Мокше[7]. Разница между обеими ветвями состоит, как говорят, собственно только в том, что эрса сохранили себя от татарского влияния более, нежели мокша. Вообще, однако ж, все три народа, принадлежащие к волжскому племени: и чуваши, и черемисы, и мордва, — более или менее отатарились и именно этим-то и отличаются от всех других ветвей, принадлежащих к финскому племени.

К финскому приволжскому населению примыкает на севере пермское племя, самую южную ветвь которого составляют вотяки. Северные соплеменники их суть пермяки и зыряне — две ветви, которые можно принять за одну, потому что и по языку, и по нравам их нельзя отделить друг от друга. Северные вотяки сходны с сими последними, южные же ближе к черемисам. Хотя вотяки большей частью крещены, однако ж и они сохраняют еще привязанность к своей языческой вере, которая, по свидетельству г-жи Фукс, мало отличается от чувашской и черемисской. Всех вотяков считается до 100000, они живут в Казанской, Оренбургской и Вятской губерниях. Наиболее их в Глазовском уезде Вятской губернии. В Казанской число их простирается только до 5399 душ.

Вотяки, как сейчас было уже замечено, составляют посредствующее звено между волжским и пермским племенем. Оба эти племени играли в древние времена весьма важную роль в истории Восточной России. Эту часть страны занимали некогда, по свидетельству летописцев, две немаловажные торговые державы: Пермская на севере и вышеупомянутая Булгарская — на юге. К первой принадлежали исключительно финские народы, как пермского, так и карельского племени. Последняя совмещала в себе, кроме булгар, которых происхождение еще не определено, все приволжские финские племена. Если, с одной стороны, и нельзя не допус-

тить, что ни одна из обеих помянутых держав не составляла замкнутого в самом себе целого государства с общими для всех законами и учреждениями, но была раздроблена на мелкие племена, из которых каждое имело главою своего собственного племенного князька, то, с другой стороны, не подлежит никакому сомнению, что именно эти народы положили первое основание цивилизации Восточной России. О финском племени вообще можно сказать, что оно распространило семена цивилизации по снежным полям Севера. Каково бы ни было политическое значение этого племени, во всяком случае даже и самое несправедливое к нему историческое исследование не отвергает его важного значения в отношении к истории цивилизации, а потому, если есть только правда на земле, то финское народное семейство во всем своем объеме получит место в истории. По крайней мере о *Великой Перми* и *Великой Булгарии* будут помнить до тех пор, пока Россия будет иметь историю, потому что древняя история Восточной России есть ее история, хотя, как уже сказано, в сущности, это только история цивилизации. Земледелие и торговля — первые шаги к цивилизации. Что финские племена были в России самыми прилежными земледельцами — это известное дело. Что же касается до торговли Бьярмаландии[8] и Булгарии, то о значении ее единогласно свидетельствуют историки многих стран. В высшей степени вероятно, что торговый путь от Белого к Каспийскому морю пролегал по владениям пермяков, булгар и хазар и что этот путь продолжался к северу до Норвегии, к югу до Индии. Такие торговые сношения были возможны вследствие больших рек, перерезывающих Восточную Россию. На плодоносных берегах этих рек могло также с успехом производиться и земледелие. Лес важен только для диких, кочующих народов. Лесной житель чужд и всегда останется чуждым цивилизации. Поэтому мы видим, что и финские племена по мере успехов цивилизации селятся по рекам, морям и озерам. Выше мы заметили уже, что Волга с незапамятных времен была средоточием для чувашей, черемисов и мордвы; пермское племя занимало речную область Камы и Двины; угорское, состоящее из вогулов и остяков, сосредоточилось у Оби; карелы жили прежде по Двине и Белому морю, весь[9] — по Онеге и Белому озеру и т.д.

Отсюда объясняется далее замечательное, но, сколько мне известно, до сих пор еще не замеченное обстоятельство что разные финские племена получили свои названия о известных рек или заключают в своем наименовании слов «вода». Так, остяки называют себя Chondy-chui или As-chui т.е. народом конда или обьским народом; пермяки называ ют себя *коми* по Каме[10]; мордва значит буквально — наро при воде; зыряне, мокшаны, печеры и пр. — все это имена произведенные от названий рек. От слова «вода» можно так же без натяжки произвести названия вотов, вотяков, веси Слово это звучит в различных финских языках: *wa* (зыр.) *wu* (вот.), *wit* (чер.), *wesi*, собственно *wete* (финн.), *wa* (мордв.), *tschattoe* (лапл.) и т.д. Тот же самый корень встре чается и в некоторых индогерманских языках, например wasser, vatten, вода и т.д. В финских языках, как видно из приведенных примеров, корень, первоначально двусложный изменялся различным образом. Не говоря об обыкновен ных изменениях гласной, в черемисском и мордовском язы ках только отброшена конечная гласная. Кроме того, в зы рянском и вотяцком и буква t превратилась еще в придыха ние, что во всех финских языках весьма обыкновенно. Что и в последних языках t также принадлежало первоначаль но к корню — это доказывается не только сравнением с лаппонским, финским и другими языками, но еще и той особенностью, общей всем финским языкам, что, за исключением местоимений и частиц, в них нет ни одного односложного коренного слова, если только в этом слове не встречается долгой гласной или двугласной. Поэтому для употребляемого в настоящее время корня *wu* надобно предположить в вотяцком языке более первоначальную форму *wut*, *wuti*. А так как сами вотяки называют себя *wut* (*ut*) или *wut-mort*, то это название и означает так же, как и *мордва*, просто-напросто «народ при воде». То же значение имеет, по всей вероятности, и имя *вотов*, которые сами называют себя *watjalaisel*, точно так же и весь — от *vesi*.

Другое обстоятельство, не менее важное в вопросе о названиях финских племен. Подобно самоедам и многим другим диким народам, финские племена называли себя первоначально также общим именем «*люди*». Теперь они имеют, конечно, специфические имена, но у некоторых из них на-

звание *человек* и теперь еще придается только урожденцу. Так, у зырян слово *mort* значит «человек» и вместе с тем «урожденный зырянин», особи же другого племени называются *jös* или *jös-mort*, а во множественном числе *woityr* или *woityrjas* — иноземцы, в противоположность *mortjas* — людям, или зырянам. Так же точно черемисы сами называют себя *mara* — человек, а иноземцев — *edem* (от татарского *adam*). Название олончан *lyytl* (от люди, *Leute*) есть, вероятно, перевод какого-нибудь туземного, равнозначащего слова. Возвращаюсь к вышеприведенным словам *mort* (*mord*, *murt*) и *mara*. По происхождению своему они одно и то же слово, родственное персидскому *ma rd*, которое равным образом значит «человек». Здесь в черемисском также отпало на конце t и затем корень принял мягкое a, и именно вследствие общей финским языкам наклонности к двусложным корням. Происшедшее таким образом *mara*, по русскому произношению, почти непроизвольно переходит в *marja*, которое, для отличия от собственного имени Марья, легко могло превратиться в меря. Так называется у Нестора финский народец, который, по его свидетельству, жил к западу от черемисов, в окрестностях старого Ростова. Так как этот, уже исчезнувший из истории, народ носит одно название с своими соседями черемисами, то мы и имеем полное право заключить, что он или состоял из черемисов, или был весьма близкое к ним племя. Другое, также исчезнувшее финское племя — *мурома* жило к югу от мери или к западу от нынешней мордвы, в стране, где теперь город Муром. Слово *мурома* составлено из *mur*, очевидно, сродного с *mort* (*murt*) и из *ma* — земля, страна. Поэтому в буквальном переводе слово *мурома* значит «люди из земли», в противоположность *мордве* — «людям при воде». Из этих названий, кажется, можно заключить, что оба эти народа принадлежали к одному и тому же племени, но разделились на две ветви, из которых одна (мордва) поселилась у реки, а другая (мурома) была, напротив, отрезана от нее. Предположение это в высшей степени правдоподобно, но, чтобы привести генеалогию мери и муромы в совершенную ясность, нужно было бы подробно исследовать все не русского происхождения названия местностей, которые, может быть, еще встречаются в пределах древнего местожительства обоих народов. Я уже приступил было к тако-

му исследованию, но должен был оставить его за неимением достаточных лексикографических пособий. Во всяком случае нетрудно было убедиться, что в древних землях мери и муромы действительно множество названий мест, заимствованных из коренного финского языка; но принадлежат ли некоторые из них исключительно мордве и черемисам — этого я покуда еще не могу решить.

Письма

Статскому советнику Шегрену в С.-Петербург.
Казань, 31 марта (12 апреля) 1845 г.

Хотя я и сильно утомлен и разбит продолжительной тряской по скверняйшей дороге, спешу, однако ж, уведомить вас о своем прибытии в Казань, что при других обстоятельствах легко мог бы и отложить. Дело в том, что в настоящую минуту здесь, в городе, очень мало черемисов, и потому г. Фукс советует мне отправиться в его имение, находящееся в 72 верстах от города, в настоящей черемисской стране. На это предложение я согласился бы только в случае крайней необходимости и все-таки неохотно, потому что и без того придется ездить более, чем вдоволь. Притом же я думаю, что для верного и успешного достижения цели надобно избегать всех окольных и боковых путей. Поездка, предложенная г. Фуксом, вероятно, завлекла бы меня слишком далеко в черемисский мир решительно в ущерб моему главному занятию — изучению самоедов, а потому я до сих пор и не решился еще на сделанное мне предложение.

Пробыв целых 16 дней в дороге, я прибыл третьего дня, 10 апреля, в Казань с кашлем, катаром и разбитым от тряски телом. На пути со мною не было никаких особенных приключений... В Москве я охотно остался бы еще несколько времени, потому что гг. Погодин и Спасский могли бы оказать мне много пользы своими обширными историческими сведениями, в особенности своими редкими рукописями, но во время пребывания моего там погода была так тепла, что надо было опасаться скорой и совершенной порчи зимнего пути, хотя впоследствии опасение это оказалось

неосновательным. Долго ли я пробуду в Казани — это зависит, во-первых, от петербургских документов, которые еще не прибыли, во-вторых, от летнего пути. Само собою разумеется, что я не заживусь здесь без нужды, но ближе трех или четырех недель едва ли мне удастся выбраться из Казани. До отъезда я, по всей вероятности, еще буду иметь честь написать вам несколько строк.

С чувством искреннейшей благодарности неоднократно вспоминал я об особенной милости и благосклонности, с которыми я был принят в Петербурге вами, некоторыми другими членами Академии, семейством Сирена и др. Неприятности, испытанные мною после того в дороге, резкой противоположностью своей еще усилили во мне сожаление о прошедшем и в особенности о счастливых днях, проведенных в Петербурге.

Асессору Ф. И. Раббе в Гельсингфорс.
Казань, 29 апреля (11 мая) 1845 г.

Целый месяц прожил я в Казани, но рассказать об этом месяце почти нечего. Между тем как небо проливало обильные слезы на землю и улицы Казани были покрыты содомской грязью, я большей частью сидел в своей комнате и испытывал разные мучения, в числе которых не последнее место занимали порождаемые произведением на свет новой книги. Само собою разумеется, что вместе с тем я имел и некоторое развлечение. Так, например, не скрою, что г-жа Фон Фукс (не говоря уже о ее превосходительном супруге) принимала меня очень благосклонно, что я пользовался поучительными беседами известного ориенталиста Эрдманна и латиниста Фатера. Не взирая на зубную боль и непроходимую грязь, я почти ежедневно пробирался на татарский крепостной вал и наслаждался оттуда прекрасным видом на Волгу. Кроме того, я провел много приятных часов с двумя финскими друзьями — магистром Альцениусом и учителем русского языка Авелланом. Спутника своего, пастора Платана, захворавшего на пути из С.-Петербурга в Москву, я принужден был оставить в финской студенческой колонии во второй столице империи. Несколько времени спустя мы снова съехались в Казани и провели еще несколько дней вместе.

Потом пастор отправился в дальнейший путь по той же дороге, которая предстоит и мне, т.е. по дороге в Сибирь.

Если я могу сказать дельное слово о Казани, то разве только о ее университете. Между университетами всего мира едва ли есть хотя один, где бы с таким усердием занимались восточной литературой, как в Казанском. Здесь учреждены кафедры для многих языков Востока, как-то: арабского, армянского, персидского, санскритского, монгольского, турецкого, китайского, манджурского, и в числе преподавателей этих языков есть несколько уроженцев Востока, как, например, Хаджи Мир Абу-Талиб Мир Моминов, Мирза Абд-ус-Сатар Казем-Бек, Мухамед-Али Махмудов, Александр Казем-Бек. Изучению восточных языков в особенности споспешествует еще и то, что по временам молодые люди посылаются в азиатские земли. В настоящее время два магистра этого университета путешествуют по Аравии и Персии, а третий послан на 10 лет в Китай для изучения языков монгольского, китайского и манджурского*. И такие издержки делают не для образования только каких-нибудь дюжинных толмачей. Казанский университет считает в числе своих ориенталистов людей, пользующихся европейской известностью, и я совершенно уверен, что со временем здесь будут разрешены самые важные вопросы относительно Востока.

Вышеупомянутая миссия в Китай, как видно по одной уже цели ее, касается весьма важного вопроса. Она имеет самое близкое отношение и к нам, финнам, которого, однако ж, наши не согласятся допустить даже и в таком случае, когда весь свет согласится с этим. Дело в том, что по достаточным данным здесь дошли до предположения сродства между финским и турецко-татарскими языками. В противоположность Клапроту и другим естествоиспытателям и филологам прежнего времени, новейшие писатели, и между ними по преимуществу казанский ученый Эрдманн, старались доказать, что и монголы по происхождению своему также турки, следовательно, родственное финнам племя. К этому же результату приходим и чрез самоедское племя, кото-

* Два магистра, путешествовавшие по исламитскому Востоку, были теперешние профессор Березин и покойный профессор Диттель; третий *профессор Васильев*.

рое, с одной стороны, находится в родстве с финским, с другой стороны, с монгольским семейством народов. Китайская миссия решит: есть ли надежда на возможность проникнуть в небесную империю. Но прежде, нежели мы вздумаем перебраться чрез великую стену в Китай, мы должны со всевозможной точностью исследовать, в каком отношении находятся финны к монголам. Этой цели можно достигнуть разными путями, например, отыскать чрез посредство самоедов родство между финским и монгольским племенем и чрез сравнительное изучение языков монгольского, финского и турецко-татарского и т.д. Для полнейшего изучения нашего отношения к Востоку весьма важно было бы также сравнить языки финский, тунгусский и манджурский.

К чему бы ни привели нас эти исследования, во всяком случае мы должны продолжать их, потому что они составляют потребность времени, и история не может уже обойтись без их результатов. Поэтому мы видим, что и в Германии люди, замечательные своей ученостью, уже принялись за подобные исследования. Ф.Г. Миллер, как известно, издал две части историческо-географического описания всех народов, принадлежащих к финскому племени. В филологическом отношении Габеленц оказал важную услугу изданием грамматик мордовского и зырянского языков и несколько монографий о других языках, принадлежащих тому же семейству. В предисловии к своей мордовской грамматике он извещает, что занимается также составлением сравнительной грамматики финско-татарской отрасли языков, которую после индогерманской и семитической он не без основания считает важнейшей. Что иностранцы обратили внимание на наше племя и начали обрабатывать его язык и историю — это весьма хорошо и утешительно, если уж так суждено, что мы даже и на собственной своей почве не можем сделать шагу вперед без того, чтобы немцы не вели нас за нос. Но лучше было бы и для самого дела, и для нашей чести, если бы наши собственные ученые приняли на себя решение этой задачи. Впрочем, если я буду продолжать свое письмо в этом тоне, то ты, чего доброго, выпишешь меня в Гельзингфорс и отправишь в Лапвикен*, так как за распространение ложных мнений в настоящее время не сжига-

*Так называется местность, где находится дом умалишенных.

ют уже на кострах. Протрубили по всему свету, что я жду писем в Тобольск.

P.S. Чуть было не забыл сказать, что я послал тебе с Альцениусом небольшое извлечение из своего дневника. Часть его ты можешь напечатать в *Suomi*, если издание этой газеты будет продолжаться в следующем году.

Путевые заметки

I

Первого (13) мая небольшой кружок финских друзей вел беседу за стаканом донского вина в 12 номере гейдлерской ресторации в Казани. Двое из них ехали на три года в Сибирь, остальные два собирались обратно в отечество после двухлетнего пребывания в России. Посторонний зритель, без сомнения, заметил бы в обеих парах весьма различные чувства, которые необходимо должны были вызвать столь различные обстоятельства. Но если радость и горе, надежда и нетерпение столкнутся таким образом, они вскоре переходят в юмор, таящийся в обеих поименованных противоположностях. Финский характер со времени нашего праотца Вайнемойнена и его достойного друга Лемминкейнена имеет решительную наклонность к юмористическому. Как упрямство, так и юмор составляет отличительную черту нашего национального характера. Всякий истый финн наделен им более или менее. В иных он вкоренился до такой степени, что они не могут сказать самой простой мысли без того, чтобы не придать ей юмористического оттенка. Именно такой характер был у одного из четырех друзей, сведенных случаем. Он был известен во всей Казани под именем «старого Шведа», вероятно, по той причине, что однажды в части города, называемой Мокрая, он принужден был жарко защищать честь шведского народа. В настоящем случае старый Швед, как посредник между противоположными чувствами, был решительно необходимым лицом в нашем маленьком кружке. Чуждый всякой шутовской гоньбы за остротами, он шутил совершенно серьезно, и слова его всегда имели определенное, ясное содержание. Так, например, когда он рас-

пространялся о финском сыре, о финской ветчине и финской дружбе, можно было сей час же понять, что все это вещи прекрасные, солидные, но что, насытившись ими, можно в попоститься некоторое время. В таком духе старый Швед давал полную волю своему юмору ко всеобщему нашему удовольствию и утешению. Разглагольствия его прерывались, однако ж, довольно часто появлением лица, которое в заботе получить скорее на водку докладывало, что лошади давно уже готовы. Последний рассказ приближался к концу, и все взоры были обращены на последнюю слезу в стакане, как вдруг мы услышали в коридоре незнакомый голос, который спрашивал 12-й номер. Все встали, устремив взоры на дверь, и в комнату вошел человек в военном мундире. К общей нашей радости и к удивлению оказалось, что этот человек — земляк, поручик Эриксcон, который с женою и тещей ехал в Охотск. Можно себе представить и изумление Эриксcона, который, отыскивая в гостинице какого-то английского путешественника, очутился вдруг, совершенно неожиданно, в кругу земляков. Началась новая болтовня. Эриксcон рассказал, между прочим, свои путевые приключения, и беседа приняла более веселый, более оживленный характер. Но так как всему на свете есть конец, то и мы двое, ехавшие в Сибирь, должны были напоследок уступить нетерпению ямщика и распроститься с своими друзьями, дав, однако ж, обещание Эриксcону дождаться его где-нибудь в пути.

Таким образом первого мая старого стиля я выехал из Казани. Известно, как русские дороги в это время года разбиты и дурны, не мудрено, следовательно, понять, как сильно страдало мое бренное тело, изнуренное еще в Казани болезнью и сидячей кабинетской жизнью, от страшной тряски в беспокойном экипаже. Но юмор старого Шведа овладел и мною до такой степени, что у меня не выходила из головы прекрасная песня «Смертный, страдай, таков твой удел», и я с невозмутимым спокойствием выдерживал все пытки совершенно не поэтического почтового тракта. Это было только первое мучение. Другое составлял сильный холодный ветер, засыпавший глаза мои целыми облаками песку и пыли. Как ни трудно было открывать глаза, однако ж я старался по возможности обозреть страну, по

которой ехал. Она показалась мне везде почти одинаковой. Мы ехали по необозримой равнине, между лугов и пашен, поднимались на небольшой песчаный, безлесный холм, снова спускались на равнину, снова поднимались на холм, и так далее в продолжение целого дня. Нет ничего утомительнее, как ехать по таким местностям, когда земля еще не оживилась весенней зеленью. Серым цветом своим они наводят тоску на душу и повергают смотрящего на них в невыносимо тяжелое, сонливое расположение. Временами вид верховых татар, проносившихся по обширной степи на быстрых, как молния, конях своих, выводил, однако ж, меня из тупого усыпления и заставлял желать, чтобы поле было еще обширнее. Так же точно, когда с вершины довольно высокого холма передо мной вдруг открылось несколько татарских деревень с их тонкими, возносящимися до облаков минаретами, откуда не звенящая медь, а живой голос человека возвещает, что «велик Бог», и созывает сынов Аллаха на молитву, мне захотелось сдвинуть все холмы, заграждающие вид на другие деревни. Немало удовольствия доставил мне и сам проезд через татарские деревни. Вид тучных татар в халатах и робких татарок, закрывавших прекрасное лицо свое белыми покрывалами, был весьма приятен, и тем более, что не успел надоесть, потому что татарское население скоро кончилось. Проехав с небольшим 100 верст, я выехал из Казанской губернии, а в Вятской уже нет более татар, вместо их встречаешь тотчас же черемисские, русские и вотяцкие физиономии. Далее в Малмышском и особенно в Глазовском уезде преобладает уже вотяцкое население. Вотяки, как известно, составляют часть пермского племени: это кроткий, добродушный и работящий народ. Во все время переезда чрез земли вотяков я мечтал, что я в Финляндии. Мечте этой всего более содействовала и сама природа, потому что здесь, как и в Финляндии, я встречал реки, озера, леса, болота, вересковые пустыри, горы и долины. Кроме того, обе страны эти населены, в сущности, одним и тем же народом. Я не стану говорить здесь о филологическом сходстве между финнами и вотяками и еще менее о физиономическом и краниологическом, а только об одном антропологическом, общечеловеческом. Это сходство

обнаруживается вообще тихой, благонравной и трудолюбивой жизнью, далеко не похожей на все то, что мне пришлось видеть и испытать в большей части других губерний. Так, я не встречал в деревнях их ни воров, ни тунеядцев, ни любопытных зевак, ни шумливых пьянчуг; напротив, каждый, казалось, занимался только своим делом или работой. На станциях все делалось без всякого шума и крика. Нигде меня не обманывали, потому что, кроме прогонов, я платил за все по собственному усмотрению и никогда не слыхал ни малейшего ропота. Без всякого предварительного торга все мои желания и поручения исполнялись с величайшей готовностью, и ничтожнейшее вознаграждение принималось с чувством непритворной благодарности. Коротко, вотяки так же кротки, простодушны и бесхитростны, как наши финские мужики. Впрочем, может быть, и мне представилось бы все в совершенно другом свете, если бы благодатный гений весны с своим благорастворенным воздухом, с своими сладкими благоуханиями, с порхающими мотыльками и великолепным солнечным освещением не встретил меня в этом году именно в Вятской губернии.

Два дня наслаждался я благодетельными дарами весны под вятским небом. На третий день я въехал в Пермскую губернию, и здесь меня встретили вдруг серое небо, холодные ветры, обширные снежные поля и мрачные гористые местности. По причине неровности страны некоторые ученые производили имя Пермь, Пермия, Биармия от финского слова waaramaa (гористая страна). Но гораздо естественнее в филологическом отношении производство этого слова от Peramaa — название, которое, должно полагать, дано этой стране заволочанами, потому что она находилась за их областью. Пермское племя простиралось прежде от северного Заволочья, от Двины к югу до Камы. Теперь настоящее пермское население оттеснено русскими далее на север, далеко за те места, которыми я проезжал. Проехав Глазовский уезд, я ехал целый день по Оханскому уезду Пермской губернии и 6 (18) мая прибыл в губернский город Пермь. Этот город имеет весьма выгодное положение на западном берегу Камы, но лучшая часть его и до сих пор — огромное пепелище после пожара, бывшего несколько лет

тому назад. Предместья большей частью состоят из низеньких жалких лачуг. О жителях города нельзя ничего сказать, кроме хорошего. Они во всех отношениях остались верны своей национальности и потому самому питают какую-то суеверную боязнь к иностранцам. Когда я ходил по городским улицам, все останавливались и с удивлением смотрели на мою иностранную фигуру; и тут не раз приводилось мне слышать касавшиеся меня вопросы и замечания вроде следующих: «Кто такой?». — «Черт его знает». — «Такого-то прежде у нас и не бывало». В одной кучке толковали о холере и о поджигателях. Одна старая баба была даже до того дерзка, что прямо у меня под носом сказала своему соседу: «Плюнь!». А впрочем, мне не встретилось в этом городе ничего такого, о чем стоило бы упомянуть. Здесь, как и в других городах, есть большие и малые дома, широкие и узкие улицы, рынки, церкви и кабаки, канцелярии, казармы и т.д. Нет только одного — приличной гостиницы, и потому прощаюсь с городом, не дождавшись Эрикссона.

II

Тюмень, 13 (25) мая

Прождав Эрикссона в Перми целых два дня, мне наконец надоело ждать. Лошади уже были готовы, и все уложено, как вдруг подъезжает к почтовому двору казанский тарантас, и глядь! — в нем Эрикссон, его молодая жена и старая теща... Не взирая на грустное расположение духа, в котором я находился, может быть, никто еще не поднимался на высоты Урала с таким радостным чувством, как я. Меня радовала приятная весенняя погода, пробужденная природа, жизнь на дорогах, возделанная страна и т.д. Пермская губерния находится в таком же отношении к Вятской, как шумный поток к тихому озеру, и тот, кто въезжает в Пермь с вятской стороны, чувствует себя пробужденным к новой деятельности. Хотя екатеринбургская часть Урала и заключает в себе местности, наводящие такую же спячку, как и вятские равнины, но, по счастью, дух человеческий отличается от камня уже и тем, что, получив толчок, не падает тотчас же назад на землю, а сохраняет сооб-

щенную ему силу по крайней мере на время переезда от одной высоты Урала до другой. На уральских степях, как я уже заметил, многие разнородные предметы обращали на себя мое внимание. В Вятской губернии только изредка кое-где попадались проезжие, а уральская дорога кишела едущими в экипажах, верховыми и пешеходами в праздничных нарядах и с праздничными физиономиями, пробиравшимися, вероятно, в ближайшую церковь на предстоящий праздник Св. Николая. А многолюдные деревни, огромные фабрики, прекрасные усадьбы, красивые каменные церкви Екатеринбургской губернии — есть ли что-нибудь подобное в бедной Вятской? А все-таки ты близка моему сердцу, бедная страна, несмотря на то, что дух мой за высотами Урала!

Я переезжал через Урал в трех местах: при Обдорске, Верхотурье и Екатеринбурге. При Обдорске маститый исполин стоял, скрыв в облаках свое обнаженное темя; при Верхотурье я видел его широкую вершину; при Екатеринбурге виднелись только нагие кости его пальцев. При Обдорске скакали олени, при Верхотурье бегали сохатые, при Екатеринбурге неслись стада рогатого скота. При Обдорске все была тундра, при Верхотурье — лес, при Екатеринбурге — большей частью возделанные поля. При Обдорске я видел остяков и самоедов, при Верхотурье — вогулов, при Екатеринбурге — башкиров. При Обдорске были юрты, при Верхотурье — избы, при Екатеринбурге — высокие дома. Кроме того, в Екатеринбурге и его окрестностях встречались тысячи разных других предметов, на которые нет ничего похожего и непохожего ни в Обдорске, ни в Верхотурье; но мне некогда было их осматривать, потому что Эрикссон не хотел ждать меня, а мне не хотелось расстаться с ним. В 26 верстах к востоку от Екатеринбурга наши пути разошлись все-таки в разные стороны. Эрикссон поехал к югу чрез Ишим на Иркутск, а я направил свой путь на север, к Тобольску.

Теперь я в Тюмени и приветствую Азию в том же самом городе, в котором с небольшим за год я на веки простился с Сибирью. Тогда я ехал на Туринск, Верхотурье, Соликамск, Кай, Великий Устюг, Каргополь, Пудож, Петрозаводск и Сордавалу. Так как теперь я возвращаюсь в Тюмень чрез С.-Петербург, Москву, Казань, Пермь и Ека-

теринбург, то в течение этого года я описал круг, который со всеми своими большими и меньшими уклонениями заключает в себе около 10000 верст.

III

Тобольск, 16 (28) мая

Во время переезда моего от Тюмени или даже от Екатеринбурга до Тобольска природа не представляла моему любопытству ничего такого, чего бы я не видал и не описывал уже тысячу раз — бесконечные равнины, частью обращенные в пашни и луга, частью поросшие лесом. Все пусто, однообразно, безжизненно. Какое-то подавляющее бремя тяготеет над страной и над народом. Природный сибиряк стоит у русских на хорошем счету за простоту его нравов, за гостеприимство и добродушие. Все это, может быть, отчасти и справедливо. Но всякое изъявление радости и веселья, как, например, пение, пляска, общественные или семейные празднества, в Сибири, или по крайней мере в Тобольской губернии, — величайшая редкость. Тот, кто привык видеть, как в России поток жизни несется чрез все преграды, чувствует какую-то неловкость в сибирской тишине. Это не тишина, питаемая внутренней, мирной, безмятежною сущностью души; нет — это порождение холодности, равнодушия и ожесточения. Да и может ли быть что-нибудь, кроме ожесточения, в стране, которая большей частью населена преступниками или их потомками.

IV

Тобольск, 19 (31) мая

Вот уже несколько дней сижу я в Тобольске и обдумываю, в каком направлении продолжать мне отсюда свое путешествие. От направления, принятого в самом начале, часто зависит весь успех дела. Но заблаговременное точное определение пути здесь невозможно, потому что в лингвистическом и этнографическом отношении Сибирь не много лучше океана, покрытого туманом; на что-то надобно, однако ж, решиться, и решиться обдуманно, прежде чем пуститься странствовать по этому обманчивому океану. Ака-

демия наук облегчила, конечно, эту заботу тем, что обозначила ее гавани, в которые мне следовало завернуть в продолжение моего странствования, но составление необходимых для этого морских карт она предоставила моему собственному благоусмотрению. В данной мне инструкции сказано касательно этого предмета, что маршруты мои должны определяться по преимуществу на месте указаниями людей сведущих. А так как до сих пор я не получил еще никаких указаний этого рода, то и о направлении предстоящего мне путешествия могу говорить только в самых общих чертах.

Для большего уяснения себе я разделил поле предстоящей мне деятельности на три части: на северную, или самоедскую, среднюю, или остяцкую, и южную, или монголо-татарскую. По данной мне инструкции я должен исследовать преимущественно в лингвистическом и этнографическом отношении северную, или самоедскую, часть Сибири. Но известно, или по крайней мере предполагается, что некоторые племена самоедов при передвижении от Алтая к Ледовитому морю остались в Средней и Южной Сибири в пределах теперешних областей остяков, монголов и татар. Из них некоторые, как говорят, уже слились с прочими обитателями страны; другие же, напротив того, сохраняют еще и свой язык, и свою национальность, хотя вследствие многочисленности своей и смешиваются частью с остяками, частью с монголами и татарами. По данной мне инструкции я должен также дознать, что такое в самом деле все племена, принимаемые в Сибири за самоедов. А этого, разумеется, я не могу исполнить, не познакомившись предварительно с языками остяцким, монгольским и татарским. Если бы мне даже и не понадобилось подробное исследование языков, которые, может быть, совсем и не самоедского происхождения (например, койбальский, сойотский и др.), хотя их и считают такими, то все-таки общие сведения об этих языках, и особенно об остяцком, необходимы для точнейшего определения свойств преобразовавшегося вследствие остяцкого, монгольского и татарского влияния самоедского языка.

Итак, первоначальное направление моего путешествия определяется прежде всего необходимостью заняться остяками. Не встреться этой необходимости, я отправился бы

прямо к самоедам. Путешествие к последним было бы очень для мне интересно уже и потому, что имело бы связь с прежним моим путешествием. Тогда я проследил самоедское население от Мезени по Канинской, Тиманской и Большеземельской тундрам и чрез Урал до Обдорска. Теперь по-настоящему мне следовало бы начать свои исследования от Обдорска к Надымской губе, отсюда к Тазу и далее к Енисею. Но на этом пути мне встретились бы народцы, которые некоторыми учеными принимаются за самоедов, другими — за остяков. Предположив, что они не чистые самоеды, не чистые остяки, а смесь этих двух народов, без знания остяцкого языка этой поездкой я никак не достиг бы своей цели. Даже и в случае ложности этого предположения я имею все-таки основательную причину полагать, что этим путем цель моего путешествия недостижима. В моей инструкции выражено желание Академии, чтобы лингвистические занятия составляли главный предмет моей деятельности во время путешествия. Но чтоб занятия такого рода могли иметь хотя некоторый успех во время летнего путешествия, для этого необходимо иметь возможность располагать собственным экипажем и разъезжать по собственному благоусмотрению. Но не всякий может располагать довольно значительными необходимыми для этого средствами. Что касается до меня, то я был бы принужден пристать к русским, которые отправляются по торговым делам к берегам Ледовитого моря. Но торговля и наука редко подают друг другу руку помощи, а в настоящем случае мои интересы вовсе не могли бы идти рука об руку с интересами купца. Пока он производил бы торг с остяками или спокойно занимался солением рыбы на каком-нибудь пустынном берегу, мне следовало бы сидеть в самоедском шалаше, в котором купцу в летнее время нечего делать. Кроме того, обские суда ходят не дальше Надыма, где живут еще остяки; но как пробраться оттуда до Таза, и вообще, возможно ли это при моих средствах — не знаю. Знаю только то, что лето в этих местах в высшей степени неблагоприятно для путешествия, предпринимаемого с лингвистической целью. Филолог должен отыскать для своих занятий несколько главных соответствующих станций и по возможности избегать пребывания в необитаемых, безлюдных местах, где, само со-

бой разумеется, ему нечего и делать. Зимой он может и остановиться, и ехать, когда ему угодно, потому что, говоря в самоедском духе, в это время везде есть *люди*, везде *дороги*. Летом же самоеды разбредаются, и всякое сообщение по тундрам прерывается, так что месяцы нельзя тронуться с места. *Это я испытывал неоднократно и в последний* раз на пути из Колвы в Обдорск осенью 1843 года. Я путешествовал тогда в обществе зырян на так называемом каюке вверх по реке Усе и доехал таким образом до подошвы Урала, пробыв в дороге около двух недель. Здесь в ожидании оленей и зимнего пути я принужден был простоять почти пять недель на пустынной тундре и питаться мясом дохлых оленей. От Колвы до Березова я ехал девять недель и на своем этом пути не встретил ни одного самоеда. Двумя месяцами позже я мог бы проехать это пространство в девять дней и встретил бы на дороге множество кочевников. Поэтому и в настоящем случае я не мог не ожидать тех же самых неприятностей. Кроме того, и еще одно обстоятельство заставило меня отказаться от неверного путешествия к Ледовитому морю. Во время прошлогоднего моего пребывания в Березове мне говорили, что при реке Казым[11] живут восемь кочующих самоедских племен (по мнению Шёгрена, — семейств), которые по языку значительно отличаются от самоедов, принадлежащих к Обдорской волости. Такого важного показания я, разумеется, не могу оставить совершенно без внимания и до отъезда к Енисею должен узнать что-нибудь подробнее об этой незамеченной до сих пор отрасли самоедского племени. Этого, по всей вероятности, я не в состоянии буду сделать до наступления осени, когда казымские самоеды, как говорят, посещают Кондинск[12] и Сургут.

Принимая в соображение все эти обстоятельства, я предполагаю поездить в это лето только по Иртышу и Оби и заняться преимущественно изучением остяцкого языка. Главным и удобнейшим для этого пунктом кажется мне местность около Самаровой, потому что сюда стекаются остяки из разных округов и, по уверению здешних русских, значительно отличаются друг от друга по языку. Хотя точнейшее исследование разных остяцких наречий и не входит в круг моей деятельности, но уже и для общего обсуждения языка и еще так грубого и не обработанного, как

язык остяцкий, полезно и даже необходимо сравнение нескольких наречий. Кроме того, я надеюсь добыть здесь в течение же этого лета и необходимые сведения о кеаымских самоедах. В таком случае я мог бы с наступлением первого зимнего пути продолжать свое путешествие по какому-нибудь другому направлению. Согласно академической инструкции и собственному желанию постарался бы я тогда пробраться прежде к Тазу, затем к Енисею и потом, познакомившись вполне с общим северным наречием самоедского языка, перешел бы к южным его разветвлениям. Вот план, которого я еще покуда придерживаюсь, хотя предвижу, что выполнение его встретит большие затруднения. Важнее всего то, что я еще не знаю, можно ли с сургутской стороны пробраться к Тазу, а потом, следуя этому плану, мне уже нельзя будет посетить на этот раз самоедов, живущих в окрестностях Нарыма, потому что для них пришлось бы проехать несколько сот верст от Енисея к Оби. Для избежания этого крюка я мог бы распорядиться и таким образом: провести всю следующую зиму у разных самоедских племен по Оби, весной перебраться вверх по Кети в Енисей, спуститься вниз по нему и возвратиться вверх по Тазу. Все это, впрочем, будет зависеть от разных обстоятельств и отношений, которых вперед определить невозможно.

Путевой отчет

Самарова, 24 июня (6 июля) 1845 г.

Мая 25 (6 июня) отправился я с моим спутником по узкой и неровной лесной дороге из Тобольска в Бронникову, первую станцию по Березовскому тракту. С Бронниковой сухопутное сообщение прекращается, мы сложили свои пожитки в небольшую лодку и поплыли вниз по Иртышу.

После продолжительного, месяцы длившегося странствования сухим путем с радостью променяешь сани и тарантас на самую жалкую лодку. Что касается собственно до меня, то я искони имел особенное пристрастие к путешествию по рекам. Реки — первые пути, по которым я ездил, и впоследствии часто приходилось мне по ним плавать. В детстве

еще познакомился я со многими северными реками Финляндии. Возмужав, я часто плавал по ним в Лапландии и в Северной России. И теперь меня радовала, как нельзя более, возможность познакомиться с одной из главных рек Сибири. Подобно пляшущей девушке движется Иртыш тысячами грациозных изгибов, боясь встретиться с своим возлюбленным, с Обью, несущейся со стороны к нему навстречу. Иртыш — положительно одна из красивейших рек Севера. Он не возбуждает и не потрясает чувства шумными водопадами, отвесными скалами и крутыми горами, как многие из рек Северной России, на которых чувство, подавляемое вечным однообразием, цепенеет и усыпляется. В нем все соединяется в картину великолепнейшей гармонии. Течение его быстро, но ровно; он бесконечно богат рукавами, островами, мысами, заливами; берега его разнообразны: то высоки и круты, то понижаются в луга, убранные роскошной растительностью. Но ничего не может быть приятнее для глаз разбросанных по средине реки групп цветущих деревьев, поднимающихся, кажется, прямо из воды. Проезжающему в маленькой остяцкой лодке по быстрым струям реки они кажутся плавающими садами. При закате солнца они оглашаются меланхолическими песнями пернатых — меланхолическими, говорю я, потому что на прекрасном челе китайской девы покоится черта какой-то грусти. Она грустит, как береза в «Калевале», о том, что лишена рачительного ухода и еще не то, чем бы могла быть в руках мудрого. Дичь всегда производит грустное впечатление — даже в великолепнейшем весеннем убранстве она походит на невесту в трауре. Впрочем, близ Иртыша первоначальная дикость несколько уже превозможена: по крайней мере она не так гнетуща, как во многих других местах Севера. Это, может быть, отчасти и потому, что Иртыш в историческом отношении важнее и известнее большей части других рек Севера. При некотором знании судеб Сибири, и именно во времена завоевания ее, по Иртышу беспрестанно натыкаешься на исторически замечательные местности. Кроме того, здесь услышишь и много такого, чего не найдешь в летописях: кормчий рассказывал бесконечные истории, и большей частью о чудских богатырях, остяцких и татарских князьях, Ермаке и Кучуме. Немало содействует также

интересу путешествия по Иртышу и сближение с лицами различных наций: с русскими, татарами, остяками, не говоря уже о ссыльных, между которыми, кроме русских, я встречал поляков, немцев, французов, калмыков, киргизов и др. Одно, на что можно было бы здесь пожаловаться, — это безотвязные комары в летние месяца, но где ж страна в целом мире, которая не имела бы своего malum necessarium?[13]

Завернув на короткое время в татарские юрты близ Карбина, я плыл потом безостановочно до Демьянска — волости, которая, по Фишеру, называлась прежде *Немьянском* по имени одного остяцкого князька *Немьяна*. Остяки называют это селение Нум-ям, т.е. Верхним ямом, или Верхней станцией, в противоположность Самар-яму (Самаровой), которая в прежние времена была ближайшей, ниже при Иртыше находящейся станцией. В Демьянске я надеялся найти вогулов и несколько заняться их языком; главное же — проверить вогульский катехизис, который мне дали в Тобольске (извлечение из него, как я слышал, было дано и г. Регули). Но надежда моя не исполнилась, и я оставил Демьянск раньше, чем предполагал. Отсюда я поплыл прямо в Денщикову (по-остяцки *Tottem*), где думал остановиться для занятия остяцким языком. Я мог, конечно, заняться им еще и за Демьянском, и во все время нашего плавания вниз от сего последнего, но я опасался, что язык южных остяков уже попорчен татарским и русским влиянием и потому не годен для изучения. С другой стороны, и ехать к северным обдорским остякам мне теперь не хотелось, ибо это не совсем соответствовало главной цели моего путешествия; у тому ж еще прежде, занимаясь в Обдорске самоедским языком, я приобрел уже некоторые сведения о наречии тамошних остяков. Имел я также при этом в виду и то, что иркутский диалект[14] остяцкого языка, может быть, наиболее распространенный и, судя по образованию жителей, самый развитой, и потому во всяком отношении способнее служить основой грамматической обработке языка. Наконец, я знал по прежнему опыту, как трудно достать в Обдорске годного, знающего русский язык переводчика. Впрочем, последнее затруднение встречалось мне везде, во всех моих странствованиях между дикими и полудикими народами России. Подозрительные вообще, они питают особен-

ную недоверчивость ко всяким филологическим разысканиям, думая, что, узнав их язык, начнут сочинять на нем книги и потом силой заставлять юное поколение читать их. Так и в Денщиковой: ни один остяк не соглашался добровольно открыть мне сокровищницу языка своего. Но это бы еще ничего, гораздо хуже было то, что большая часть жителей Денщиковой были русские и можно было опасаться, что здесь вкралось в язык гораздо более русицизмов, чем в других деревнях с менее смешанным народонаселением. Поэтому я оставил Денщикову и, проплыв сорок четыре версты, прибыл в Цингалинские юрты (по-остяцки wādsitpa[15], т.е. селение под городом), где живут одни остяки. И в этой деревне я встретил такое упорное сопротивление, какого жители ее, вероятно, никому не оказывали с самых времен Ермака. Они тайком оповестили о моем прибытии по всем окружным деревням, и остяки двух волостей собрались на совещание в Цингалинск. На совещании было положено отвечать отказом на все мои требования, какие бы они ни были. Но и я на этот раз решился не поддаваться. Узнав о составленном против меня заговоре, я лично явился в их собрание и скоро добился того, что остяки дали двух стариков для обучения меня их языку. За сим я жил с ними постоянно в добром согласии и, занимаясь своим делом беспрепятственно, пользовался с их стороны самым любезным общением, какого только можно требовать от полунаварского народа. Таким образом я прожил в Цингалинске целые три недели; остался бы, может быть, и еще на неделю, но желание побывать на славной во всем околотке остяцкой ярмарке в Силярской[16] ускорило мой отъезд. Теперь я еду туда и остановился на несколько дней в Самаровой, поджидая почту. Не зная на что употребить это время ожидания, я решился перевесть из нерозной памяти на бумагу все, что в продолжение моего плавания по Иртышу показалось мне замечательным. О самой, однако ж, реке я почти ничего не могу сказать такого, что не было бы уже известно из описаний разных путешествий и Штукенберговой «Гидрографии России», за исключением, может быть, некоторых частностей, исследованием которых и я не могу заняться, потому что оно не соединимо с целью моего путешествия. Вследствие того я ограничусь только двумя-тремя

заметками насчет того, что в описании Штукенберга, вообще чрезвычайно точном, кажется мне не совсем верным.

1. По Штукенбергу, наибольшая глубина Иртыша близ Тобольска не превышает 16 аршин и разлития его нигде не бывают значительны, потому что в полую воду он подымается выше своего обыкновенного уровня только на одну сажень (Ч. 11. С. 379). Но что должно разуметь здесь под «обыкновенным уровнем» воды? По собранным мною сведениям, вода в Иртыше постоянно подымается, начиная со вскрытия реки до последних чисел июня; за сим она мало-помалу понижается в течение всего лета, никогда не останавливаясь на какой-нибудь определенной высоте*. Иногда в дождливые годы около 1 сентября (ст. ст.) вода в Иртыше вдруг подымается на полуаршин или на целый аршин, но скоро опять понижается и к началу зимы достигает наименьшей высоты. Следовательно, с ранней весны до поздней осени Иртыш постоянно или подымается, или понижается, и про «обыкновенный уровень» воды в летние месяцы не может быть и речи. Но хотя уровень вполне и не устанавливается, поселяне все-таки определяют подъем осенних вод сравнением с наименее изменяющимся уровнем в осеннее время. По их словам, весенняя вода в обыкновенные годы на 3 или на 4 сажени выше летней воды во второй половине августа. Мне сказывали, что в последних числах августа высота Нижнего Иртыша достигает в мелких местах от 4 до 5 сажен, в обыкновенных — от 6 до 8, а в самых глубоких — от 16 до 18 сажен. В продолжение моего плавания по Иртышу, а это было во время наибольшего подъема его, я опускал лот в разных местах и находил весьма различную глубину: от $7^1/_2$ до 12 и 15 сажен. Это подтвердило, о чем говорили и остяки всех прибрежных мест, что дно Иртыша чрезвычайно ямисто и неровно вследствие рыхлой почвы, легко вымываемой быстротой реки, несущейся тысячами извивов. Из всего сказанного кажется, что у Штукенберга весенний подъем уменьшен и что найденная близ Тобольска высота уровня не может служить общим мерилом. Далее

* У Штукенберга читаем, что все сибирские реки возвышаются дважды: в апреле и мае, когда на равнинах тает снег, и в июне и июле, когда с гор стекает снеговая вода. Ничего этого не знают остяки, живущие по Нижнему Иртышу: по их словам, возвышение воды в Иртыше происходит мало-помалу и равномерно, начиная со вскрытия до Петрова дня.

Шукенберг говорит, что Иртыш нигде не разливается значительно; по-моему, в это положение требует некоторых пояснений. Относительно ближайшей соседки своей Оби Иртыш, конечно, заливает меньшие пространства, но в сравнении со многими другими подобными себе реками выступает из берегов своих значительно. Нынешнюю необыкновенно, впрочем, многоводную весну ширина Иртыша близ Бронниковой и Филатовой равнялась почти версте, что, как уверяют, вдвое больше обыкновенной его ширины в августе месяце. Близ Самаровой я едва мог различать лес, находившийся по ту сторону реки, и мои спутники уверяли, что на пространстве 20 верст нет ни одной пристани, хотя кое-где и виднеется низенький лесистый островок, едва-едва приподнимающийся из воды. Во многих деревнях бани, амбары и другие строения были залиты; часто вода доходила даже до самых жилищ. Луга лежали на несколько сажен под водой. Большую часть моего путешествия по Иртышу я плыл по залитым лугам, болотам и по образовавшимся от наводнения речным рукавам. Вообще весной по Иртышу образуется новый путь, которым ходят не только малые остяцкие лодки и тобольские каюки, но и самые большие томские плоскодонные суда, нагруженные чаем, с которым поднимаются вверх до Тюмени. А что вниз по течению этим путем можно проплыть 70 верст менее чем в 6 часов, это, по данным Штукенберга, может даже показаться невероятным, а оно, однако ж, действительно так. Именно от этих наводнений настоящие рыбные ловли по Иртышу и начинаются поздно летом. В начале июля все низменности еще под водой, над нею возвышаются только горы и крутые берега, у которых, конечно, неудобно ловить неводами, а этот способ ловли главный как по Оби, так и по Иртышу. Эти наводнения не только по Оби, но местами и по Иртышу мешают также и земледелию, потому что часто вода заливает самые плодородные местности. В Самаровой и некоторых других русских деревнях жалуются даже на недостаток корма для скота. Из всего этого очевидно, что разливы Иртыша не слишком-то маловажны. Если сами по себе или сравнительно с разливами Оби они и кажутся незначительными, то значительно по крайней мере то, что экономия страны находится в некоторой от них зависимости.

2. Известно, как заметил и Штукенберг, что Иртыш протекает, беспрестанно извиваясь и изгибаясь. Но не менее замечательно и то, совершенно опущенное из виду, что во многих местах он прорыл сквозь рыхлую почву новые, прямейшие ложа, называемые здешними русскими *полуями* (полуи — слово, заимствованное, вероятно, из финского языка: oja-puoli — половина реки), а также и *прямицами*. В некоторых местах главный ток реки перебирается в новое русло, и прежнее, называемое *старицей*, летом обыкновенно пересыхает, несмотря на то, что весной оба русла судоходны. Я обратил внимание на это явление только в конце моего плавания по Иртышу, и потому не мог уже собрать полных сведений о старицах Нижнего Иртыша. Сказывали, впрочем, что старицы есть и в окрестностях Демьянска, близ Субботиной, Заводинских юрт, Реполы и друг., и что многие из них так уже пересохли, что прежнее течение реки можно теперь определить только предположительно, по преданиям. Равно заслуживают внимания и так называемые *курьи*, которыми Иртыш чрезвычайно богат. Это рукава или разветвления реки, уходящие далеко в равнины и теряющиеся в них без всякого истока. Собственно они не что иное, как обыкновенные *протоки*, засорившиеся на одном конце наносною землею.

3. Касательно берегов и Иртыш имеет то общее со многими другими реками Европейской России и Сибири, что правая сторона крута и гориста, левая, напротив, ровна и низменна. Оттого и по Иртышу правый берег называется горным (unt-pêlek — горная сторона), левый — *луговым* (uigit-pêlek — луговая сторона). Остяки называют еще правую, гористую и менее плодородную сторону словом ádem-bêlek, т.е. дурной стороной. Впрочем, эта сторона не везде одинаково бесплодна, напротив, во многих местах она очень способна и для скотоводства, и для земледелия, и это обыкновенно бывает там, где горы несколько удаляются от речного ложа. Поэтому и на ней много лиственного леса, как-то: берез, осин, боярышника, тополей и разных видов ивы. Вообще же господствующий на этой стороне лес хвойный: сосна, ель, кедр и лиственница. Последние встречаются и на левой стороне, в тех местах, где почва песчана и бесплодна. *Но я не намерен пускаться здесь в геологические и есте-*

ственноисторические подробности и потому ограничусь только самыми резкими очерками берегов Иртыша. Как я сейчас сказал, правая сторона его гориста, левая низменна. Сия последняя по внешнему своему виду представляет три рода берегов: 1) низменные луга и болота, 2) высокие, обрывистые берега, которые русские называют *ярами* (по-остяцки *rep*) и 3) далеко выдающиеся в реку отмели, или *пески*, как называют их русские. Такие берега встречаются, впрочем, вместе с горами и на правой стороне реки. Чем дальше спускаешься вниз по Иртышу, тем меньше выступает гористая природа, тем вообще ниже становятся берега как на правой, так и на левой стороне. За Реполой горы исчезают совсем из виду, и их не видно до самой Самаровой. Впрочем, горы по Нижнему Иртышу и не так высоки. Замечательны своей высотой некоторые мысы, а именно: 1) Начинский, 2) Кошелевский, 3) Кателовский, 4) Вошкинский, 5) Цингалинские, 6) Реполовский и 7) Самаровский. Близ Цингалинска по высокому мысу на той и на другой стороне реки. Эти, как и Вошкинский, принадлежат к отдельным горным узлам, все же остальные находятся в связи с большими горными системами. Касательно взаимного отношения между обоими берегами не без основания следующие замечания:

а) если на правом берегу выступает в реку гора (что часто бывает), то на левом обыкновенно образуется мель (песок), иногда яр. Отсюда:

б) горе на правом берегу часто соответствует песчаная отмель на левом;

в) обрывистому берегу, или так называемому яру, на правой стороне почти всегда соответствует такой же яр на левой;

г) там, где на левом берегу есть гора, и на противоположном также гора.

Впрочем, я видел только две горы на левом берегу Иртыша: одну недалеко от Цингалинских юрт, называемую остяками *Wŝds-unt* или *Wads-ochta*[17], т.е. гора-крепость, и другую, *Tjukes-unt*[18] в десяти верстах выше первой. Как уже сказано, эти горы — отдельные горные узлы, они тянутся несколько верст по одному и тому же направлению и оканчиваются крутыми мысами. Гора *Tjukes-unt* тянется вдоль

речного берега, а *Wads-unt* образует, напротив, угол с рекой, которая в этом месте перегибается с юго-запада на северо-восток. Рассказывают, что, где теперь она протекает между двумя горами, в старину было озеро, и что прежде Иртыш омывал западный бок Вадс-унта, который, стало быть, первоначально находился на правому берегу его. Предание это весьма достоверно, тем более что место, называемое прежним руслом Иртыша, низменно и весной совсем заливается. Такая же низменность (*cop*) находится и на западной стороне Тьюкес-унта и заставляет думать, что и там река переменила свое русло.

4. Мы заметили выше, что рыбные ловли по Иртышу начинаются, как скоро низменный песчаный берег начнет выходить из-под воды. Тогда обыкновенно появляются на нем русские рыбачьи общества, или так называемые артели, состоящие из десяти человек. Кроме невода, они не знают иной рыболовной снасти. В каждой артели по два невода длиной, смотря по месту, от 250 до 300 сажен, и каждым неводом действуют поочередно по пяти человек. Это рыболовство, главное на Иртыше, продолжается от конца июля до 1 октября ст. стиля. Тут ловятся в огромном количестве осетр (Acipenser sturio), стерлядь (Acipens. ruthenus), нельма (Salmo Njelma) и, кроме того, бесчисленное множество других менее значительных родов, каковы щука, окунь, налим, ерш, карась, язь (Cyprinus idus), чебак (Cyprinus lacustris) и др. Муксун (Salmo Muksun) не подымается вверх по Иртышу и водится только в Оби. Точно так же и так называемый *зирок*[15] (Salmo Vimba) ловится более в Оби, нежели в Иртыше. Осетров же и стерлядей, напротив, больше в Иртыше, нежели в Средней Оби. Нельма поднимается в одинаковом обилии по обеим рекам. Подъем рыбы вверх по рекам начинается, как только воды начинают сбывать, и продолжается до поздней осени. На следующую весну она снова спускается вниз незадолго до вскрытия или во время самого вскрытия рек. И тут остяки проводят сети под лед для ловли осетра и стерлядей; вообще же они мало занимаются ловом их.

После этих беглых замечаний о реке скажу несколько слов и об остяках, древнейших обитателя берегов ее. Окруженные со всех сторон русскими и татарами, они утратили,

кроме языка, все особное и национальное. Татарское влияние не так значительно, но зато русское оказывается всюду: в религии, в нравах, обычаях и в чувствовании, и в мышлении. И если, несмотря на то, все-таки нетрудно отличить русское от остяцкого, то это только по различию степеней образованности обоих народов. Остяк срубает себе избу или юрту точно так же, как русский, но она, естественно, у него теснее и хуже во всех отношениях*: полна грязи и всяких насекомых. По Иртышу остяки, по примеру русских, начали заниматься скотоводством, но в Цингалинске больше лошадей, нежели коров. Слышал я, что южнейшие из живущих по Иртышу остяков начали заниматься и земледелием, но севернейшие не следуют в том отношении примеру русских, между которыми оно распространено до Реполы[20]. Извозничество, теперь главный промысел остяков в течение зимних месяцев, заимствовано ими также от русских. Но древнейший и до сих пор едва ли не главный промысел их, которым они занимались еще до прихода русских, есть рыболовство. На это указывают отчасти и остяцкие названия разных рыболовных орудий, например: *chodép* — сеть, *jadam* — невод (по татар. *ilim*), *sějep* — род верши, *pun* — плетенка, *pos* — малая плетенка, *war* — запруда[21], и проч., равно как и дознанный факт, что уже во время завоевания они имели постоянные жилища и даже несколько укреплений по берегам Иртыша. Что же, как не рыбная ловля, могло переманить их с тундры к реке, от кочующей к оседлой жизни**? Но и в этом промысле русские далеко опередили остяков. Хотя на основании jus prius occupantis последние и владеют почти всей землей и водой по Нижнему Иртышу, а русские живут здесь большей частью как мызники, они занимаются рыболовством

* Хотя остяки и не отличаются тем, что строят собственно для себя, они слывут, однако ж, отличными плотниками, и поселенцы весьма дорожат ими.

** Я слыхал от русских поселенцев, что до прихода их остяки не знали сетей и многих других ныне употребляемых рыболовных снарядов, что во время разлива они запружали небольшие речки, рукава и бухты особого рода плотинами (war) и, когда вода сбывала, ловили спускающуюся вниз рыбу плетенками (pos). Почти то же рассказывают и о рыболовстве самоедов по обеим сторонам Урала. Но туземцы не соглашаются с этим, и остяки уверяют, что они издавна умеют делать из крапивы разные рыболовные снаряды[22].

только в небольших озерах, заводях и рукавах, лучшие же угодья, и именно вышеупомянутые *пески*[22], отдают в наем русским. Причиной этого почитают всеобщую бедность, которая не позволяет остякам обзавестись большими неводами, необходимыми для рыбной ловли в самой реке. Но настоящая причина заключается в лености, небрежности и недостатке согласия. Нетрудно было бы жителям целой деревни сложиться, купить небольшой невод и сообща самим ловить рыбу на песках, вместо того чтобы отдавать первому проходимцу лучший источник пропитания за ничтожные 50 рублей, разделяемые на всю деревню. Точно так же и звероловство, бывшее прежде вместе с рыболовством главным промыслом остяков, теперь весьма незначительно. Все дорогие звери перевелись частью вследствие беспорядочной ловли, частью же, как говорят остяки, потому, что в последние времена леса везде выгорели. Соболи, лисицы и песцы (Canis Lagopus), некогда составлявшие богатство страны, теперь уже редкость. Чаще попадаются медведи, лоси и северные олени, но и за ними не слишком охотятся, по крайней мере остяки. Вообще трудно сказать, чем эти люди занимаются серьезно и ревностно, за исключением еды, спанья и пьянства, в чем их превзойдут разве одни самоеды, несколько еще оправдываемые в этом отношении далеко низшей степенью образованности*. Остяк по большей части живет день за день, а потому и день, и жизненная потребность обозначаются у него одним словом *chât*[24]. Добыл он несколько больше необходимого на день, в следующий он уже лежит себе или отправляется в ближний кабак. Но эта грубая, праздная и беспечная жизнь не может долее продолжаться. Еще Теокрит пел, что бедность учит искусствам; так и остяки по настоящему экономическому положению своему против воли должны будут улучшить быт свой.

Чтобы сообщить еще некоторые подробности о внешнем и внутреннем быте остяков, отправимся в одну из остяцких юрт. В нее ведет скверненьке крыльцо и дверь такая низкая, что, не остерегшись, я ударился лбом о верхнюю балку. Оглушенный этим ударом, я забыл крестным

* Надо заметить, что остяк, принявшись одинажды за какую-нибудь работу, трудится уже изо всех сил, с необыкновенным упорством и выдержкой. Но расшевелить его может одна только нужда.

знамением оказать должное уважение к ряду образов, стоящих в переднему углу. Эта забывчивость и не совсем обыкновенное мое появление так перепугали полунагих дикарей, что они тотчас же бросились на двор и за печку. Тем лучше нам осмотреть юрту. Первое, что бросается здесь в глаза, — это особенный подозрительный серый цвет скамей, столов, стен и пола. Тот же цвет — единственная роспись и всей домашней посуды и утвари: блюд, чашек, ножей, наполненной снеговой водой кружки и берестяной кошелки. Пол крив и кос и местами опустился, стены растрескались и все в щелях, наполненных тысячами насекомых, наведших Лютера на мысль: какого-то вида они будут на небе. Кругом по стенам идет скамья. Стульев и кроватей нет, последние заменяются широким помостом, заканчивающим оба конца скамьи. Печь обыкновенной русской кладки и с трубой, но не примыкает к стене, а соединяется с ней посредством другой низенькой печки, употребляемой днем для приготовления кушанья. В верхней части ее находится отверстие, в котором почти всегда видишь котел, наполненный ухой, похлебкой, молочной кашей или другим каким-либо кушаньем. Окон четыре — по два в двух стенах, образующих угол, в котором стоят образа; каждое окно шестистекольное, но стекол только два, остальные заменены сосновыми дощечками, корой, пузырем, бумагой и другими непрозрачными вещами. Происходящая от этого темнота мешает подробнейшему осмотру. Да и хозяин, узнавший от ямщика, что я не людоед, является приветствовать высокоблагородного гостя своего. Это делается здесь обыкновенным образом, без коленопреклонения и целования рук, обычных в Обдорске. Интересен, однако ж, взгляд, которым остяк окидывает меня вначале. Это взгляд охотника, надеющегося на добычу и в то же время опасающегося, как бы самому не сделаться жертвой. В этом взгляде выражается желание слабого существа обезопасить себя и, если возможно, овладеть своим противником. Это проявляется, впрочем, и во всем обращении остяка. В нем хитрость и обман, притворное смирение и покорность. Он беспрестанно толкует о Боге и великом государе, расхваливает избранных царем и господом, жалуется на свою бедность и на убытки, которые терпит от поселенцев. Но лишь только разговор

коснется предметов, кажущихся остяку подозрительными, он тотчас же прикидывается глупым, бестолковым, жалким, уверяет, что ничего не знает, и то и дело напоминает свои остяцкие привилегии. Впрочем, некоторая степень скрытности действительно есть в характере остяка, все же остальное — мелочная хитрость; крайнее смирение и жалкий вид — маска, надеваемая при случае и вскоре сбрасываемая, и тут остяк становится простым, прямым, честным сыном природы, немного только угрюмым, грубым и упрямым. Этой шероховатости характера соответствует и внешность: выдающиеся скулы, значительно углубленные глаза, широкие плечи, коренастый, неуклюжий стан, черные стоящие волосы и т.д. Несмотря, однако ж, на все это, уверяют, что никто не превзойдет бедного остяка в доброжелательстве, услужливости и других качествах доброго сердца. И сама грубость, неповоротливость и неуклюжесть смягчаются некоторым образом принадлежащим всему финскому племени добродушным юмором, который русские называют *востротою*, сознавая, что по этой части они должны уступить остякам и самоедам.

Но я совсем забыл, что мы еще в юрте и что я не познакомил еще вас с хозяйкой. Она уже оправилась от испуга и спокойно сидит за ткацким станом. Конечно, она не рассердится, если мы подойдем к ней поближе и похвалим ее прекрасное тканье. В самом деле оно заслуживает похвалы не только по плотности, но и по самому материалу. Это не конопля и не лен, а растение, гораздо более распространенное — крапива, по-остяцки *puden**. Остяцкая хозяйка умеет вырабатывать из нее рубашки, которые прочнее обыкновенных русских и не уступают им в тонине, белизне и чистоте. Такая точно рубашка и на нашей хозяйке, и притом nec plus ultra[25] щегольства. Рукава, грудная и спинная части и все края ее изукрашены изящнейшим шитьем. И кто бы мог подумать, что и это богатство красок, которым блестит шитье, — ее собственное произведение? Она сама выпряла пряжу, сама выкрасила ее, сама приготовила из кореньев красную и зеленую краску, и, наконец, сама же вывела в досу-

* Как сказано выше, остяки некогда делали из крапивы и свои сети. Теперь у них в большом употреблении конопля, которая противостоит сырости лучше крапивы.

жие часы эти великолепные азиатские узоры. Стеклянные бусы на воротнике и отворотах, конечно, куплены, но она сама нанизала и расположила их так красиво. Кроме прекрасной рубашки, она может показать нам еще красивый праздничный наряд, тоже ее собственной работы. Наряд этот состоит из тонкого, спереди открытого, суконного полукафтанья, окаймленного бусами и блестящими одовянными украшениями. На праздничных рукавицах и башмаках ее также нашиты бусы, почти из одних блестящих бус и ожерелье. Все это свидетельствует о трудолюбии, искусстве и тонком вкусе нашей хозяйки. Жаль только, что в ежедневной своей жизни она нисколько не думает о чистоте и опрятности. В этом, без сомнения, виноваты мужья. Они обременяют бедных жен всякого рода тяжелой работой, притупляющей их способности и не дающей времени для присмотра за хозяйством. Остяки до сих пор обращаются с женами, как с рабынями. Меня самого несколько раз пробуждали крики жены, вырываемые побоями мужа; с год тому назад в Цингалинских юртах производилось даже формальное следствие о том, что один остяк буквально засек свою жену до смерти. Но еще постыднее и унизительнее для женщины позорная торговля остяков дочерьми. Девушка, пока она в родительском доме, лелеется. О ней заботятся, хлопочут. Для чего? Для того, чтобы сделать ее хорошей женой, хорошей хозяйкой? Нисколько. К чести человечества можно, пожалуй, допустить, что тут иногда действует бессознательно и родительская любовь, но справедливость требует все-таки сказать, что при воспитании дочерей остяк имеет в виду выгоду точно так же, как и при выкармливании лисиц. Выкормил хорошо — хорошо заплатят. Хороший товар никогда не залеживается, и дочерей продают в жены более дающему. Вот обыкновенная плата за жену на Иртыше*:

1. От двух до трех сот рублей деньгами.
2. Одна лошадь, один бык и одна корова.
3. От 7 до 10 различных платьев.
4. Пуд муки, ведро водки и несколько хмелю для свадебной пирушки.

Приданое, получаемое женщиной из родительского дома, заключается только в нескольких платьях, и к этому иногда

* По Оби плата эта, говорят, значительно больше.

прибавляется лошадь и корова. Понятно, что не всякий в состоянии заплатить за невесту требуемую сумму (по-татарски *калым*, по-остяцки *tan*), и поэтому часто случается, что молодой парень, вкравшись в сердце девушки, крадет и ее самое и обвенчивается в ближайшей церкви. Между живущими по Иртышу остяками это обыкновенный способ отделываться от платы за невесту. Вот и наша хозяйка, краснея, признается, что и она была похищена, или, вернее, что «от любви убежала с отца с матери». Но пощадим ее стыдливость и обратимся с расспросами к дедушке, сидящему в углу, у печки. Богатый летами и опытом, он может рассказать нам что-нибудь о давнем. Он знает, что некогда, еще до прихода русских, остяков и татар, по Иртышу всей этой страной владела чудь[26]. Удивительный силой и мощью, нравами и обычаями, жизнью и характером, народ этот избрал местом жительства высочайшие мысы и горные вершины по Иртышу. И жили они не вместе, а каждый особо. Они окопались высокими валами, обрылись глубокими рвами, из коих многие еще и теперь видны. Эти работы были им нипочем, потому что они были так сильны, что перебрасывали друг другу разные орудия через реку. Не зная христианства, не зная никакого закона, ни гражданского порядка, они обладали, однако ж, многими искусствами, неизвестными людям нынешнего века. Ими они приобрели себе все богатства мира и жили без труда и забот. Все, что они делали, делали играя и только для собственного удовольствия. Искусные кузнецы, они выковывали из золота, меди и железа прекрасные вещи и украшения, которые и теперь часто находят на местах их прежних жилищ. Все свои сокровища и драгоценности они закопали в землю, когда свет христианства ослепил их и победоносное оружие Ермака принудило их оставить свои жилища и бежать в страны неизвестные. И много еще другого знает старик про гигантов Севера, но мы не приводим дальнейших рассказов его, потому что они большей частью вертятся около известных событий из времен завоевания Сибири и явно относятся к татарам и язычникам-остякам. Так, многие чудские городки, встречающиеся на берегах Иртыша, даже и по историческим свидетельствам — древние остяцкие и татарские окопы[27]. Два из них упоминаются в древней «Русской гидрографии» под названиями *град Рям-*

зани и *град Уки*; первый, именуемый татарами *Аримзан* (русскими — Аримзянская), находится в 8 верстах ниже Бронниковой; второй — в 80 (по гидрографии в 20) верстах ниже Аримзана. Кроме того, предание говорит о стольких чудских городках, сколько по Иртышу высоких мысов (см. выше). Естественно, что тут самая уже высота составляла укрепление, но так как в языке различается обыкновенное возвышение — *unt*, от крепости *wäs'* или *wadä* (зырян. vodz], финс. vasta, т.е. нечто *предпоставленное* или *противопоставленное*), так и предание вместе с видимыми доселе валами и рвами доказывает, что тут кое-что и дело рук человеческих.

Наш седой старик мог бы, конечно, объяснить нам и не одну руну о древней мудрости и вере, но он, очевидно, боится говорить об этом. Кажется, в тайне он поклоняется еще богам отцов своих. Русские поселенцы уверяли меня, что остяки, живущие по Иртышу, еще молятся и приносят жертвы по-старому и в глубине лесов поклоняются древним идолам своим. Я же знаю наверное, что, подобно многим другим финским народам, они питают священное уважение к медведю и величают его «прекрасным зверем», «косматым дедушкой» и т.д. В моем чемодане хранится медный медведь, бывший некогда у остяков великим, чудодейственным богом. Еще и доныне у остяков, живущих по Иртышу, сохраняется обычай чествовать пиршеством всякого убитого медведя; тут они поют, пляшут, пьют пиво[28] и совершают разные обряды, которые некогда были в употреблении и у финнов, и у лопарей. Но полнейшие подробности о прежних религиозных понятиях остяков я сообщу при описании обдорских остяков (см. выше), теперь же некогда, потому что почта пришла, надо отправляться далее.

Письма

К асессору Раббе.
Самарова, 24 июня (6 июля) 1845 г.

Когда солнце печет, комары кусают, голова болит, а кожа обливается потом, что остается человеку делать, как не забраться в балаган лодки и тут, предавшись сладкой

дремоте, предоставить реке нести себя, куда Богу угодно? Я сидел и работал почти четыре недели в жалчайшей остяцкой юрте у Иртыша, где меня заживо почти съели комары, клопы и блохи, и, сверх того, одолевало еще другое впивое общество, состоявшее из польских и немецких ссыльных и именно из старых спившихся баб. Все это терзало и мучило меня страшно, наконец выведенный окончательно из терпенья, я велел перенесть свои пожитки в небольшую лодку, стряхнул с себя всех этих гадов и уехал. Таким образом я очутился в Самаровой, большой русской деревне при слиянии Оби и Иртыша, во 180 верстах к северу от прежнего моего местопребывания — Цингалинска, или Цингалы. В Самаровой я мог бы остаться надолго и жить хорошо, но меня разобрала охота съездить на ярмарку. На ярмарку едет все, чтоб повеселиться, почему ж и мне не поехать? Много времени прошло с тех пор, как я был на самоедской ярмарке; побуждаемый желанием подновить сглаживающееся воспоминание, невзирая на две ночи, проведенные без сна, я продолжаю, даже не отдохнувши, мое путешествие до Силярска, где только что начинается большая остяцкая и самоедская ярмарка. В Самарову я заехал только для того, чтобы запастись хлебом и написать ответ на два письма твои, невыразимо обрадовавшие меня в этой пустыне. Первое из них я получил еще 20 июня в Цингалинске вместе с письмом от Виллебранда; последнее, с черною каемкою, вручил мне почтальон в самую минуту моего отъезда из Цингалинска, 4 июля. Оно, если я не ошибаюсь, от 10 июня и, следовательно, пролетело 4000 верст менее, чем в четыре недели. Печальные вести не замедляют. Смерть старика сама по себе не заключает в себе ничего важного и скорее может быть названа утешительным явлением, но с этой смертью сопряжены такие обстоятельства, которые потревожили мой сладкий сон под балаганом*.

Планы мои на будущее время следующие: теперь я еду в Силярское, во 125 верстах от Самаровой, чтобы повидать там самоедов и собрать от них сведения, от которых будет зависеть мое путешествие осенью и зимою. Из Силярской я

* Письмо это содержало в себе известие о смерти Матиаса Кастрена, пробста в Кеми, дяди и благодетеля Александра Кастрена. Он умер 80 лет от роду.

сворочу в сторону (от Оби) в небольшую деревушку, где, как говорят, кроме остяков, есть и казымские самоеды. В этой деревушке я намерен прожить до последних чисел августа и потом направить свой путь в сургутскую сторону. В самый Сургут, по всей вероятности, я попаду не ранее сентября, если только известия, полученные в Силярской, не заставят меня переменить этот план. Кланяйся моим друзьям от твоего бестолкового брата и странника по Бьярманландии.

Путевой отчет

Сургут, 1 сентября (13) 1845 года.

Оставив Цингалинские юрты при Иртыше, я намеревался без остановки продолжать путешествие до Силярской, небольшой русской деревни на Верхней Оби, где в день Петра и Павла бывает большая ярмарка, на которую съезжается много остяков и самоедов. Но в Самаровой мое рвение было несколько охлаждено. Мне сказали, что Господь Бог наказал тамошних жителей большим потопом, что они оставили свои жилища по Оби и ее притокам и ушли в отдаленные леса, что им уже не до ярмарки и они думают только, как бы не умереть с голоду. Говорили, что и самая деревня, в которой бывает ярмарка, вместе с кабаками и трактирами залита весенней водой; наконец, что как звериная, так и рыбная ловля нынешней весной были очень неудачны, и потому нечего возить на ярмарку. Вследствие всего этого полагали, что в нынешний год едва ли ярмарка и будет, но что во всяком случае отыскиваемые мною самоеды на нее не приедут. При этом как бы в вознаграждение мне сообщили, что в деревне Топорковой[29] или Скрипуновой, несколько в стороне от проезжей дороги из Самаровой в Силярское, есть один работник-самоед. Поэтому я решил завернуть в Топоркову, а там, может быть, пробраться все-таки и в Силярское. Рекой от Самаровой в Топоркову около 70 верст, и я проплыл их в одну бурную ночь. По приезде в Топоркову мне сначала сказали, что никакого самоеда у них нет, но формальные розыски старосты открыли нако-

нец черноволосого карлика, самоедство которого, однако ж, оспаривали, и по преимуществу тем, что он носил русскую рубашку и принял русское имя. Несмотря на то, для меня он был самоед, и не по одним черным волосам, а и потому, что и отец, и мать его были самоеды и самоедский язык он почитал своим родным языком. Отыскав этого, я начал, разумеется, разведывать, нет ли где поблизости еще и кроме его, точно так, как ботаник, найдя одно редкое растение, начинает искать вокруг других его экземпляров. И действительно, при помощи старосты я открыл в этой деревне одного за другим еще шесть самоедов. Сначала я был уверен, что это какие-нибудь проходимцы, которых неудачи на тундре заставили попытать счастья между русскими, но каково же было мое изумление, когда я узнал, что они с незапамятных времен живут на Оби и составляют особое, отдельное племя. Племя это, называемое *иевши* (iewschi)[20], по их словам, было некогда довольно многочисленно, но постепенно, вследствие близкого соседства остяков и русских, уменьшилось до восьми семейств, которые кочуют по берегам Chantsche-jaha, Nistjei и других небольших рек, впадающих в Обь с южной стороны, невдалеке от Топорковой. Обрадованный таким открытием, я оставил отдельные лица и начал поиски за целыми племенами. Хотя по обыкновенной сибирской скрытности и осторожности от меня и таили многое, мало-помалу я разузнал, однако ж, что еще два несколько больших племени кочуют по Лямиягу Сору и по Верхнему Назыму — двум рекам, впадающим в обской рукав с севера. Все эти племена, как мне сказывали, совершенно сходны с северными соседями своими — казымскими самоедами — по языку, религии, нравам и образу жизни. Существование этих племен не может не интересовать историка и этнографа, потому что они могут восполнить промежуток, разделяющий самоедов, кочующих по Ледовитому морю, от южных — алтайских. Самоеды, о которых теперь идет речь и к которым можно причислить и *аганских* (см. ниже), образуют, может быть, переходное звено от тымских или всех нарымских самоедов[21] на юге к казымским на севере. К сим последним они и сами причисляют себя, потому что приходят платить подать на реку Казым, в древний полуразвалившийся Юильский городок.

Племена эти важны и для филолога, ибо они говорят наречием, которое представляет много данных для определения сродства самоедского языка с финским. Но я скоро возвращусь к этому предмету, а теперь буду продолжать отчет о дальнейшем моем путешествии.

В Топорковой меня также уверяли, что на Силярскую ярмарку, если даже она и будет, соберется очень немного народу, и потому я решился окончательно не ехать туда. Этому решению содействовала отчасти и страшная непогода с грозой и градом. Градины или, скорее, ледяные ядра, имевшие до двух дюймов в поперечнике, перебили почти все стекла в деревне, к великому горю хозяев, потому что новых стекол достать было неоткуда. Между тем как хозяйка моя плачем, криком и жалобами выражала свое горе, я покойно сидел в бесстекольной избе, радуясь, что надо мной по крайней мере кровля, весьма в таковых случаях благодатная. На первый раз я пробыл, впрочем, недолго в Топорковой, отправился вскоре в недальнюю Чебакову к живущим здесь остякам. Я поехал сюда собственно для разузнания отношения остяцкого наречия на Иртыше к тому, которым они говорят на Верхней Оби. Оказалось, что в Чебаковой язык их не потерпел еще никаких существенных изменений, и я пробыл здесь несколько недель, продолжая изучение его, начатое еще на Иртыше. Возвратившись затем в Топоркову, я уже исключительно занялся самоедским и, когда ознакомился, насколько было нужно, с господствующим в этих местах самоедским наречием, отправился в Силярское и оттуда еще за десять верст к Балынским юртам, находящимся уже в Сургутском округе Тобольской губернии. В этих юртах я нашел опять двух самоедов племени *ничу* (Nitschu)[35] с Лямина Сора и начал с ними новый курс самоедского языка, который по случайным причинам кончился, однако ж, скорее, чем бы мне хотелось.

На основании как прежнего, так и теперешнего моего изучения этого языка я еще более убедился в сродстве его с финским или, еще вернее, с финскими языками. И какой же прольется свет от одного уже окончательного доказания этого на старину финнов, на их далекие связи и всемирное значение. До последних времен на все финское племя не обращали почти никакого внимания. Не зная древнейших судеб его,

разбросанные ветви его почитали бесполезными побегами родового древа человечества, которые историк преспокойно обрубал, предавая забвению и гибели. Если в последнее время воззрения на это племя начали изменяться, то этим мы по преимуществу обязаны Петербургской Академии наук. Ученые экспедиции, посылаемые ею для обработки этнографии, статистики и естественной истории России, обнаружили мало-помалу связь, существующую между живущими в России народами финского происхождения. И так как оказалось, что ветви финского племени с древнейших времен сосредоточились около Уральских гор, то и начали обозначать все племя названием *Уральского* и приданать ему немалое значение во всемирной истории. Историограф финского племени Ф.Г. Миллер говорит, что «к этому племени принадлежат многие народы, прославившиеся военными подвигами и торговой деятельностью» и что «именно финские народы дали сильнейший толчок тем передвижениям народов, которые в Европе известны под названием великого переселения народов». (Muller. Der Ugrische Volksstamm. Th. 1. S. 5). К этому следует еще присовокупить доказанное влияние финского племени на древнейшее образование Севера. Таким признанием единства и всемирно-исторического значения этого племени исследование дошло, конечно, до весьма важного результата, но оно не может, однако ж, остановиться на этом. Кто же не поймет, что племя, перенесенное на пустынные скалы Урала, если б оно никогда и не было так сосредоточено в самом себе, все-таки разобщено от всего остального человечества. История не знает никакого другого племени, которое бы сошло с Уральского хребта, и предположение финнов разобщенной народной группой совершенно несогласимо с результатами, которые в последнее время сравнительное языковедение добыло в отношении сродства народов. Исследование никаким образом не может удовлетвориться до тех пор, пока не отыщет связи, соединяющей финское племя с какой-нибудь большею или меньшею частью остального человечества; а что таковая связь действительно есть, и притом в такой степени, какой доселе не допускали еще и самые смелые предположения, в этом я убежден вполне. Чрез сродство с самоедами финны неоспоримо связуются с алтайскими народами. Что самоеды вышли с Алтая — это не подлежит никакому сомнению, пото-

му что так много ветвей этого племени открыто и частью откроется еще близ этого горного хребта. А так как финны сродственны с самоедами, то, естественно, должны иметь и одну с ними прародину. Проследим внимательно протяжение финского племени — увидим, как я уже сказал в другом месте, что оно распространено с незначительными перерывами от берегов Ботнического залива почти до подошвы Алтая. Итак, что бы ни говорили о разобщенности и бессвязности этого племени, все-таки нельзя не взять во внимание важную в историческом отношении связь, проявляющуюся в том, что оно, так сказать, не замыкало пути, которым начало свое переселение.

К сейчас приведенным доказательствам выхода финнов с Алтая присовокупляется еще их неоспоримое сродство с татарами, или, правильнее, с тюрками, которые и доселе составляют один из главных народов Алтая и, по мнению Клапрота, исконные обитатели его. О сродстве между тюрками и финнами заговорил, сколько мне известно, первым знаменитый филолог Раск, основываясь на некоторых филологических данных. Затем и гельзингфорский профессор Гейтлин обратил внимание на некоторые в грамматическом отношении чрезвычайно важные сходства обоих языков. Эти доказательства я хотел подкрепить некоторыми новыми, но оставляю их до другого случая из опасения зайти слишком далеко. По той же причине я не привожу и оснований, на которых можно признать сродство и 1) между татарами и монголами, 2) и между монголами, манджурами и тунгусами, которые все принадлежат Алтайскому хребту. Достаточно уже и намека на сродство финнов с самоедами, потому что отсюда само уже собою следует, что финны, в таком случае, соприкасаются со всеми алтайскими народами и в их истории находят опору и исходную точку собственной истории.

Но я так уклонился от путешествия и от настоящей цели его, что теперь необходимо бросить взгляд назад, на пространства, которые я оставил за собой. Выехав в начале июля из Самаровой, я целый месяц разъезжал в различных направлениях по Оби до Силярского. Вся эта страна была наводнена в это время весенним разливом; на широкой, безбрежной водной поверхности глазу не представлялось ничего, кроме полузатопленных деревень да небольших островов. Повсюду царили беда и горе. Вследствие необыкновенно силь-

ного разлива многие остяцкие семейства должны были оставить жилища и бежать в леса, где приходилось питаться только тощими зайцами. Тем, у кого были лошади и коровы, стоило немало труда сохранить их. Весенняя рыбная ловля всюду была очень неудачна, а начать ловлю обыкновенным летним способом, т.е. неводами, не было никакой возможности, потому что и к концу июля все берега, способные для этой ловли, находились еще под водою. Точно так же не сбыла еще она и с лугов, и это лишало надежды запастись на зиму сеном, потому что близилась уже и осень с своими ночными морозами и холодными северными ветрами, естественно, вредными для растительности, хотя и благотворными тем, что очищают воздух от сырых и удушливых туманов, которые тотчас по стечении воды начали подыматься из болотистой, покрытой илом почвы. Туманы эти тяжелы для слабой груди, и на мою они начали действовать так дурно, что, пробыв несколько дней в Балы[33], я принужден был покинуть это отравительное гнездо, где в довершение всего воздух заражался еще невыносимой вонью от гнилых рыбьих внутренностей, жаривщихся на солнце.

Когда я оставил Балы, вид Оби начал несколько изменяться. До сих пор во все время моего плавания я не видал сухого места хоть на русскую версту длины, а теперь на пути от Балы постоянно видны были оба берега реки. Они очень низки и, очевидно, были залиты, потому что почва везде была покрыта вязким илом (яяшею), сквозь который пробивалась совершенно прямая осока. Лес по низким берегам состоял большей частью из вида ивы, называемого тальником. В некоторых, немногих впрочем, местах берег возвышался настолько, что не заливался даже и во время весеннего разлива. Но эти места были песчанисты и покрывались хвойным лесом, вереском, черничником, сибирским боярышником и различными мхами; впрочем, настоящих возвышенностей по Оби до сих пор я не видал еще. Между Силярским и Сургутом даже и пески были очень редки. Берега состояли по большей части из так называемых яров, т.е. крутых глинистых, почти везде одинаково высоких холмов с наклонившимися деревьями вообще весьма мрачного вида. Повсюду природа проявляет здесь характер страшной дикости. Число жителей в отношении к пространству — ничтожно. К тому ж и

эти, предпочитая рыбную и звериную ловлю, совсем не занимаются земледелием, и дичь царит всюду. Человеческие жилища зачастую окружены болотами и непроходимыми лесами. Каковы же должны быть остальные, совсем необитаемые пространства! Болота попеременяются некошеными лугами и бесплодными, по большей части сгоревшими от жара вересковыми полосами. Возле каждого свежего, зеленеющего дерева всегда увидишь другое, засохнувшее, готовое повалиться. Молодую траву глушит старая, придающая уже в июле всем лугам серовато-пепельный цвет. Из живых существ редко встретишь что-нибудь, кроме журавлей, диких гусей и уток. Человеческие жилища чрезвычайно редки. От Силярского до Сургута на протяжении почти двухсот верст только три маленькие русские деревни: Кушникова (Кунинская), Тундринская (Майорская) и Пимогинская. Между Силярским и Кушниковой я видел, кроме того, несколько остяцких летних юрт, но дальше на всем пути не было уже ни одной. Главное население страны — остяки, но *из них по самой Оби живут весьма немногие. Большая* часть остяков, приписанных к нижней части Сургутского округа, живет всю зиму по малым притокам, впадающим здесь в Обь: по Салыму, Балыку, Пыму, Югану и др. Только в летние месяцы перебираются они на берега Оби для рыболовства, которое здесь принадлежит почти исключительно только им. По недостатку в больших рыболовных снастях они ловят, однако ж, обыкновенно не в самой реке, а в небольших рукавах ее. Каждый имеет тут свое, определенное давностью место, строят себе на лето шалаш из бересты, а некоторые срубают и избу. Эти избы не отличаются большим удобством. Они чрезвычайно малы, зачастую без печи, без окон, без скамеек и стола — одни стены да пол, покрытый камышовыми рогожами. Если есть окна, то стекла заменяются пузырем, а редкая печь складывается из глины с сеном или тростником. Собственно это и не печь, а очаг в уровень с полом и шапкообразной трубой, обмазанной сейчас упомянутым цементом[24], которым покрывается и весь печной угол для предохранения его от огня. Кроме этого очага, при многих летних юртах я видел особенную печь, также складенную из тростника и глины, но стоящую на холме на открытом воздухе. В этой-то обыкновенно и готовят пищу, а пото-

му в передней части ее есть и отверстие для котла. Из пристроек к таким юртам я заметил только небольшие чуланы для рыбы.

Выше я сказал, что остяки, приписанные к нижней части Сургутского округа, живут зимой преимущественно по притокам Оби: Салыму, Балыку, Пыму и Югану, следует еще прибавить Торм-Юган, впадающий в Обь немного выше Сургута. Есть, конечно, и такие, которые и зиму, и лето живут при своих маленьких речках, как, например, пымские и торм-юганские, но из тех, которые летом приходят ловить рыбу в Оби, нет ни одного, который с наступлением осени не возвращался бы на свои зимовья. Это объясняют тем, что выше, в дремучих лесах, более зверей и всякой дичи. Но так как с каждым годом зверь становится все реже, то и можно предположить, что остяки вынуждены будут, наконец, совершенно основаться по Оби, которая по обилию рыбы и прекрасных лугов может прокормить значительное население. Остяки отчасти уже и понимают выгоды переселения на Обь, но их останавливают привязанность к старым обычаям, боязнь русских, леность и пуще всего панический страх, внушаемый всякой цивилизацией. Остяк боится образования и цивилизации от глубоко укоренившегося убеждения, что всякое со стороны пришедшее просвещение уничтожит его национальность и сделает русским. У самоеда «сделаться русским» и «сделаться христианином» — два совершенно однозначащих выражения. Хотя остяки большей частью и крещены, но затем они ничего уже не хотят знать о христианстве, потому что точно так же, как и самоеды, уверены, что нельзя быть истинным христианином, не сделавшись русским. Может быть, причиною этого — неловкий приступ к обращению их в школах, устроенных для них в некоторых местах в последнее время; как бы то ни было, верно по крайней мере то, что обские остяки из опасения утратить свою национальность не покидают лесов и пустынь, недоступных для иноземной цивилизации, потому что реки, ведущие к их жилищам, не способны ни к какой правильной коммуникации, хотя остяки и плавают по ним в челноках своих.

В этнографическом отношении эти реки имеют, однако же, большее значение. По сообщенной мне Г. Кеппеном

инструкции я должен был собрать верные сведения о Лямин Соре, о котором так много спорили, но так как эта река хотя и менее известна, ни в каком, однако ж, отношении нисколько не важнее прочих маленьких речек нижней части Сургутского округа, то я и почитаю нелишним сказать несколько слов вообще о всех этих притоках Оби.

1) Салым, по-остяцки Содом[35], в верховьях своих течет недалеко от Иртыша и впадает с юга в салымский рукав Оби около 20 или 30 верст выше Силярского. Об этой реке я получил от остяков немногие и зачастую противоречащие одно другому сведения. По ним, Салым заливает, подобно почти всем большим и малым рекам Сибири, огромные пространства, летом же так высыхает, что по нем могут ходить лишь небольшие остяцкие челноки. О длине его нет возможности получить точные сведения, потому что едва ли сыщется остяк, проехавший по нем от истоков до устья; ширина же в нижнем его течении доходит до 20 и 25 сажен. Прибрежья его, как рассказывают, частью низменны и болотисты, частью — высокие обрывистые пустоши (*урманы*), поросшие соснами, елями, кедрами и лиственницей. Гор нет и лугов мало. Единственные жители — остяки, из коих южнейшие приписаны к Тарханской волости, по Иртышу, а северные составляют свою особую волость, называемую Салымскою. И те и другие промышляют рыбной ловлей и охотой за соболями, лисицами, северными оленями, лосями, белками и др. Не говоря уже о земледелии, им неизвестно даже и скотоводство. Коров нет вовсе, весьма немногие держат овец, ручные северные олени совсем перевелись. Кое у кого есть лошадь, большая же часть ездит на собаках.

2) За Салымом по порядку следует Лямин Сор[36]. Об этой реке ходили самые страшные слухи, пока наконец Г. Кеппен сказал о ней настоящее слово, объявив, что Лямин вовсе не море и не огромное озеро на Барабинской степи, а просто небольшая речка, впадающая в Обь с северной стороны. Обыкновенно ее называют Ляминым Сором, но первоначальное самоедское ее название просто Лам или Лами (Laém)-Яха — река Лами. Под словом *сор* русские сибиряки разумеют заливаемую в весеннее половодье низменность и, вероятно, потому, что после разлива остается на ней тина, или *сор*; Лямин Сор, как говорят, разливается также сильно: в нижнем своем течении иног-

да даже на 15 верст, может быть, что словом *сор* хотели обозначить и это свойство. Что же касается до второй половины названия, до слова Лямин (Lam), то я никак не мог разузнать настоящее его значение. Об истоках Лама, или Лямина, я получил три противоречащих одно другому сведения. В Березове мне положительно говорили, что из большого озера Торм-Лора[37] (Torm-Lor) вытекают три реки: *Надым*, направляющийся на север и впадающий в Ледовитое море; *Казым*, текущий на запад и сливающийся с Большой Обью, и еще третья река, текущая на юг и впадающая в Верхнюю Обь. Рассказывавший мне не знал названия последней реки, но если он говорил правду, то по всему вероятию эта река Лямин, который, и по сведениям, сообщенным Г. Кеппену березовским исправником, берет начало свое неподалеку от истоков Нарыма[38]. Потом я слышал, что Лямин начинается гораздо южнее Торм-Лора и вытекает из нескольких превратившихся в болота озер, которых так много в Северной Сибири. Наконец мне рассказывали, что Лямин образуется из слияния трех речек, из коих восточная называется у самоедов Kejai, западная — Tatjar[39] и средняя — Lam. По слиянии этих трех речек Лямин протекает быстро и извилисто по безлюдной, пустынной и болотистой стране. По правой стороне его тянется высокая, поросшая густым хвойным лесом пустошь (*урман*); левый берег, напротив, очень низок и большей частью болотист. Правая возвышенность, называемая самоедями Laemi-peadara (Ляминская возвышенность, Ляминский лес), сопровождает сперва западную речку Татьер. Эта возвышенность не очень значительна, но все-таки настолько высока, что не покрывается водой во время весеннего разлива. Лямин во всем своем течении наводняет окрестности далеко, но осенью суживается до 30 и 20 сажен. Он впадает в 12 верстах выше деревни Купниковой, т.е. в 130 верстах ниже Сургута. Единственные обитатели берегов его — самоеды племени Nitschu (см. выше), приписанные к Кондинской волости. Рассказы, что по Лямину живут и остяки — вздор, порожденный тем, что две или три остяцкие семьи из окрестностей Купниковой издавна отправляются каждое лето на Лямин ловить рыбу. По собственному показанию ляминских самоедов, их всего 20 семейств и почти столько же податных душ. Они живут круглый год в жалких лачугах из древесной коры, в страшной нищете и питаются преимущественно

рыбой, как зимой, так и летом. Оленей у них очень мало (от 1 до 5). Зверь ловится плохо, потому что леса сильно выгорели, на что жалуются по всей Северной Сибири. Религией, нравами и домашней жизнью ляминские самоеды совершенно сходны с своими единоплеменниками, живущими в Тобольской губернии.

3) В десяти верстах выше Лямина впадает в Обь также с северной стороны река *Пым* (по-остяцки *Pynę*). Она несколько меньше Лямина, но так же стремительна, мелка и извилиста. Берега ее низки и также затопляются весенним разливом. Когда половодье очень велико, устья Пыма и Лямина сливаются, и таким образом пространство в 25 верст покрывается водой. Особенного внимания заслуживают на Пыме так называемые *ломы*, то есть заносы реки. Они образуются следующим образом: весенние воды разрыхляют берега, которые в некоторых местах, обваливаясь, так суживают речное русло, что оно легко заграждается плавучим лесом. Таковой нанос, раз начавшись, расширяется и увеличивается с каждым годом, покрывается слоем земли, и наконец этот естественный мост порастает даже деревьями. Мне назвали два таких лома на Пыме: один в 10 верстах выше устья, другой — в расстоянии трех дней пути вверх по реке. Первый, как мне *сказывали, в две версты длиной, о последнем жители берегов* Оби не могли сообщить точных сведений. Равным образом я не мог узнать, есть ли еще такие домы и выше к верховью. Мелководье, стремнины и эти ломы делают плавание по Пыму почти невозможным, хотя иногда остяки и ездят по нем в маленьких своих лодках. Кроме того, Пым и малорыбен. Самое даже звероловство по берегам его не вознаграждает труда, потому что лет 20 тому назад пожар истребил все леса. Пожар этот лишил остяков и всего их имущества, они оставили Пым и почти все до последнего человека перебрались на маленькие его притоки, которые в настоящее время представляют больше выгод, чем главная река, как в отношении к рыболовству, так и звероловству. Кроме этих промыслов, единственных у сургутских остяков, пымские остяки занимаются и оленеводством, но так как стада их невелики, то им нет надобности вести кочующую жизнь: они живут целую зиму на одном и том же месте в обыкновенных остяцких юртах, сложенных из дерева или из торфа. Другого скота, кроме оленей, у них

вовсе нет: нет ни коров, ни овец, ни лошадей. Соседи их, ляминские самоеды, называют их Paritschea *; это название они перенесли и на город Сургут (Paritschea karust), куда пымские остяки привозят подать; самоеды же доставляют свою подать в Березов.

4) Балык (по-остяцки Падак) — незначительная речка, впадающая с юга между Салымом и Юганом в так называемую Малую, или Юганскую, Обь. Она во всем сходна с соседними реками. Немногие жители берегов ее — все остяки и приписаны к *Юганской погородне*. Целое лето они живут на Малой, или Юганской, Оби, осенью же возвращаются большей частью в зимние жилища на берега Балыка и его небольших притоков.

5) Вместе с Вахом Юган (по-остяцки Iogan) — самый большой во всех отношениях, самый значительный из всех притоков Оби в Сургутском округе. Он впадает в Юганский рукав и вытекает из озера Барабинской степи[40], называемого у сургутских остяков Jigwaja-teuch, т.е. Медвежьим озером. Очевидцы рассказывали мне, что озеро это очень длинно, но в ширину не более полутора верст, что оно состоит из семи заливов, разделенных косами и столь широких, что, стоя на одной косе, едва рассмотришь другую. Суеверные остяки боятся этого озера, они думают, что в нем живет страшный мамонт и делает опасной езду по этому озеру не только летом, но и зимой, потому что оно во многих местах не замерзает и лед проламывается часто без всякой видимой причины. В этой же стороне берут также начало свои реки Васьюган и Демьянка, из коих первая впадает в Обь, а последняя в Иртыш. По всем этим рекам живут остяки, находящиеся в постоянных сношениях друг с другом вследствие далеких охотничьих разъездов. Остяки, живущие по Югану, числом до 1240 душ, разделены на несколько волостей. Большая их часть, как уже сказано, проводит летние месяцы на Оби, где богатые ловят рыбу на собственных угодьях, а бедные нанимаются в работники к тобольским и сургутским купцам, которые на лето обыкновенно нанимают ловить рыбу остяков. В образе жизни юганские остяки[41] ничем не отлича-

* Собственно на самоедском языке остяк называется habi (Kabi), что в буквальном смысле значит раб. Слово Paritschea (черный) — собственно эпитет, который кондинские самоеды придают вообще остякам, вероятно, по пристрастию сих последних к синим платьям.

ются от других остяцких племен, живущих в Сургутском округе. У некоторых есть одомашненные северные олени, из остальных же домашних животных держат только собак. Юганские остяки живут в обыкновенных юртах, все они крещены и при устье Югана имеют свою церковь[42], близ коей поселилось несколько русских крестьян. Как в этнографическом, так и в гидрографическом отношении Юган отличается от вышеописанных рек только размерами. Длина его от 500 до 600 верст, ширина около 50, а при устье — 100 сажен. Весной Юган очень глубок и повсюду судоходен, но летом большие суда не могут проходить даже и устье его от мелей и песчаных кос. Из его притоков самый значительный — так называемый Малый Юган (по-остяцки Ai jógan).

6) Три-Юган (ост. Torm-logan) — небольшая река, которая, пробежав около 300 верст, впадает с севера в Санинский рукав Оби (Санин проток) верстах в 20 выше Сургута. С запада она принимает в себя *Аган*, который на всех мне известных картах обозначается главной рекой, между тем как и русские, и остяки считают его притоком Три-Югана, называя реку последним именем и при самом ее впадении в Обь. В гидрографическом отношении Три-Юган одинаков с соседними ему реками, что же касается до этнографии, то мне рассказывали, что к истокам Агана приходят на летнее время казымские самоеды. Большую и более оседлую часть народонаселения составляют остяки, живущие и лето, и зиму по берегам своих рек и промышляющие звероловством, рыбной ловлей и оленеводством. Число остяков по Торм-Югану и Агану, как говорят, простирается до 300 душ, из коих только 96 принадлежат к Аганской волости.

Письма

I

Статскому советнику А.И. Шёгрену.
Торопкова, 4 (16) июля 1845 г.

Отрешенный от всего остального человечества, прожил я почти целую неделю на маленьком островке в неизмеримом устье Верхней Оби и потому не мог отвечать на ваше

письмо от 16 (28) мая, которое нагнало меня только на пути к моему теперешнему местопребыванию. Ответ мой я мог бы, конечно, отправить из Самаровой, но не успел и потому пользуюсь теперь не совсем верной оказией, отправляя его с рыбаком из Тобольска. Но путевых заметок не присоединяю, потому что мой Меркурий отплывает сию минуту, да и я сам через час отправляюсь в остяцкое селение, находящееся в 15 верстах от русского, в котором теперь пребываю. Путевой же отчет постараюсь между тем держать в готове, чтобы отправить его при первом удобном случае. Но этот удобный случай едва ли встретится раньше месяца.

Дело в том, что здесь, при устье Верхней Оби[42], я открыл совершенно неожиданно несколько небольших самоедских племен, говорящих наречием, значительно уклоняющимся от того, которым говорят прочие самоеды. До сих пор постоянные занятия остяцким языком мешали мне заняться серьезно самоедским, и потому раньше месяца, вероятно, я не вырвусь отсюда. На пути из Тобольска в Торопкову (название деревни, в которой я теперь обретаюсь) я пробыл три недели только в Цингалинских юртах и никуда не сворачивал в сторону. Отсюда я предполагаю отправиться в Сургут. Заезжать в Кондинск теперь незачем, потому что в настоящее время самоедов там нет, да сверх того, здешние принадлежат именно к кондинским, или казымским, самоедам, о которых я так много слышал еще в первое мое путешествие. Наконец я добрался-таки до них, и совершенно случайно. Их здесь так мало, и они так перемешались с остяками, что никто о них и не знает. В Самаровой, которая отсюда не далее 80 или 90 верст, знали только, что в Топорковой есть один какой-то работник из самоедов, ради его-то я и свернул сюда, вместо того чтобы ехать прямо в Силярск, как располагал прежде. На первые мои расспросы о нем мне ответили решительным уверением, что здесь нет никаких самоедов; по счастью, вскоре по моем приезде я наткнулся на несколько лиц, очевидно самоедских, и когда я указал на них, стали говорить, что действительно есть здесь и кочующие, и живущие в работниках самоеды; наконец сообщили, что по окрестностям бродят еще и другие племена. Но обо всем этом вообще и в частности передам в путевых отчетах...

От работы и удушливого зноя грудь моя пострадала порядочно, а желудок сильно протестует против русских купаньев. В Сургуте, где я располагаю быть в конце августа или начале сентября, может быть, мне удастся несколько отдохнуть и запастись силами на зиму.

II

К асессору Раббе.
Чебакова, 25 июля (6 августа) 1845 г.

Хотя гребцы, которые должны перевезти меня в ближайшее остяцкое и самоедское гнездо, уже наняты, я не могу, однако ж, отправиться в путь, не поблагодарив тебя от всего сердца за письмо твое от 30 июня, полученное мною вчера в деревне Чебаковой при Верхней Оби между Самаровой и Сургутом. Вообще говоря, положение мое теперь во всех отношениях порядочно. Правда, грудь иногда побаливает, но оно так и должно, потому что, во-первых, надсадил себя работой, во-вторых, жил несколько времени на покрытых илом островках сажень в семь длиною — единственных местах, остававшихся над водою во время страшного половодья, заливающего приобьскую страну на неизмеримое пространство. Главным занятием моим в продолжение лета был остяцкий язык, а в последнее время самоедский, не говоря уже о тысяче других, менее важных дел. Хотя иногда кожа и горит, но все-таки теперь я весел и доволен, ибо вижу, что многие из моих теорий оправдываются и будут приняты.

Между прочим, благодаря нескольким малочисленным самоедским племенам, которые оставались до сих пор неизвестными и на которых я неожиданно наткнулся на Верхней Оби, алтайское происхождение финнов приобрело математическую достоверность. Вследствие этого открытия теперь можно проследить почти непрерывающуюся цепь самоедской семьи народов от Архангельска и Мезени вплоть до прибайкальской страны. Но что же тут общего с финляндскими делами — спрашиваешь ты меня. На этот вопрос я думаю в скором времени послать ответ в С.-Петербургскую Академию наук, но не могу удержаться, чтобы не выболтать тебе следующего: язык новооткрытых самоедов обнаруживает встречающими-

ся в нем изменениями букв и другими особенностями такое близкое сродство между финским и самоедским, что если последний и нельзя считать членом финского корня, то во всяком случае нельзя не признать языком, находящимся в ближайшем сродстве с финским. Из этого следует, что оба народа должны иметь общую точку исхода, а что этой точкой может быть только Алтай — это доказывается еще и некоторыми другими фактами. В продолжение лета я несколько ознакомился и с татарским языком и открыл, что финский и татарский языки не только в грамматическом отношении, но и множеством слов обнаруживают такие важные сходства, что близкое сродство их не может подлежать никакому сомнению. А татары, как известно, принадлежат также к числу древнейших алтайских народов, равно как и монголы, которых в последнее время начали считать отраслью тюркского племени, имеющей и по языку сродство с турками, или татарами. Следовательно, и этот путь приводит нас к Алтаю как к первоначальному отечеству финнов. К этому присоединяется еще и то, что остяки, составляющие несомненную ветвь финского племени, распространены почти до помянутого хребта. Наконец, нельзя также не заметить, что многие названия мест в алтайских странах — финского происхождения. Так как все вышеприведенное невольно приводит меня к предположению, что наш язык и наша древнейшая история находятся в самой тесной связи с языком и с историей татар и монголов, а может быть, и тибетян, и китайцев, то со временем, если Бог пошлет мне здоровья и сил, я думаю обратить свои исследования и на этот предмет.

Мой спутник также имел намерение заняться изучением монголо-татарских языков и полагает, согласно со мною, что самое удобное место для этого — Казань, богатая источниками и в историческом отношении. Так как вследствие этого Бергстади может выехать из Сибири раньше меня, то я желал бы знать, не соблазнятся ли казанец-магистр Альцениус или студент г. Борг на поездку в Сибирь. В случае крайности я удовольствовался бы любым молодым, добрым и веселым студентом, лишь бы только он знал немецкий язык. Даровой проезд и стол — единственные выгоды, которые я могу предложить ему. Впрочем, об этом поговорим еще впоследствии.

III

Статскому советнику А.И. Шёгрену.
Сургут, 12 (24 августа) 1845г.

В деревне между Силярским и Сургутом нагнал меня десятник и вручил мне вместе с другими и ваше письмо. Это было с неделю тому назад. Теперь я посылаю только заметки о путешествии из Тобольска в Самарову. О поездке из Самаровой в Сургут я не написал еще ничего, надеюсь, однако ж, до отъезда отсюда что-нибудь приготовить. Здесь, в Сургуте, я думаю пробыть еще недели три для изучения некоторых остяцких наречий, сходящихся в здешних местах. Куда отправлюсь отсюда — не могу еще сказать: город в настоящую пору почти пуст, и я не нашел никого, кто бы мог указать мне прямой путь к Енисею. Я спросил о нем заседателя и получил в ответ: «Мы дороги не запираем». Священник утверждает, что до сих пор никто прямой дорогой к нему не ездил еще, но предполагает, что если такой путь возможен, то он очень будет интересен. Дьякон говорит, что отец его, живущий священником на реке Вахе, когда-то ездил к реке Тазу, но как и в какое время года, не знает. Из здешних же жителей ни один не предпринимал еще такого путешествия. Итак, в этом отношении я нахожусь в совершеннейших потемках. Просветлеет, я не премину уведомить вас о своих намерениях.

Здоровье мое вследствие пристальной работы и малого движения в последнее время было не совсем хорошо. Как вам известно, в течение этого лета я занимался то остяцким, то самоедским языком. Остяцкого я нашел уже несколько наречий. Одно из них распространено по всему Иртышу и по Верхней Оби до реки Салым. У сей последней оно несколько изменяется и составляет переход к наречию, которое распространено от Салыма, или, правильнее, от Пыма, до Сургута и, следовательно, по рекам Балыку, Большому и Малому Югану, Агану и Торм-Югану, так как и по многим малым речкам, впадающим в Обь. В настоящее время я ревностно занимаюсь остяцким наречием, которым говорят отсюда до нарымской границы, а также и по нижнему течению Ваха. По Верхнему Ваху господствует, как мне

сказывали, другое наречие; равным образом и по Тазу, и т.д. Замечательно, что нахождение здесь тымских и нарымских самоедов решительно отрицают. Не преобразовались ли они в остяков? Что их нет по Ваху и в ближайших к нему местах, это говорили мне за верное; во всяком случае положительно верно то, что по тобольской части Вахи действительно их нет. Скажите г. Кеппену, что в следующем отчете я скажу кое-что и о Лямин Соре. Мне приятно подтвердить его предположения об этой реке, к которым могу присоединить еще несколько новых.

IV

Сургут, 28 августа (9 сентября) 1845 г.

Недавно нашелся, наконец, один человек из Ларьятского прихода на Вахе, который сообщил мне некоторые сведения, вовсе, впрочем, не утешительные, касательно пути через Таз к Енисею. Человек этот, капак и смотритель магазинов в Ларьятском, полагает, что путь этот почти что невозможен, потому что вся страна пустынна и редкие обитатели ее бедны оленями. Обыкновенно в таких случаях наряжают заранее из разных юрт нужное число оленей или собак на подставу, но тут и этого нельзя сделать, потому что большая и именно самая трудная часть пути по Енисейской губернии, куда, разумеется, не простирается власть здешних чиновников. Пуститься же от Вахи до Енисея на одних и тех же оленях, если бы даже и удалось нанять достаточное их число, было бы безумной тратой времени и здоровья. Во всяком случае лучше пробраться к Тазу и Ваху от Енисея, потому что там можно найти и нужное вспомоществование, и добыть необходимые сведения от остяков и самоедов, которые со всех сторон собираются на зимнюю ярмарку в Туруханск. Добрался с этой стороны до границы Тобольской губернии — и дело, как говорится, в шляпе, потому что от нее недалеко уже до ларьятской церкви. Кроме того, путешествие от Енисея представляет еще ту выгоду, что там можно наперед разузнать, какие именно места и племена следует посетить. Таким образом, и благоразумие, и плохое состояние моего здоровья требуют, чтоб я не

спешия слишком поездкой к Тазу. На первый случай позволительно разве только завернуть в Ларьятское, чтобы несколько оглядеться. Но и это сопряжено со многими неудобствами. Во-первых, теперь там, кроме священника и нескольких русских поселенцев, нет ни одной человеческой души; во-вторых, если придется от Вахи вернуться назад, то другой дорогой никак уже не поспеешь на Туруханскую ярмарку, которая бывает в декабре; наконец, в-третьих, по тобольской части Вахи встречаются только остяки, да и те по языку почти нисколько не отличаются от обских. По всему этому поездка к Ваху, если не продолжить ее до Таза и Енисея, чего до сих пор не могу еще решить, совершенно бесполезна. Во всяком случае до наступления зимы нечего и думать о какой-нибудь поездке в этом направлении, потому что из чего ж жить целую осень на Вахе. Лучше употребить это время на поездку к Нарыму, на пути к нему можно еще встретить дорогой самоедов. От Нарыма, смотря по обстоятельствам, можно и вернуться зимним путем к Ваху и направиться вдоль Кети прямо к Енисею. Поездка к Нарыму выгодна и тем, что я могу узнать и ваше мнение касательно этого, и получить деньги от академии.

Здоровье мое во время пребывания в Сургуте было так плохо, что я принужден был сесть на овсяную похлебку. Но болезнь не остановила моих филологических занятий, только путевых заметок до сих пор я не мог еще привести в порядок. Посланные с последней почтой, вероятно, уже у вас. Из Нарыма я, может быть, пришлю продолжение.

Путевой отчет

Как предания, так и история единогласно свидетельствуют, что дикие народы Сибири были уже по-своему опытны в кровавых потехах войны еще задолго до времени, когда пришли к ним толпы Ермака и принудили их бороться pro aris et focis[44]. Самые те места, на которых Ермак одержал большую часть побед своих, были уже издавна поприщем войн, которые вели остяки и вогулы то между собой, то с соседними самоедами и татарами. Но, кроме этой борьбы разных народов, кровь часто лилась вследствие междо-

усобий различных родов одного и того же племени. Нужда, хищничество, месть восстановляли одно племя на другое и порождали иногда страшные кровопролития. Кроме того, в песнях самоедов, остяков и многих других сибирских народцев сохраняется и память о героях, отправлявшихся на войну, чтоб добрым мечом своим добыть сердце и руку любимой девушки. Так жили народы, племена и отдельные лица в постоянной войне. По всей стране царила общая вражда — bellum omnium contra omnes[45]. Опасность постоянно сторожила всякого за дверью, потому что никакие договоры не обеспечивали от внезапного нападения. Это побудило несколько отдельных семейств одного и того же рода или племени сблизиться теснее и избрать себе главу, или князя, всего племени. Остяцкие племена в защиту от вражеских нападений строили даже некоторого рода укрепления (wosch, wasch). Как эти так называемые чудские городки[46] были устроены, теперь, конечно, нет никакой возможности разузнать, предание говорит только, что они помещались на высоких утесистых мысах и других труднодоступных местах. Там, где некогда находились эти городки, теперь видны только земляные насыпи да находят иногда обломки стрел, заржавленные копья, кольчуги и другие воинские остатки.

Один из таких остяцких городков находился во время завоевания Сибири на том самом месте, где впоследствии воздвиглись зубчатые стены города Сургута*. Тогда жил там один остяцкий князь по имени Пардак[47], коего могущество и храбрость еще и доныне прославляются у остяков. Несмотря на то, что Ермак сломил уже Кучума, покорил вогулов и все остяцкие племена по Иртышу, Пардак не побоялся вступить с ним в борьбу. Оружие остяков, как обыкновенно, были лук и стрелы, казаки имели пушки. При таком неравном оружии первые, естественно, должны были уступить последним, крепость сдалась, но память Пардака еще славится и чтится у его соплеменников и в его собственном роде, который и доселе удерживает за собой княжеское имя. На месте взятого города победитель построил острог и основал город, названный по близкому рукаву Оби

* Сургут находится при Верхней Оби, около 300 верст выше устья Иртыша.

Сургутом. Город этот в короткое время сделался для казаков сильнейшей охраной и точкой отправления дальнейших операций. Отсюда выходили по временам хищные казацкие ватаги, покорившие и обложившие данью все остяцкие и самоед-ские племена от Ледовитого моря на севере до реки Кета на юге. Решительно немного мест в Сибири, которые в эпоху завоевания ее играли бы такую важную роль, как отважный казацкий город Сургут*. Тем грустнее теперешний вид его. От прежнего могущественного города осталось только несколько жалких лачуг, беспорядочно разбросанных посреди пожарищ**, ни одной порядочной улицы, ни одного хорошего строения, даже редко где есть стекла в окнах, а цельная оконница уже почти исключение. В последние десятилетия нищета Сургута дошла до того, что он не мог выплачивать даже и податей. Вследствие этого он утратил свои привилегии и утешается теперь только одним названием города.

Я прожил в нем прошлого года весь август и часть сентября, занимаясь изучением разных наречий окружных остяцких племен. Из Сургута я предполагал пробраться вниз по Ваху и Тазу к Енисею, но по невозможности этого переезда, по крайней мере в то время года, мне пришлось продолжить путь свой вверх по Оби. Главной целью сделался Нарым, небольшой городок Томской губернии, до которого от Сургута водой считается около 800 верст. Страна между этими двумя городами — пустыня, покинутая русскими и очень слабо населенная туземцами. На этом пути нет даже и временных станций, очень обыкновенных в Сибири. Поэтому я должен был запастись в Сургуте всем нужным для дороги и главное — порядочной лодкой, потому что плавание в остяцких корытах и беспокойно, и опасно. Не менее важно было и приискание остяка, который мог бы быть в одно и то же время и толмачом, и слугой, и поваром, и учителем, и рассыльным, и вместе со всем этим заменял бы собой и подорожную. Окончив благополучно все сборы, я выехал 12 (24) сентября из Сургута бодрый и полный надежд. Меня беспокоило только позднее время года, обещавшее вскоре дожди и снег, стужу и оттепе-

* И доселе казаки составляют большую часть жителей Сургута.

** Пожары часто опустошали Сургут, и последний, в 1840 году, обратил весь город в одно огромное пепелище.

ли, туманы и ночные морозы. Некоторую, хотя и несовершенную, защиту против всех этих зол представляла мне и товарищу моему Бергстади добытая в Сургуте ладья, которая, как все обьские суда, была снабжена каютой, но каюта эта была так устроена, что, вобравшись в нее ползком, в ней можно было только лежать. Она занимала всю середину судна и освещалась слабым отблеском дневного света, пробиравшегося только сквозь мачтовое отверстие, хотя и имела на обоих концах по двери, но двери эти должны были оставаться постоянно затворенными, потому что иначе не было бы места ни гребцам, ни кормчему. Это жилище мрака было и нашей столовой, и спальней, и кабинетом. Ящик заменял стол, стульев было не нужно, потому что обедали по-римски: самовар был нашим камином. По всему этому нельзя сказать, что наша каюта была слишком роскошна и великолепна, несмотря, однако ж, на то, сургутский смотритель магазинов, человек вельми ученый и хороший христианин, утверждал, что Диоген, который, по его мнению, «один из лучших философов в мире и даже лучший христианин, чем Платон», не имел такого прекрасного жилища. Впрочем, днем мы вползали в каюту только в таком случае, когда дождь и непогода не давали возможности сидеть на палубе или бродить по берегам. Для последнего удовольствия берега Оби, однако ж, не слишком удобны. Они не очень высоки, но по большей части так круты и глинисты, что, забираясь на них, беспрестанно подвергаешься опасности скатиться в реку. Осенью местами встречаются, конечно, большие песчаные равнины, но и тут под песком большей частью мягкая глина, скоро надоедающая путнику. Ближайшие к берегам пространства — или трясина, или нескошенные луга, поросшие густой осокой и еще чаще непроницаемым ракитником. Тут не отыщешь никакой тропинки, единственные человеческие следы — погасшие огни и покинутые места растахов. Редко встретишь человеческое жилище. От Сургута до русской деревни Лохосовой[48] считают 90 верст, и на всем этом пространстве только две остяцкие деревушки, да и те не на самой Оби, а, как обыкновенно, на ее

* Обь имеет бесчисленное множество больших и малых рукавов. Русские разделяют их на: 1) *протоки*, или обыкновенные рукава; 2) *старицы*, т.е. рукава, которые летом по большей части высыхают, но прежде составляли главное русло.

рукавах*. На нашем пути видели мы только несколько русских рыбачьих лачуг, уже оставленных и до того ветхих, что даже птицы небесные и звери лесные как будто пренебрегали ими. По удалении рыбаков, приходящих сюда во множестве, всюду воцаряется могильное молчание и однообразие, изредка нарушаемое только быстрым бегом какой-нибудь остяцкой лодки. Странствуя по такой пустынной и безлюдной стороне, естественно желаешь ехать скорее в надежде увидать что-либо новое, но, как ни спеши, больше трех верст в час не сделаешь. Сначала скука, наводимая пустынной природой и таким медленным плаванием, умерялась по крайней мере хоть несколько хорошей погодой, пением птиц, зеленью лугов и деревьев, сверкавшей от блеска солнечных лучей водной поверхностью. Особенных приключений с нами не было, только что в первую ночь плавания судно наше попало в ряд мелей и до рассвета не могло выбраться из них. Точно то же случилось и следующим вечером, но на этот раз благодаря остякам нам удалось-таки высвободиться, и мы ночевали в вышеупомянутой деревне Лохосовой. На следующее утро, проснувшись, я с изумлением увидел, что вчера еще зеленевшие поля были покрыты белым саваном, а светлое ясное небо задернуто серой мантией зимы, что люди закутались в шубы и вся природа онемела, омрачилась и опечалилась. Несмотря на это, мы рано утром отправились в нашу каюту, затворили двери ее и поплыли далее. В каюте было темно, как в гробу, на меня напал невольных страх. Мне казалось, что за дверями свирепствует страшная буря, и тотчас же вспомнились все неприятности северной осени, испытанные мною два года тому назад у подошвы Урала. Сердце сжималось при мысли о том, что все это придется испытывать снова. Я воображал уже себя покинутым на пустынном берегу, мерзнущим, преодолеваемым болезнью и всевозможными бедствиями неприязненной северной природы. По счастью, все эти томительные и совсем ненужные опасения рассеялись вскоре, потому что, когда мы пристали к Ювашкинским юртам и я выполз из нашего душного зимнего гнезда, солнце сияло опять светло и ярко на безоблачном небе, земля опять зеленела, люди скинули шубы, и птицы распевали, радостно порхая по деревьям; я отправился в ближайшую юрту. К ней вела ровная узенькая дорожка, с обеих сторон окаймленная красивыми, стройными ракита-

ми. На конце ее виднелась чистая и как бы приглашающая к себе юрта. Испуганные моим появлением жители ее разбежались и тем самым дали мне возможность осмотреть подробнее остяцкое летнее жилище. Оно имело обыкновенную четырехугольную форму, низкие стены и высокую остроконечную крышу, все это из бересты. Предварительно разваренные полосы бересты сшиваются, как ковры, в большие полсти, которые легко скатывать и таким образом переносить с одного места на другое. Из таковых-то берестяных полстей делаются и стены, и крыша следующим простым способом. Вбивают в землю несколько ракитовых пней для поддержки берестяных стен как совне, так и снутри; на них утверждают стропилы, также из ракиты; и, покрыв сии последние берестой, укрепляют ее и совне рядом жердей. Столбы, стропилы и жерди связываются гибкими ракитовыми прутьями. В кровле оставляется отверстие для дыму, а ко входу привешивают дверь из досок или из бересты же. Вот и все, что нужно для летней остяцкой юрты. Окон, пола, скамеек и столов в ней никогда не бывает. Не забудем, однако ж, об очаге — главном условии благосостояния остяка. Высшие наслаждения в его жизни — сытная еда и приятный покой — соединены именно с этой простой принадлежностью, состоящей из небольшой, окруженной камнями ямы посреди юрты. Для покойного же отдыха необходима, разумеется, и мягкая постель, которую он приготовляет из рогож, оленьих шкур, шуб и других частей своей одежды. В котелки и берестяные плетушки остяка нам нечего заглядывать, мы знаем, что они почти всегда наполнены ухой, молочной кашицей, кашей, пирогами из черемухи, и т.п. Подле большей части остяцких юрт бывают небольшие бревенчатые амбары, или кладовые, стоящие, как в Лапландии, на высоких столбах. Таких амбаров здесь не было, однако ж и хозяйственные запасы сохранялись на помосте, устроенном на четырех столбах и употребляемом обыкновенно для сушки мелкой рыбы. Впрочем, в соседнем лесу мы, вероятно, нашли бы и еще кое-что, но черные тучи, поднимавшиеся на западе, заставили нас поспешить отъездом. В Сибири редко случается ошибиться, толкуя атмосферические приметы к худу; так и в этот раз — буря была в полном разгаре, когда ночью мы пристали к небольшой остяцкой деревушке. Как бы симпатизируя с природой, я выполз на несколько минут из каюты. Кругом не было видно ни

эги, ветер занывал страшно, дождь лил ливмя. Это была одна из тех ночей, в которые, по мнению диких народов Азии, умершие не могут оставаться в могилах, дико и страшно рыскают по земле. Все живое лежит тихо и трепещет, потому что призраки принимаются за ночные игры свои. Кровожадные тени шаманов[48] носятся над спящими и устрояют гибель всякому, кто пороками и преступлением отогнал от себя духов — хранителей жизни. В такую-то ночь судьба привела нас к трем юртам, составлявшим упомянутую деревушку. Самих юрт от страшной темы нельзя было рассмотреть, виднелись только три отворенных входа, освещенных изнутри разведенным огнем. Стоя перед ними, можно было подумать, что видишь перед собою три огненных жерла, извергающих облака дыма и мириады трещащих искр. В дыму и пламени мелькали маленькие, полунагие, фанатичные фигуры. По временам из жерл этих раздавались дикие, непонятные звуки, заглушаемые тотчас же шумом дождя и воем ветра. Но передать вполне все ужасное этой ночной сцены с ее темью, огнями, призраками, неистовым ветром и ливнем нет никакой возможности.

За ночь буря утихла, и к утру мы добрались до Магионских[50] юрт, находящихся при устье Магиона — небольшой реки, впадающей в Обь с правой стороны. Миновав их, я уселся на палубе и занялся рекой и дикими ее окрестностями. Но ни то, ни другое не представляло ничего нового, ничего необыкновенного. Все рукава и заливы реки были одинаково быстры, одинаково дики и пустынны. Всюду те же низкие, глинистые, обрывистые берега, поросшие вечным ракитником, и за ними луга, болота и глинисто-песчаные равнины. Для европейца Обь — пустынная и страшно однообразная река, наводящая тоску и грусть, но спросите о ней обжившегося здесь русского, и он скажет вам коротко, но многозначительно: «Обь — мать наша». Обратитесь с этим вопросом к седому остяку, который сидит у руля и, без сомнения, чтит еще веру и обычаи отцов своих, если он искренен, он непременно ответит вам почти так: «Обь — бог, которого мы чтим больше всех богов наших, к которому воссылаем самые теплые молитвы, которому приносим самые богатые жертвы». Для туземцев Обь — действительно податель ница всех благ, и без нее, конечно, ни одно человеческое существо не поселилось бы в этой бедной стра-

не. Итак, примиримся же и мы с Обью и утешим себя приятной надеждой, что близко, может быть, время, когда берега ее представят другие, более отрадные картины.

Подобные размышления занимали мою голову, когда громкий собачий лай возвестил о прибытии нашем к Лехлисовским юртам. Я вышел на берег и обошел все юрты, но не встретил ни одного живого существа, кроме нескольких привязанных собак. Остяки, верно, увидали меня еще издали и от страха скрылись в лес. Мы отправились далее к остяцкой деревне Ермаковой, проплыли в тот же день мимо Вонтпугольских и Вартуйских[51] юрт и ночью добрались до устья Ваха, который уже потому обращает на себя внимание путешественника, что он один из самых больших притоков Оби. Начинаясь далеко, в Енисейской губернии, он протекает, беспрестанно извиваясь, по крайней мере 700 верст, а по словам туземцев, около 100 верст, и на этом длинном пути принимает в себя множество притоков, из коих главнейшие Куль-Йоган, Сабун, Лавазин-Йоган и Калех-Йоган. Все эти притоки, за исключением только Лавазин-Йогана, впадают в него с правой стороны. Большая часть речной области Ваха пустынна, болотиста и беглюдна, берега низки и потому заливаются*. Нижнее течение его везде судоходно: суда с мукой, подымающие до 200 пудов груза, проходят по нем каждую весну до устья Сабун-Йогана, где в селе Ларьятском[52]** устроены казенные магазины. Меньшие суда ходят беспрепятственно до впадения Куль-Йогана, но верховья проездны только для небольших остяцких лодок, что, весьма вероятно, и заставило издавна уже бросить сообщение между Обью и Енисеем через Вах и Елогуй. Касательно населения речной области Ваха я узнал наверное только то, что в пределах Тобольской губернии оно состоит из остяков. По Куль-Йогану, вероятно, начинается уже самоедское население, но распространяется ли оно до верховьев Ваха, мне неизвестно еще. Вахские остяки[53]

* Правый берег Ваха, как почти всех рек сибирских, выше и бесплоднее левого. На левом берегу есть только одна возвышенность, называемая *Лапки* (по-ост. *Lapkaet*). Она находится на нижнем течении Ваха, недалеко от устья Калех-Йогана.

** В этом селе есть старинная церковь и недавно заведенное детское училище. Народонаселение Ларьятского, кроме коронных и церковных служителей, состоит только из немногих русских поселенцев.

Тобольской губернии сходны по языку, обычаям и образу жизни с обскими выше Сургута. Они живут в юртах, построенных из бревен, бересты и торфа; промышляют звероловством и рыбной ловлей, не имеют ни лошадей, ни коров, но имеют зато небольшие стада оленей. Летом они живут близ самого Ваха, зимой же — в некотором отдалении от него.

От устья Ваха берега Оби постоянно пустынны и необитаемы. Кое-где попадались нам только летние остяцкие юрты, по большей части из древесной коры, а иногда и из необтесанных бревен. Но и в бревенчатых юртах не было ни полов, ни окон, ни печей, ни даже самых обыкновенных домашних принадлежностей; в середине находился очаг, точно так же, как и в берестяных, да и вообще все устройство их почти ничем не отличалось от сих последних. В каждом месте стояло не более трех — шести юрт. При необходимости, вследствие возрастающего населения, увеличить число их каждое из таких поселений тотчас же разделяется, чтоб иметь больше места для звероловства и рыбной ловли, составляющих единственные промыслы сургутских остяков. Из юрт, виденных нами затем, как мы миновали устье Ваха, заслуживают внимание Вахпугольские, Калымские, разбросанные в четырех местах, Калтагорские (от самоед. слова kolda* — Обь) и Мыгалентские. В некоторых из них я заметил, что в воскресный день остяки умываются, расчесывают свои черные волосы и наряжаются в праздничные одежды. Обыкновенная верхняя одежда их, как у мужчин, так и у женщин, нечто вроде полукафтанья или пальто, похожего на финское *мекко*, только покороче сего последнего. Будничное полукафтанье это из грубой шерстяной ткани; праздничное — из сукна или из какой-нибудь другой, более тонкой материи, по большей части синего или зеленого цвета; воротник и отвороты непременно другого цвета и, сверх того, некоторые для большей красы окаймляют его еще красным сукном или мехом. Оно всегда, по крайней мере в будни, стягивается широким кожаным поясом, за которым заткнут нож с черенком, обложенным оловом. Мужчины носят высокие остроконечные шапки с широкими, свешивающимися на уши лопастями.

* Это обыкновенное название у томских самоедов, так же, как и Kual (собственно Kual, откуда Knalda, Kolda), т.е. дух, душа.

Женский головной убор состоит из длинного, спускающегося до пяток платка, оставляющего шею большей частью обнаженной; иногда они, однако ж, обертывают ее особенным боа из беличьих хвостиков. Перчатки шьются из разноцветных оленьих шкурок или суконных полосок. Щеголихи убираются множеством ожерельев и разного шитья бусами на воротнике, обшлагах, перчатках, башмаках и поясе; к сему последнему, к длинным фальшивым косам и головному платку они прицепляют еще железные, жестяные и медные бляшки, вероятно, для того, чтобы звоном и бренчанием их обратить на себя внимание молодых парней, т.е. покупщиков. В праздничных одеждах остяки, казалось, были веселее и чистосердечнее обыкновенного. Их гостеприимство и радушие превосходили всякое ожидание. Они выбегали на берег прежде, чем пристанем, притаскивали к нему наше судно, настилали деревья в топких местах или переносили нас через таковые на руках. Из опасения не угодить в юртах нам ничего не предлагали, но при отъезде обременяли всевозможными остяцкими лакомствами: свежей и сушеной рыбой, ягодами, пирогами из ягод и т.п. И мы принимали все эти дары, как ни были они излишни, не желая обидеть отказом простодушных и гостеприимных хозяев, потому что умоляющие взгляды и жесты их показывали ясно, что они делали это отнюдь не из расчета или какой-либо корысти.

Вскоре по отъезде из Мыгалентских юрт стемнело, полил дождь, поднялась буря. Гребцы напрягали последние силы, чтобы добраться до ближайшей юрты, но буря преодолела, пришлось пристать к пустынному берегу. С рассветом буря утихла, мы отправились дальше и вскоре прибыли к Киселовским юртам, миновали Ларингские и Кичемгинские и в тот же день добрались до деревни Нижний Лумпокольск, не встретив в продолжение четырех суток ни одного русского, ни одного порядочного жилища. Но и Нижний Лумпокольск — жалкая, маленькая деревушка, состоящая из полуразвалившейся церкви, трех ветхих русских изб и трех остяцких юрт, построенных на русский лад. Податные обыватели ее — четыре остяка и трое русских. И тут, как во многих других местах, я заметил, что остяки, хотя и обрусели во всех отношениях, ставили, однако ж, юрты свои в некотором отдалении от русских изб, имели даже свое особен-

ное кладбище. Остяцкое кладбище находится в прекрасной роще, русское — на пустынном берегу, где весеннее половодье каждый год размывает могилы и разносит кости покойников. Прежде в Нижнем Лумпокольске был и священник, но теперь в здешней церкви бывают только одни вороны; жители же, по собственным словам их, ездят молиться Богу в Верхний Лумпокольск. Хозяйство, разумеется, в величайшем упадке, что приписывается тому, что в последнее время и рыбная ловля, и звероловство были весьма плохи. Скотоводством и не хотят, и не могут заниматься, отчасти из боязни опустошительных падежей, отчасти от того, что для большого стада трудно запастись здесь кормом на десять месяцев*. Жалобы на это вы услышите по всей Оби, и они не прекратятся до тех пор, пока возделывание страны не распространится далее внутрь, пока не вырубят лесов и не осушат болот, заражающих воздух вредными испарениями.

От Нижнего до Верхнего Лумпокольска считается около 70 верст. Мы плыли их с липком день и на этом протяжении встретили несколько летних юрт, а именно: Панковские, Тобалкинские, Васпугольские, Нахрадинские и Магионские, зимних — же ни одной. Зимняя юрта — оседлое жилище, настоящая родина остяка, и как ни бедна и ни плоха она, ему не хочется подвергать ее ярости весенних разливов, и потому он ставит ее на возвышенных, не заливаемых местах, в большем или меньшем отдалении от главной реки. Но так как рыбная ловля и в зимнее время года составляет важный источник пропитания, то он избирает эти места большей частью все-таки при небольших притоках или рукавах Оби, нередко в глухом, живописном лесу. Весьма основательная боязнь наводнений во многих местах отдалила от Оби даже и русских. Так, Обдорск находится на реке Полуе, Березов — на Сосве, Сургут — на ручье Вардабовке[54] и т.д. Нижний Лумпокольск расположен на высоком берегу самой Оби, а Верхний — на небольшом рукаве ее; но так как этот рукав осенью пересыхает, то мы и должны были держаться главного течения, а потому в Верхний Лумпокольск и не попали. В нем, сказывали, есть церковь, четыре русские избы, но ни одной юрты; кроме того, устро-

* Весенние разливы затопляют все пастбища, и часто приходится кормить скот прошлогодним сеном до самого июля.

ена недавно, как на Вахе, Югане и во многих других местах, школа для обучения остяцких детей. Кстати расскажу здесь, что со мною случилось по поводу именно этой школы, когда мы пристали к Магионским юртам. Я только что заснул в своей каюте, как вдруг меня разбудили какие-то громкие бессвязные крики. Я тотчас же послал толмача своего узнать, что была за причина такой странной сереналы. Не успел он еще воротиться, как судно наполнилось шумящими остяками, дверь каюты растворилась, и кто-то ломаным русским языком объявил мне, что остяки из ближайших юрт явились на судно с тем, чтобы просить у меня защиты против каких-то притеснений. Затем все они заговорили вдруг, перебивали друг друга, один говорил по-остяцки, другой ломаным русским, но ни один не мог объяснить, в чем было дело. Наконец с помощью толмача я узнал, что остяки пришли ко мне жаловаться на своего священника и духовного пастыря, который всем прихожанам велел отдать ему детей для надлежащего обучения и воспитания, что они никак на это не соглашались и что, несмотря на это, он все-таки взял в школу двух мальчиков из Магионской волости. Я стал было объяснять им, что это делается для их же пользы, но они не хотели слушать, повторяли только, что и отцы их, и они сами верно служили царю, не умея ни читать, ни писать. Предполагая, что, кроме любви к старине, может, есть и другая какая-нибудь более важная причина такого страшного ожесточения добродушных остяков против школ, я поручил моему толмачу расспросить их хорошенько, и вот что узнал я: 1) они боялись, что человек, выучившийся читать и писать, не останется при прежнем диком образе жизни отцов своих, и, следовательно, школа лишит родителей опор их старости; 2) им издавна известно, что остяки, получившие «русское» воспитание, делаются не друзьями, а врагами своих соплеменников и зачастую ведут жизнь распутную. Что это почти так — весьма понятно, но не так-то легко устранимо. Я с своей стороны думаю, что много выиграли бы уже и тем, если б священники и школьные учителя старались внушать ученикам своим уважение к их соплеменникам и не осуждали, не позорили, как это обыкновенно делается, всякую национальную особенность названием «чертовщины» —

припев, который и без них бедные туземцы слишком часто слышат от простого русского народа.

На магионского священника были, впрочем, и другие жалобы. Жаловадись, между прочим, и на то, что он, созвав их косить сено, продержал на строгой диете, выдумавши, будто бы пост, что огорчило остяков почти так же сильно, как и заведение школы. Жалобами и просьбами своими они измучили меня до такой степени, что, не зная, как от них отделаться, я приказал плыть далее, несмотря на темноту и дождливость ночи. Дождь не переставал и весь следующий день. В каюте сделалась течь, подмочившая и платья, и съестные припасы, и все остальные вещи. Как хорошо было бы теперь приютиться где-нибудь, но, как нарочно, на пути нашем попадались только жалкие берестяные юрты. Из них я записал следующие: Оккозенгские, Мугтенские, Ярганские (от ярган — самоед), Вартуйские, Чигаскинские, Калымские и Панимские. Наконец почти через двое суток в остяцкой деревне Пирчиной мы нашли между берестяными юртами такую, в которой можно было кое-как переночевать и поправить произведенные дождем повреждения. На следующий день мы продолжали наше плавание, которое стаисвилось весьма неприятным благодаря продолжавшемуся дождю и наступившему холоду. Было очевидно, что пришло время борьбы лета с зимой. Борьба эта кончается здесь обыкновенно в несколько дней, но зато таких дней нигде в других странах не бывает. Дождь льет беспрестанно, как во времена потопа, ветры Ледовитого моря воют по пустынным степям взапуски с волками, густой туман покрывает все, грязные ручьи шумят везде по размокшей почве. И, не взирая на все это, я должен был выходить на берег, посещать юрты, чтоб не пропустить какого-нибудь весьма возможного различия в языке, нравах или образе жизни остяков. Относительно языка в южной части Сургутской области я действительно заметил небольшое отклонение. Придыхательное *t* (tl) переходит здесь в *j*; так, напр., jabet вместо tabet (tlâbet) — семь, jagem вместо tajem (tlâjem) — топор, *o* часто переходит в *a*, напр., sôram вместо sorom — сухой; мягкие согласные заменяются часто твердыми, напр., attem вместо adem — злой, и т.д. Оказалась небольшая разница и в постройке юрт: четырехуголь-

ная форма начала уступать место круглой, господствующей в Томской губернии и принадлежащей, кажется, по преимуществу самоедскому населению. В нравах же и образе жизни я не заметил ничего особенного, кроме разве того, что с приближением к томской границе вообще народ становился как будто бы образованнее. От Пирчиной до этой границы мы плыли с небольшим день, миновали юрты Панинские, Лимтингские, Рогорские и Мурасские.

Так как в новой губернии, в которую мы теперь вступаем, без сомнения, встретятся и новые языки, и новые народы, то я и полагаю нелишним взглянуть еще раз на остяцкое племя, доселе главным образом занимавшее нас. Сосредоточенное в речной области, образуемой Обью и Иртышом, оно многочисленнейшее из всех тулемцев Тобольской губернии. По официальным отчетам число остяков простирается здесь до 18657 душ мужеска и женска пола; вогулов же только 4325, а самоедов — 3977 душ. Остяки живут большей частью в Березовском округе и в его трех отделах: Обдорском, Кондинском и Сургутском. Все эти остяки принадлежат Оби и распространены по ней от границы Томской губернии на юге до Обской губы на севере. Только одна небольшая ветвь березовских остяков живет в Надыме, вне речной области Оби. Остяки, живущие в речной области Иртыша, все приписаны к Денщиковской части Тобольской губернии, хотя встречаются и вне пределов этой части, а именно: несколько южнее, по реке Алым и при ее устье; здесь они смешаны с татарами и вписаны в народную перепись под названием ясачных. Немного пониже Алыма в Иртыш впадает река Демьянка, начинающаяся в Барабинской степи, невдалеке от истоков Васьюгана, притока Верхней Оби. Реки Демьянку и Васьюган можно принять за южную границу всего остяцкого племени. К северу от этой границы даже и Барабинская степь населена почти одними остяками, на юге же от нее живут татары и самоеды. На западной стороне этой степи иртышские остяки перемежаются только кое-где русскими поселенцами, а на восточной, или обской, самоеды занимают по Тыму, Лямину Сору и в деревне Чебаковой такую ничтожную часть этого огромного пространства, что при общем обзоре распространения остяцкого племени о них и упоминать не стоит. По нижне-

му течению Оби остяки владеют почти всеми водами; самоеды же кочуют частью по огромным тундрам между Обью и Тазом, частью, и преимущественно, по берегам Ледовитого моря. Как к нижне-объским, так и к иртышским остякам примыкают на западе вогулы, а также, ляпинские и кочующие по берегам Ледовитого моря самоеды. На юге, как сказано выше, иртышские остяки граничат с татарами; живущие же по Верхней Оби окружены с востока, с севера и с юга самоедами.

В лингвистическом и этнографическом отношениях страну, общие границы которой мы сейчас обозначили, можно разделить на три меньшие области: Иртышскую, Верхне-Объскую, и Нижне-Объскую. К первой принадлежит, как уже замечено выше, Денщиковская часть Тобольской губернии, ко второй — Сургутская часть, а к третьей — части Кондинская и Обдорская. Каждая из этих остяцких областей имеет довольно определенный характер. Мы обозначим его здесь вкратце.

В лингвистическом отношении трем упомянутым областям соответствуют три главных наречия: иртышское, сургутское и обдорское. Первое наречие господствует по всей речной области Иртыша и простирается еще вверх по Оби до реки Салыма в сургутской части. На Салыме существует особый оттенок его, составляющий переход от главного иртышского наречия к сургутскому. Сие последнее начинается собственно на реке Пым и отсюда распространяется по Оби и ее притокам до томской границы, встречается еще и далее, в Тогурском округе Томской губернии, по реке Васьюгану. На этом огромном пространстве есть еще сверх того и несколько оттенков, или мелких наречий, а именно: 1) нижнее, или так называемое юганское, 2) среднее, или вахское, 3) верхнее и 4) васьюганское. По Нижней Оби обыкновенно предполагают два наречия: кондинское и обдорское*, но первое, кажется, не имеет резко-особного характера и составляет только одно из срединных звеньев между тремя главными наречиями. В отношении особенности характера их мы должны напомнить, что разности между разными наречиями одного и того же языка порождаются по

* Впрочем, по рекам Лямину и Сосве есть здесь и оттенки вогульского наречия.

преимуществу влиянием на него других, чуждых языков. Этим отнюдь мы не отрицаем возможности и самостоятельного развития наречий вследствие успехов цивилизации народа; но что же цивилизует отдельные племена одного и того же народа более, чем другие родственные им, как не соприкосновение с другими образованными народами? Несмотря на это, влияние, которому подвергались финские языки в России, мало способствовало к развитию и усовершенствованию их. Так как русское образование для говорящих ими народов никогда не шло далее заученного наизусть урока, то и сами языки не только что нисколько не развились от русского влияния, но даже и заимствованного не усвоили себе как следует. В отношении остяцкого языка это замечание относится по преимуществу к иртышскому наречию. В нем множество слов и выражений не только ненужных для языка, но и совершенно не соединимых ни с духом, ни с сущностью его. Многие звуки, окончания, слова и формы слов частью исчезли, частью уступили место другим, заимствованным из русского языка. Кажется, что даже и синтаксическое построение во многом видоизменяется русским. Точно так же и татарский язык сильно влиял на это наречие, но татарское влияние не так инородно, потому что остяцкий и татарский языки, в сущности, проникнуты одним и тем же духом. Это двойное влияние обнаруживается и в двух остальных главных остяцких наречиях, но в далеко меньшей степени, по крайней мере относительно русского. Обдорское наречие заимствовало сверх того много и из языков самоедского и зырянского, чем в особенности отличается от сургутского, которое, без сомнения, всех чище, хотя, может быть, и грубее, и в грамматическом отношении не имеет такой определенности, как иртышское.

Скажем теперь несколько слов о степени образованности остяков в упомянутых трех областях. Так как русское господство утвердилось прежде всего на Иртыше и отсюда уже мало-помалу распространялось на север и на восток, то, естественно, иртышские остяки усвоили себе плоды русской цивилизации далеко лучше остальных соплеменников своих. Они давно уже крещены и строго соблюдают все предписания греческой церкви. Христианского учения они, разумеется, почти совсем не понимают, но верят безусловно в

истину его и большей частью совсем уже забыли свою прежнюю языческую религию. И сургутские остяки носят крест на шее, вешают образ[35] на стену, но, кроме этого, вы уже не откроете в них ничего христианского. Остяки, живущие по Пыму, Югану, Три-Югану и другим притокам Оби, сильно придерживаются язычества. По Нижней Оби кондинские остяки находятся на одной степени образованности с сургутскими, из принадлежащих же к Обдорской волости все живущие ниже Обдорска до сих пор даже и не крещены еще.

В нравственном отношении все остяцкое племя славится строгой честностью, необыкновенной услужливостью, добродушием и человеколюбием. Но иртышские остяки по мере успехов своих в образованности начали утрачивать эти прекрасные свойства, да и в других местах, около городов и в больших деревнях, встречаешь между ними и ложь, и обман даже чаще, чем между поселенцами. Пьянство — общий остяцкий порок и вместе с ленью главное препятствие благосостоянию их. Супружеские связи вообще соблюдаются строго, хотя браки и решаются волей родителей и невеста покупается. Детей вскармливают с любовью и заботливостью, но с пасынками и падчерицами обращаются иногда с необыкновенной жестокостью*. И в этом, как и во всем остальном, обнаруживается, что нравственные поступки остяка определяются более инстинктом, чем сознанием права. По счастью, этот инстинкт тем вернее, чем менее человек образован. Сравним перечни преступлений в трех остяцких областях — увидим, без сомнения, что обдорские остяки наиболее дикие, наиболее и нравственные, что за ними в этом отношении следуют сургутские, что самая большая часть преступлений между иртышскими, которые, несомненно, образованнее всех. При этом должно, однако ж, взять в расчет и то, что где образованность мала, где мало потребностей, не так-то легко удовлетворяемых,

* В Сургуте живет и теперь молодой остяк, которого вотчим его несколько лет тому назад хотел убить, но, склонившись на мольбы матери, отвел на пустой берег Югана. Три дня бедный голодный мальчик сидел на берегу, не зная, что ему делать. На четвертый день он заметил дерево, плывшее по реке возле самого берега. Он сел на него, поплыл вниз по реке и благополучно пристал к одной рыбачьей хижине, где его радушно приняли.

там спят и страсти, а потому самому мало и поводов к преступлениям.

Что касается до внешней образованности, то иртышские остяки, как мы уже сказали, далеко выше всех остальных. У них порядочные, на русский лад устроенные *жилища; они занимаются скотоводством, а в некоторых* местах и земледелием, торговлей и другими промыслами цивилизованной жизни. Звероловство и рыболовство для них только вспомогательные промыслы. Сургутские остяки занимаются, напротив, почти исключительно только этими двумя промыслами, ведут доселе полукочующий образ жизни, переменяют жилища каждую осень и весну, а зимой отправляются далеко в леса охотиться. Они живут в жалких юртах из бревен, торфа и древесной коры*[56]. Почти таков же образ жизни, таковы же жилища и кондинских остяков. Между обдорскими же много еще настоящих кочевников, живущих в чумах и бродящих по огромным пространствам со своими многочисленными стадами оленей.

Наконец относительно общественного устройства остяков замечу здесь только, что они разделяются на множество небольших волостей, или участков (по-остяцки пiг, пог), имеют своих собственных начальников, свой суд в незначительных тяжбах, свои от отцов унаследованные законы и уставы, а равно и некоторые дарованные им правительством льготы, как, например, меньшая подать, освобождение от рекрутской повинности, и т.п. Обдорские остяки придерживаются еще своего первоначального, патриархального устройства, основывающегося на разделении на роды, или колена. Остяки, живущие по Иртышу, с уничтожением разделения на роды забыли свои древние постановления и в настоящее время почти во всем следуют русскому судебному порядку, сохраняя, впрочем, свои общие льготы. Остяки сургутские, как в этом, так и во многих других

* Во всех этих юртах нет ни полов, ни окон. Первые заменяются сеном, рогожами, оленьими шкурами и т.п.; вторые — ставерстием в стене, закрываемом льдом, пузырем, налимовою шкурою, иногда это отверстие делается и в крыше. В бревенчатых юртах бывает или очаг в углу, или место для огня посередине. Первый преимущественно употребляется зимою, второе летом. В торфяных юртах или землянках живут только зимою, и потому они всегда с очагом. Юрты из бересты — летние жилища остяков, и потому в них посредине место для огня.

отношениях, занимают середину между иртышскими и обдорскими. Так как мне придется еще говорить об этом предмете, то я и ограничусь здесь только перечнем всех остяцких участков, находящихся в четырех отделах Тобольской губернии, с точным показанием числа жителей мужеска и женска пола.

I. Денщиковский отдел

1. *Туртасская волость*, остяц. Turtas-mir (на реках Туртасе и Иртыше) — 117;

2. *Назымская*, по-остяц. Nasym-mir (на реках Назыме и Иртыше) — 302;

3. *Верхнедемьянская*, по-остяц. Num-mir (на Демьянке и Иртыше) — 286;

4. *Нарымская*, по-остяц. Tjapar-mir (на Иртыше) — 443;

5. *Тарханская*, по-остя. Wodsch-itpa-mir (На Иртыше) — 701;

6. *Малая Кондинская*, по-остяц. Chunda-mir (на устье Конды и вверх по этой реке до Няхрачинской волости, где начинаются вогулы) — 828;

7. *Темлящевская*[57], по-остяц. Térek-mir, или Utchar-mir (при слиянии Оби и Иртыша) — 305.

Итого: 2982.

II. Сургутский отдел.

1. *Зеляровская в.*, остяц. As-mir (на Оби, близ русской деревни Зеляровой) — 134;

2. *Салымская в.*, остяц. Sódom-mir (на реке Салым и на Салымском рукаве Оби) — 326;

3. *Пымская в.*, остяц. Pyng-mir (на реке Пыме) — 166;

4. *Подгородная в.*, остяц. As-Torm-jogan-mir (на Оби, недалеко от Сургута) — 362;

5. *Больше-Юганская в.*, остяц. Entl-jogan-mir (на Большом Югане и на Юганском рукаве Оби) — 592;

6. *Мало-Юганская в.*, остяц. Ai-jogan-mir (на Малом Югане) — 286;

7. *Три-Юганская в.*, остяц. Torm-jogan-mir (на Три-Югане[58]) — 297;

8. *Аганская в.*, остяц. Agan-mir (на Агане) — 96;

9. *Вахская в.*, остяц. Wach-mir (на Вахе и Оби) — 706;

10. *Лумпокольская в.*, остяц. Lung-pugotl-mir (на Оби, близ Лумпокольских деревень) — 808;

11. *Салтыковская в.*, остяц. Saltik-mir (на Оби, выше Верхнего Лумпокольска) — 359;

12. *Пирчинская в.*, остяц. Pirtji-mir (на Оби, близ томской границы) — 360.

Итого: 4492.

III. Кондинский отдел.

1. *Кодские городки* (на Нижней Оби, выше города Березова) — 2628;

2. *Подгородная* (при Березове) — 328;

3. *Сосвинская в.* (на реке Сосве) — 968;

4. *Ляпинская в.* (на реке Ляпине) — 1585;

5. *Казымская* (на реке Казым) — 1274.

Итого: 6853.

IV. Обдорский отдел.

1. *Куноватская в.* (между Обдорском и Березовым, близ деревни Куноват) — 1630;

2. *Обдорская в.* (близ Обдорска) — 2700.

Итого: 4330.

Примеч. Этот перечень составлен по официальному разделению Остяцкого округа. По собственному же их разделению число участков гораздо больше, особенно в Кондинском и Обдорском отделах.

* * *

За сим мы оставим Тобольскую губернию и будем продолжать наше путешествие в Томской. Первые встретившиеся нам здесь юрты были Каглеакские, верстах в 20 от сургутской границы. В них мы не заметили почти ничего такого, чего бы не видели уже у остяков Тобольской губернии. Юрты, за исключением круглой формы, во всем прочем совершенно одинаковы с сургутскими. Точно так же нет никакой разницы ни в одежде, ни во внешних обычаях, ни в нравах. Физиолог, может быть, и открыл бы некоторые специфические оттенки, но для обыкновенного наблюдателя они незаметны. Справимся с учеными — Клапрот скажет нам, что жители берегов Чулыма, Нарыма, Верхне-

го Тыма и Кети — самоеды, но при устье Тыма, где мы теперь находимся, они решительно слывут остяками. Остяками называют их и русские, и они не отказываются от этого названия, хотя на своем языке и называют себя: ниже Нарыма — Tschûmel-gop, выше Нарыма — Schosch-kom, по Кети — Sysse-gom, по Чулыму — Tjûje-gom, то есть *человек страны* (от tschu, tju, sye — глина, земля, страна)[59]. Но, несмотря на все это, филолог отнюдь не задумается причислить их к самоедам. Хотя язык их и имеет много особного, уклоняющегося от северного наречия, но законы его и масса слов не оставляют никакого сомнения в его сродстве с самоедским. К самоедскому племени принадлежит в Томской губернии, за исключением обитателей берегов Васьюгана (большей частью остяков), все туземное народонаселение страны от сургутской границы на севере до реки Чулыма — на юге. Но не будем забегать вперед и продолжим рассказ о нашем путешествии. Проплыв несколько верст от Каглеакских юрт, мы прибыли к устью Тыма, называемого туземцами Kaselky, т.е. Река-окунь (от kaha, kasa, kassa — окунь и ky — река). Река эта вытекает из енисейских болот, невдалеке от истоков Сыма*, текущего в противоположном Тыму направлении. Тым — река довольно значительная и, как говорят, в низовьях имеет до 50 сажен ширины. Берега его низки, а прилегающая к нему страна полна болот. По всему его течению живут самоеды в обыкновенных юртах и промышляют звероловством и рыбной ловлей. Они все крещены и имеют свою церковь на Оби, в двадцати верстах выше устья Тыма, в маленькой деревушке, называющейся по церкви Тымской. От самого Лумпокольска эта деревенька — первое русское поселение, встреченное нами на пути.

Переночевав здесь, мы безостановочно продолжали наше путешествие и вскоре прибыли к русской рыболовне, состоявшей по крайней мере из двадцати юрт, в беспорядке разбросанных по широкому песчаному берегу. Между ними не было и двух сходных: одни круглые, другие четырехугольные, третьи пирамидальные, четвертые конусообразные, большая же часть неправильной формы.

* В древние времена реки Тым и Сым, как известно, служили путем сообщения между Обью и Енисеем.

Почти все они берестяные, но устроены так дурно, что осенние бури не только погнули их, но и вырвали порядочные части стен. Кроме того, они так малы и низки, что в дверь надо вползать на четвереньках, а внутри можно только сидеть либо лежать. Все они принадлежали частью самоедам, частью васьюганским остякам, загнанным крайней нуждой в батраки к съемщику этой рыбной ловли, кажется, купцу Нарымскому. За этими юртами поднималось далеко превышавшее их огромное пирамидальное жилище, устроенное из сена, ракитника и земли. Оно принадлежало надсмотрщику, который в это самое время тихо шел по полю с большой палкой в руке. Окладистая борода и синий кафтан показывают, что он русский. От его жилища тянулся длинный ряд амбаров, устроенных из того же материала. Неподалеку от них находилось еще жилье, которого только крыша виднелась над землею. Мы спустились по лестнице в это подземелье. «Милости, милости просим!» — крикнуло нам в один голос многочисленное веселое общество с пестрыми рукавами, вероятно, купеческих прикащиков, сидевшее вокруг кипящего самовара. Хозяин встретил нас низким поклоном, посадил на почетное место и подбавил дров в огонь не тепла ради, а ради освещения. Свет от огня дал нам возможность заметить, что это подземелье имеет почти все принадлежности порядочного человеческого жилища: четыре стены, впрочем, земляные и покрытые толстым слоем плесени; крышу, снаружи обложенную торфом; очаг, сложенный из глины с сеном; скамью, дверь, несколько образов и т.д. Хозяин, несмотря на то что он русский и горожанин, уверяет, что лучше этого жилища и желать не для чего, что гораздо лучше спать с сытым желудком здесь, чем с тощим в любом городском доме. Оно, может быть, и так, но у кого, кроме требований желудка, есть еще потребность дышать свежим воздухом, видеть свет Божий, тот поспешит вместе со мною покинуть и эту блаженную юрту.

Но прежде чем оставим рыболовню, бросим на нее еще один беглый взгляд. Тут мы видим сбор людей, принадлежащих к трем разным нациям. Посмотрите на русского, как он разыгрывает господина, бодро и смело похаживая в своем теплом овчинном тулупе, тогда как ос-

тяк и самоед, как угнетенный раб, бродит с согнутой выей, с подгибающимися коленами. Конечно, и между русскими видим мы и господ, и рабов, но русский и под гнетом рабства не утрачивает своей веселости и бодрости. С юношеской отвагой бежит он по полю, поет, прыгает и затрагивает все, что ни попадется на пути. Для встречного товарища у него готова шуточка, к угрюмому туземцу он пристает, как овод к лошади, дает ему толчки и пинки, срывает с него шапку и заставляет бегать за собой из стороны в сторону до конца поля. Но вот внимание наше обращает на себя группа дряхлых женщин, оборванных ребятишек и косматых собак, виднеющаяся в отдалении. Удалившись сюда с «крупицами со стола богатого», состоящими в мелкой рыбе всякого рода, женщины эти заняты чисткой и развешиванием ее для сушки. Ребятишки кричат, как голодное воронье вокруг добычи, и собаки во все горло вторят этому дисгармоническому концерту. Несколько поодаль от этого места они бегают вокруг мальчишек, которые вцепились друг другу в волосы. Мальчишки шалят, но собаки, кажется, не понимают этого. Более взрослые заняты: одни — борьбой и другими телесными упражнениями, другие — игрой в дураки и в три листика. Кругом раздаются песни и звуки гармоники, которая и здесь в такой же моде, как и на улицах Москвы, Петербурга и Казани.

Темнело уже, когда мы оставили рыболовню. Вместе с темнотой возрастала и непогода, преобразовавшаяся ночью в страшную бурю с ливнем. Лежа в своей темной каюте, я вскоре стал замечать, что судно наше то и дело касается дна. Несмотря на многократные приказания кормчего, чтобы держали подальше от берега, толчки продолжались. В подобных случаях прибегают к более строгим мерам, и благодаря им судно поплыло наконец свободнее. Но плыло ли оно вверх по реке или вниз, этого никто не мог решить; и сам кормчий на вопрос об этом отвечал, что он может, конечно, отвести судно подальше от берега, но бессилен против ветра и волн на разъяренной реке. Посоветовавшись, мы решили причалить к берегу и переждать непогоду, тем более что один из гребцов была женщина с грудным ребенком, требовавшим в такую ночь попечений матери.

На следующий день, по миновании бури, мы проехали при холодной и туманной погоде мимо юрт Аскинских, Канаскинских, Искинских и Кашкинских и к вечеру добрались до устья Васьюгана*, по-остяцки Ellc-jôgan — большая река, или Wati-iogan — узкая река, по-самоедски Warky (от warg — большой и ky — река). Он берет свое начало в больших Барабинских болотах, неподалеку от истоков Туи и Демьянки, впадающих в Иртыш, и Югана, впадающего в Юганский рукав Оби. Васьюган, как говорят, протекает более 600 верст, весьма извилист, тих и везде судоходен. Важнейшие из его притоков; Квенелька, Пурелька, Нюрелька (ост. Jargan-jôgan, т.е. река самоедов, Халат или Салат, Чежабка (сам. Tschadschap-ky, ост. Wai-jôgan — река лосей) и др. Как мы упомянули уже, эта речная область населена остяками, за исключением Чежабки, по нижнему течению которой живут кое-где самоеды; верховья же совершенно безлюдны. Здешние остяки и самоеды стоят почти на той же степени образованности, как и обские. Они живут в юртах с местом для огня посередине, не держат ни лошадей, ни коров и кормятся преимущественно звероловством и рыбной ловлей. Около 200 верст выше впадения Васьюгана есть давно уже выстроенная церковь, но без священника.

От впадения Васьюгана до Нарыма считается около 60 верст. Эта часть довольно густо заселена русскими и остяками, но селения их расположены не по самой Оби, а, как обыкновенно, по небольшим рукавам и протокам ее. При самой Оби на этом протяжении одна только русская деревня — Ильина да несколько юрт, в которых во время лова живут одни рыбаки без семейств. Окрестности постоянно дики и пустынны. Ничто не давало знать о близости старого города, и, как будто нарочно, сама Нарымская пристань называется Камчатскою. Мы приплыли в нее 25 сентября (7 октября) — в самую пору, потому что чрез несколько дней она покрылась уже льдом.

* Штукенберг ошибается, говоря, что Was значит большой, а Torm — малый. Слово Torm по-остяцки значит Бог, а Васьюган, по всей вероятности, русское искажение названия Wati-jôgan.

Письма

I

Доктору Лёнроту в Каяне.
Нарым. 1 (13) ноября 1845 г.

Дружеское письмо твое от 4 сентября я получил уже более месяца тому назад, но по причине постоянно дурного зимнего пути, прервавшего всякое сообщение в здешней пустыне, принужден был оставить его до сих пор без ответа. Теперь, наконец, я имею возможность благодарить тебя за все беспокойства, которым подвергла тебя моя черемисская грамматика, и тем более что работа моя, по всей вероятности, вовсе не стоила их. Мне даже сдается, что эта грамматика была единственной причиной поездки твоей в Куопио. Хорошо еще, что Коллан взял на себя корректуру и что ты мог покойно возвратиться в Каяну.

Следующим моим произведением будет остяцкая грамматика, составленная почти по такому же плану, как и зырянская. По-шведски она уже написана, и теперь остается только Бергстади перевести ее на латинский язык. Я хочу приложить к ней, по возможности, полный список слов, потому что остяцкий язык в лексикальном отношении представляет замечательное сходство с финским. В грамматическом же отношении сходство между этими языками не так велико, и это вследствие сильного на остяков влияния русских, татар и самоедов. Остяцкий язык чрезвычайно звучен. К отличительным его звукам принадлежат придыхаемые *d* и *t*, которые произносят почти как *dl* и *tl* и иногда переходят в чистое *l*. Это, кажется, также весьма интересный факт и в отношении к финскому.

Что на Верхней Оби я наткнулся на несколько самоедских племен, доселе неизвестных и говорящих наречием, которое очевиднейшим образом доказывает сродство между финским и самоедским языками, — это новость, к которой, конечно, и ты не останешься равнодушным. В настоящую минуту я занимаюсь другим, весьма замечательным самоедским наречием, которое без всякого основания почитали остяцким; оно начинается у тобольской границы на севере

и распространено вверх по Оби и ее притокам во всем Нарымском уезде до Томска. Но здесь, на Нарыме, я поневоле должен прекратить мои о нем исследования и продолжать безостановочно путешествие к Енисею, составляющему настоящее поприще моей дальнейшей деятельности. Сколько я могу теперь предвидеть, мне придется провести весь будущий год на нижней части этой реки между городами Енисейском и Туруханском. В продолжение этого времени все письма ко мне можно адресовать в Енисейск. Русское имя, которым окрестила меня академия, — Александр Християнович, и прошу никак не забывать этого, потому что в Сибири всякая безделица принимается за важное.

Здоровье мое, которым я не мог похвалиться летом, значительно поправилось с тех пор, как я перестал вдыхать в себя влажные туманы Барабинской степи. Посмотрим, что-то скажет зима. Я с своей стороны уже несколько попривык как к тому, так и к другому, но Бергстади все еще не может акклиматизироваться здесь, и его все тянет в Финляндию.

II

К лектору Коллану в Куопио.
Нарым, 4 (16) ноября 1845 г.

Недавно я получил от друга Ленрота письмо, в котором он извещает меня, что ты был так добр и принял на себя корректуру моей черемисской грамматики. Вместе с тем он упоминает, что типографщик обещал высылать ко мне по мере того, как она будет выходить из печати, листа по два с каждой почтой.

Начиная с лета, я изучал не менее пяти различных наречий самоедского и остяцкого языков и для последнего составил уже небольшую грамматику. В настоящее время я занимаюсь далеко распространенным и весьма оригинальным наречием самоедского языка, которое до сих пор смешивали с остяцким. Это наречие распространено с различными видоизменениями от тобольской границы на севере, вдоль по Верхней Оби и по ее притокам до окрестностей Томска на юге. Может быть, я еще встречу это самое наре-

чие где-нибудь и в Енисейской губернии, на это предположение меня наводят таблицы Клапрота. Строгая последовательность должна бы, конечно, заставить меня продолжать исследования об этом наречии по однажды принятому направлению до Томска, но так как мне еще придется возвратиться в эти края, а между тем зимнее время может быть употреблено с гораздо большей пользой на Енисее, то я и располагаю при первом удобном случае отправиться в Енисейскую, или Красноярскую губернию. В этой губернии, как тебе известно, господствует необыкновенное смешение племен и языков, филологу хватило бы здесь работы на целую жизнь, но, чтобы кончить возложенную на меня задачу в назначенный срок, я должен до истечения будущего года обследовать по крайней мере всю северную часть этой губернии, или страну по обеим сторонам Енисея между Ледовитым морем на севере и городом Енисейском на юге. После этого я думаю отправиться в окрестности Красноярска, Иркутска и Томска для изучения карагасского, койбальского* и других остатков самоедских наречий в Южной Сибири. Здесь я приду в соприкосновение с монголами и тюрками, или татарами, которые особенно интересны, потому что мне страшно хочется доказать сходство между их языком и финским, а равно и самоедским. А что это сродство действительно существует, в этом не может быть никакого сомнения, но, чтобы доказать его вполне удовлетворительно, разумеется, нужны труд и время. Весьма вероятно, что моей жизни и не хватит на окончание этого дела; как бы то ни было, чтобы не растеряться и не сбиться в той путанице, мне необходима определенная цель. Чем выше цель ставит себе человек, тем ревностнее старается он достигнуть ее и тем больше может он сделать. Нисколько не полагаясь чересчур на свои силы, я бодро работаю все-таки для своей цели, ибо уверен, что это дело должно иметь успех. К вечному позору нашему, немцы не замедлят обработать семью наших языков, и тем же самым сравнительным способом, которым обработали свою собственную или индогерманскую. С радостью и удивлением прочел я, что Габеленц обещает уже сравнительную грамматику финских и

* Из последующих отчетов видно, что эти языки не имеют ничего общего с самоедским.

татарских языков. В России также сильно интересуются этим делом, и во Франции Луи Луциан Бонапарт хлопочет о том же. Только в Финляндии смотрят на это как-то недоверчиво, таков уж, впрочем, наш обычай. Этим я отнюдь не хочу сказать, чтоб моей собственной особе не оказывали так называемой справедливости. Напротив, мне оказывают ее гораздо более, чем я заслужил или когда-нибудь заслужу, но на само-то дело смотрят слишком холодно и равнодушно, что доказывается уже и тем, что я до сих пор не могу добыть постоянного сотрудника. Бергстади, конечно, нельзя упрекнуть в равнодушии, но он страдает тоской по родине и замышляет возвратиться будущей весной или летом если не в Финляндию, так по крайней мере в Казань, где в кругу финских друзей и знакомых надеется доконать год скорее, чем в пустынях Сибири. Посмотрим, кого-то в таком случае назначат на его место! В другой раз — более.

III

К статскому советнику Шётрану.
Нарым, 1 (13) декабря 1845 г.

Медленная и от дурных дорог прекратившаяся почта доселе лишала меня удовольствия писать к вам. Теперь, кроме письма, посылаю тетрадь сухих дорожных заметок. В них все, касающееся финнов и сродства их с самоедами и другими народами, можно и выбросить, если Академия найдет это излишним. Собственно эта часть предназначалась мною для финской публики, которая и не предчувствует этого; мне хотелось возбудить ее внимание, потому что, по моему мнению, для обработки этого сибирского поля мои соотечественники способнее всех. К краткому же в конце описанию рек дала повод инструкция г. Кеппена, и я полагаю, что оно не только нелишне, но даже и полезно, потому более, что Штукенберг не говорит ничего или говорит очень мало об этих реках, между тем как в этнографическом отношении они гораздо важнее самой Оби. Впрочем, на пути от Самаровой до Сургута я не встретил ничего замечательного, переезд от Сургута до Нарыма дал несравненно более материалов, но я не успел еще привести их в порядок и

изложить как следует... Наперед расскажу вам о самом путешествии.

До Сургута я не уклонялся от плана, начертанного мною в Тобольске. Для приобретения необходимых сведений в остяцком языке большая часть лета была проведена мною в окрестностях Самаровой, по рекам Оби и Иртышу. На Верхней Оби я нашел нескольких так называемых казымских, или кондинских, самоедов и познакомился, насколько нужно, с их наречием, которое представляет некоторые уклонения от обдорского. Таким образом, мне уже незачем было в другой раз ездить в Березов и отыскивать казымских самоедов в Юильском городке, куда они, говорят, приходят к Рождеству для платежа подати. Поэтому я продолжал путешествие по принятому однажды направлению вверх по Оби и в начале августа прибыл в небольшой, ныне упраздненный город Сургут. В его околотке я нашел одно или даже два новых остяцких наречия, на которые не мог не обратить внимания, ибо они во многих отношениях были богаче и чище иртышского, и я употребил остальную часть лета на изучение их. Долее заниматься остяцким языком я не позволил себе, потому что язык этот в данной мне вами инструкции занимает весьма второстепенное место. Но так как у меня все-таки набралось много заметок, то, чтобы не запутаться в них впоследствии, я еще в Сургуте решил привести их в порядок. Из них мало-помалу образуется теперь остяцкая этимология, которую со временем буду иметь честь представить в Академию наук*.

Не помню, говорил ли я в предшествовавших письмах, что прежде я рассчитывал остаться в Сургуте до зимы, потому что предполагал уже и в окрестностях его найти самоедов и тут же приступить к серьезному изучению языка их. Предположение это не оправдалось, и я поспешил отъездом отсюда, чтобы добраться до них прежде, чем станут реки, и посвятить время продолжительной распутицы настоящему предмету моих исследований. И прежде, и после мне говорили, что из Сургута можно проехать к самоедам двумя дорогами: одной — вверх по рекам Ваху и Куль-Йогану к Корелке, Тазу и Туруханску, другой — верхним течением

* Она и вышла в 1849 г. под заглавием Versuch einer Ostjakischen Sprachlehre ebst Kurzem Wörterverzeichniss.

Оби к Нарыму. Исправник уверял меня честью, что не преградит мне ни той, ни другой дороги, но, по единогласному мнению жителей, дорога к Тазу была уже преграждена. Во всяком случае было ясно, что летним путем я не проеду дальше Ларьятского на Вахе, где пришлось бы прожить целую осень без всякого дела или ограничиться одним остяцким языком. Кроме того, если б какие-нибудь неблагоприятные обстоятельства принудили меня повернуть отсюда назад, я потерял бы без всякой пользы почти треть года. Все это заставило меня предпочесть далеко вернее ведущую к моей цели дорогу вверх по Оби. В половине сентября оставил я Сургут и в конце того же месяца приплыл в Нарым.

Таким образом, я, конечно, уклонился от первого моего плана, но это оказалось весьма полезным, потому что не только привело меня к самоедам, но и кажется необходимым шагом для дальнейших исследований. Самоедское население Томской губернии гораздо многочисленнее и гораздо важнее во всех отношениях, чем можно было предполагать по прежним о нем сведениям. Оно начинается тотчас от сургутской границы на севере и отсюда распространяется к югу по Верхней Оби и ее притокам Тыму, Кети, Парабели, Чулыму до Томска. Русские называют самоедов Томской губернии остяками, тогда как остяков здесь нет, за исключением небольшой ветви, живущей только по Васьюгану и примыкающей по языку к соседним остякам Сургутского округа. В речной области Васьюгана встречаются, впрочем, и самоеды, и именно по Чежабке (по-остяцки Waijogan). Что касается до томского самоедского наречия, оно значительно отличается от обдорского, но, как обыкновенно, больше массой слов, чем самим грамматическим построением. Некоторые из свойственных ему слов — совершенно неизвестного для меня происхождения, другие же заимствованы частью из татарского и остяцкого языков. Приведенный остяцкими словами в заблуждение, Клапрот причислил большую часть коренных жителей Томской губернии к остякам и разделил их язык на два наречия — васьюганское и нарымское. Где господствует нарымское наречие мнимых остяков, Клапрот не определяет, но так как для самоедов он отвел окрестности Нарыма и верхнее течение рек Кети и Тыма, то и можно было предполагать, что осталь-

ные части Нарымского округа заселены так называемыми нарымскими остяками. Можете представить мое удивление, когда, проехав большую часть этих стран, я не встретил ни одного остяка, когда в каждой юрте находил только самоедов. Но еще более изумило меня то, что многие остяцкие слова, приведенные Клапротом под рубрикой «Близ Нарыма», например, названия чисел, вовсе не существуют в нарымском наречии. Из этого явствует, как мало можно полагаться на приводимые Клапротом списки слов. Вместе с тем я еще более убедился, что крюк, который я сделал, поехав в Нарым, — самая прямая дорога к моей цели. Я слышал от многих и в разных местах, что самоеды Тыма, Куль-Йогана и Таза находятся в сношениях друг с другом и говорят почти одним и тем же языком. По-моему, нет ничего естественнее этого, да и по Клапротовым таблицам наречие томских самоедов ближе к наречию тазовских, нежели к наречию туруханских. Если это все так, то мои здешние занятия самоедским будут полезным приготовлением для будущих исследований по Тазу и Куль-Йогану, где без такового приготовления лингвистические разыскания были бы почти невозможны, потому что тамошние жители не знают по-русски, не имеют даже порядочных жилищ. Впрочем, и в случае, если мое предположение о ближайшей связи между томским и тазовским наречиями не оправдается, я много выиграю уже и тем, что расширившееся знакомство с самоедским языком, которое я приобрел и приобретаю настоящей поездкой, значительно облегчит изучение как тазовского, так и всякого другого наречия.

Что касается до дальнейших моих поездок, я был весьма обрадован тем, что последние предписания Академии, точно так же как и ваши, в главном совершенно согласуются с моими собственными желаниями и намерениями. Вы, может быть, припомните, что прежде я располагал пробраться в Енисейск прямо через Кеть, но давно уже должен был отказаться от этого, потому что пространство по Кети почти непроездно; сотни верст без всяких дорог, юрты — на далеком одна от другой расстоянии и лошади чрезвычайно редки. Почти на этом же пути к Енисейску, в небольшой деревне Максимкин яр выстроены для удовлетворения духовным и материальным потребностям самоедов церковь и не-

сколько казенных магазинов. До этой деревни, хоть и не без трудностей, но все-таки можно добраться, да вот беда — нарымские ямщики не берут меньше 500 рублей. Поэтому даже из экономического расчета будет благоразумнее выбрать более длинную дорогу на Томск и Красноярск. На этом пути я покончу, согласно вашему предписанию, и с видоизменениями, вероятно, весьма значительными, наречий, встречающихся по Оби, Кети и Чулыму. Прежде, чтоб добраться поскорее до Туруханска, я было думал отложить разыскания в Чулымской области до возвратного пути, и это потому, что опасался, что Академия и вы будете недовольны моим долгим пребыванием в Томской губернии. В инструкции мне предписано вращаться преимущественно в северных частях Сибири, и мысль, что в течение целого года я еще не успел добраться до настоящего поприща моей деятельности, естественно, не могла не тревожить меня. Мне и теперь как-то совестно, что, задержанный остяцким языком, я во весь первый год справлюсь, может быть, только с томским наречием самоедского языка, т.е. едва ли и шестой частью моей филологической задачи. И то, что, несмотря на это, и вы, и Академия наук дозволяете мне, приняв в расчет мое расстроенное здоровье, остаться до весны в окрестностях Томска и Красноярска, я принимаю как милость, за которую не знаю, как и благодарить. Но мое здоровье, порядком пострадавшее в последнее лето от ядовитых испарений Барабинской степи, поправилось, благодаря теплой и приятной осени, настолько, что было бы с моей стороны недобросовестно воспользоваться этой милостью, и потому я намерен, как только кончу изучение томского наречия, пробраться далее, по крайней мере до Енисейска.

Теперь позвольте мне присоединить одно замечание. В «Академических Известиях» (Bulletin de la Classe historico-philologique. Tome II. P. 379) высказано вами предположение, что под самоедскими племенами я, вероятно, разумел отдельные семейства. Под словом *племя* (Stamm)[60] я понимаю соединение нескольких родственных семейств, имеющих одного общего главу и некоторые издавна ведущиеся обычаи. Это название мне кажется весьма соответственным, выражая не только родство семейств, но и соединение их в одну корпорацию, как видно из слов: «Stammfürst,

Stammhaupt, Stammverfassung». Но если угодно, можно заменить его словом *род* (Geschlecht), хотя последнее не обозначает соединения семейств в корпорацию. Вероятно, вас привело тут в некоторое сомнение то, что число племен в Кондинской области в отношении к незначительному пространству, ими занимаемому, слишком уж велико. В самом деле самоедские племена, за исключением немногих, весьма малочисленны. Так, казымские самоеды, разделяющиеся на восемь племен, не превышают 800 душ. Клапрот говорит, что по обеим сторонам Урала находятся только три рода, а именно: Wanoita, Tysja-Ilogei (читай: Tysi и Lohei, по-русски Тюзи и Логей, составляющие два рода) и Chyrjuri (читай: Harjutsi), между тем в одной Обдорской волости живут 32 рода, или племени. Самое большое из них — племя Harjutsi, разделяющееся на многие ветви и распространенное от реки Кары на западе до Енисея — на востоке. И род Wanoita — также значительное племя, распадающееся, подобно Harjutsi, на многие ветви; все же прочие состоят из немногих семейств...

IV

Асессору Раббе.
Нарым, 1 (13) декабря 1845 г.

«Виноват!» — говорит русский человек, когда сделает ошибку, которой ничем извинить нельзя. Вот и я попал в эту категорию виноватых тем, что, не послушав Академии, просил адресовать письма в Енисейск двумя месяцами ранее, чем следовало. Может быть, однако ж, я еще найду средство задержать их в Томске, куда и прошу впредь писать мне. Но когда живешь в такой пустыне, в которой даже и предчувствием не отгадаешь, что с тобой случится завтра, разумеется, нет никакой возможности определить заранее сроки своих поездок. К счастью, почтовая часть утроена в России так хорошо, что и маленькой записочкой в пять строк можно вытребовать свои письма с одного конца света на другой. Прилагаемая копия с письма моего к Шёгрену объяснит тебе причину, побудившую меня остаться в Томской губернии.

До сих пор все шло еще довольно благополучно, но Енисейская губерния и северная часть ее будет для меня оселком, который — сознаюсь к стыду своему — серьезно страшит меня. Поможет мне Бог возвратиться благополучно и из Туруханска — я навсегда прощусь с севером Сибири, который сделался уже для меня решительно невыносимым. Зато, с другой стороны, как хочется мне побывать в прибайкальских странах и взглянуть на китайские бороды. Вообще я смотрю на китайцев довольно благосклонно, и если б принадлежал к числу сильных мира сего, то составил бы родословную и доказал бы, что финны и китайцы происходят от одного и того же предка. Что касается собственно до меня, то я не придаю особенной важности знатным предкам, расположен даже более к людям, у которых отцы были мельники, каменщики, чулочники и т.д. Оно как-то и меньше риска быть сыном сапожника, а не сенатора: выйдет из тебя что-нибудь — тем больше чести. Бобыль — так можно утешиться и тем, что и отцы наши были бобылями. Таково мое убеждение, и потому бесконечно рад, что с каждым днем нахожу все более сходства между финскими и сибирскими языками.

P.S. Совсем было забыл сказать, что сегодня я отправляюсь из Нарыма в деревню Тогур, за 110 верст отсюда. Шёгрену я посылаю с этой почтой тетрадь путевых заметок до того сухих, что могут занять почетное место в «Suomi».

V

Асессору Раббе.
Тогур, 11 (23) января 1846 г.*

Находясь в русской деревне Тогур, в 110 верстах к югу от Нарыма, в десять дней тому назад вместо подарка на Новый год получил от тебя два пакета с письмами, которые делают тебе честь и дают тебе полное право на мою благодарность. Замечательно, однако ж, что как эти, так и некоторые другие письма нашли меня в этом жалком гнезде, тогда как они были адресованы совсем в другую губернию, по крайней мере за 2000 верст отсюда.

* Из Тогура Кастрен, кроме того, послал еще в письме к Коллану, писанном накануне рождества 1845 года, множество поправок к первым двум напечатанным листам своей черемисской грамматики.

Что касается до моего здоровья, то я страдал здесь ревматической болью в шее, кашлем и другими неважными недугами, которыми, по всей вероятности, обязан стуже и избытку сквозного ветра в моей комнате. Однако ж я терпеливо нес свой крест и утешал себя тем, что работа моя все-таки продвигается с каждым днем вперед. Впрочем, это единственное утешение, на которое здесь можно рассчитывать. Относительно моей работы и зависящих от нее поездок я должен заметить, что в Тогуре я уже все покончил и отправляюсь в Чулымский край, следовательно, прощаюсь на этот раз с Томской губернией. Во всяком случае зимним путем я доберусь не далее Енисейска. Там мне будет вдоволь работы на всю весну, отсюда я отправлюсь затем на лодке вниз по Енисею в Туруханск. В Туруханском крае, по всему видимому, меня ожидают три языка: тунгусский, самоедский и еще один, покуда не имеющий еще названия. Тунгусский язык не входит, впрочем, в область моих исследований, остальные же два необходимо исследовать, насколько это будет возможно, и определить их взаимное отношение. Если эта работа не доконает меня, то я еще не теряю надежды возвратиться из Сибири; умереть же на берегах Байкала было бы слишком уж позорно. Придется еще раз в жизни увидеть великолепную башню Каллиолинны*, будь уверен, что я уже никак не забуду о пирушке, которую жена твоя обещала устроить по случаю моего возвращения.

VI

К статскому советнику Шёгрену.
Томск, 5 (17) марта 1846 г.

Что в продолжение трех месяцев я не сообщал вам никаких сведений о моих дальнейших разъездах между самоедами, произошло от того, что все это время я находился постоянно почти в совершенной разобщенности. Конечно, между Нарымом и Томском попадаются часто проезжие, но в Сибири не так-то легко найти человека, которому можно было бы поручить письмо. Впрочем, и сообщать-то было

* Дача Раббе под Гельзингфорсом.

почти нечего, потому что мои исследования шли себе преспокойно по начертанному вами плану. Теперь, покончив их благополучно в пределах Томской губернии, я постараюсь в скорейшем времени прислать полный отчет о племенах навсегда оставляемого мною края. Здесь же коснусь только важнейшего.

Я уже говорил в последнем письме, что так называемые остяки Томской губернии отнюдь не остяки и не особенное, как полагает Клапрот, племя, происшедшее от смешения остяков с самоедами, а настоящие самоеды[61], распространившиеся от Тыма до Чулыма. Язык их значительно уклоняется, однако ж, от языка северных самоедов, по крайней мере от исследованного мною обдорского диалекта, и распадается на несколько наречий, из коих важнейшие: 1) северное, или нарымское, к коему принадлежит и тымское, 2) среднее, или кетское[62], и 3) южное, обыкновенно называемое чулымским. По мере сил я изучил все эти наречия и надеюсь впоследствии представить особую грамматику их с словарем и некоторыми богатырскими песнями, которые посчастливилось записать в этом же обрусевшем крае. Изучал же я их в городе Нарыме и в селах Тогуре и Молчанове, находящихся на Верхней Оби и составляющих средоточия упомянутых наречий: Нарым — наречия северного, Тогур — среднего, а Молчаново — южного. Особенных поездок мне незачем было предпринимать, потому что по Оби я встречал достаточно как кетских, так и чулымских лесных самоедов. Чулымские самоеды ни языком, ни образом жизни не отличаются значительно от живущих по Верхней Оби, их всего две небольшие деревни на нижнем течении Чулыма. Более обширное поле для исследований представляла речная область Кети, но все, что можно было узнать, разъезжая по этой дикой стране, я узнал в Тогуре и таким образом сберег время, здоровье и деньги. Сверх того, я приобрел нужные сведения и о самоедах, живущих по рекам Чае и Парабели. Они совершенно сходны по языку с обскими соседями своими, по нравам же — с кетскими. Я мог бы упрекнуть себя только в одном, что не занялся особо тымским наречием, но это вина не зависевших от меня обстоятельств, которые заставили спешить в Нарым. Впрочем, меня везде уверяли, что оно, в сущности,

совершенно одинаково с нарымским, что подтверждается и таблицами Клапрота. О пумпокольских остяках, о которых так много толковали в обдорской стороне, я не мог получить никаких сведений, здесь даже и название Пумпокольск совершенно неизвестно. Так как этот народец принадлежит собственно Енисейской губернии, то, вероятно, там оно известнее. Во всяком случае я имею достаточные причины думать, что пумпокольские остяки тоже самоеды и что язык их немногим разнится от кетского наречия. Как бы то ни было, если позволят обстоятельства, я непременно займусь им во время распутицы. Из этого вы можете догадаться, что я еще зимним путем располагаю пробраться из Томска в Енисейск или в его окрестности. На дороге, сколько мне известно, едва ли задержит меня что-нибудь научное, разве что другое, непредвиденное. Дороги становятся уже очень ненадежны, и потому, хотя я и приехал в Томск только вчера, я выеду из него через несколько дней. В Ачинске остановлюсь только для разведок, нет ли в окрестностях чего замечательного, в Красноярске, вероятно, проведу пасху.

Согласно инструкции г. Кеппена, я собрал по дороге в Томск все необходимые сведения о татарском племени еушта (ieuschta)[68]. Это племя действительно существует в четырех верстах к северу от Томска, где и до сих пор одно татарское селение называется еще Еуштинском. Я пробыл несколько времени в этом селении и выспросил у татар все, что они знали о том, как их предки служили России в эпоху завоевания Сибири, о могущественном князе их Тояне, о котором свежа еще между ними память об основании города Томска, и т.д. Вот вам вкратце историческая часть их рассказов. Во время завоевания Сибири князем еуштинского племени был Тоян; владения его простирались на 10 верст в длину и на 5 в ширину, считая в версте по 1000 сажен. Как и другие татары, он жил в землянках, их было у него две: одна летняя, другая зимняя; первая находилась близ теперешнего Еуштинска, последняя — на высоком мысу, против того места, где потом построен город Томск. Этот мыс и теперь называется городком. Весьма вероятно, что он был укреплен, но Тоян, видно, не слишком полагался на это, потому что уговорил окрестных татар покориться русским добровольно. Официальные сведения намекают, одна-

ко ж, на то, что, несмотря ни на силу, ни на влиятельность свою, он не добился общего согласия и потому для обезопасения собственной своей личности от возможных нападений соплеменников просил русского царя построить для защиты его крепость. Как бы то ни было, несомненно, что Томск построен по просьбе самого Тояна и на его земле. Остальное можно видеть из старого документа, который посылаю при сем г. Кеппену. Есть здесь еще несколько древних документов и царских грамот, которые я добыл бы непременно, но, к несчастью, человек, у которого они хранятся, куда-то уехал.

Теперь несколько слов о моем здоровье. На него я не могу особенно пожаловаться, кроме нескольких катаров и других незначительных страданий, преимущественно грудных, неизбежных в холодных и продуваемых сквозным ветром жилищах, я был всю зиму довольно здоров и мог работать. Да и стыдно было бы расхвораться в зиму, так сносную и кроткую, что ни разу не замерзали, как говорил мой ямщик, ни вороны, ни сороки. Но вот близится несносная весна и еще несноснейшее лето — настоящие оселки моего здоровья. А тут на беду еще в томской аптеке я не нашел прописанных мне лекарств, вероятно, не найдешь их и в Красноярске, и за тем придется уже предоставить попечение о моем здоровье решительно на волю Божью.

VII

Асессору Раббе.
Томск, 5 (7) марта 1846 г.

Вот я и в Томске! Если ты хочешь узнать, какими путями пробрался я в этот блестящий Париж Сибири, то возьми карту Азии и отыщи на ней реку, которую самоеды поэтически называют Душою (Kuai)[64], остяки — Ас (As), а большая часть остальных смертных — Обью. В верхней речной области ее ты найдешь при реке Томи город Томск, а несколько градусов посевернее, на самой Оби, лежит город Нарым, который, однако ж, едва ли окажется на твоей карте, потому что он так же, как и Сургут, уже лишился своих привилегий и только благодаря своей древности и прежним

заслугам пользуется еще почетным титулом города. Переезд от Нарыма до Томска, равняющийся 470 верстам, делается обыкновенно в какие-нибудь трое суток, а я ехал целых три месяца, потому что филологические исследования имеют страшную способность везде задерживать. Хорошо еще, если они задержат в населенном месте, но на моем пути это случается очень редко и совершенно неожиданно. Такова уж, верно, была воля Всевышнего, чтобы народы, принадлежащие к бедному племени самоедов, служили батраками сильным мира сего и жили в беднейших и пустынейших странах обитаемого мира. Правда, что томские самоеды еще менее большей части своих соплеменников имеют причину жаловаться на обдел в этом отношении, однако ж, и на их горькую долю выпала все-таки страна по преимуществу болотная. В области томских самоедов находятся скверные Барабинские болота, которым едва ли есть что-нибудь подобное на всем земном шаре как по обширности, так и по злокачественности их испарений. Из этих болот ежегодно распространяются опустошительные заразы, поражающие без разбора и людей, и животных, истребляющие все стада, что составляет главное препятствие всякому возделыванию и благосостоянию. Окруженные такой враждебной природой, самоеды и в Томской губернии остались большей частью дикими обитателями лесов, которым покрытые снегом поля приятнее домашнего очага. Некоторые выбрались, конечно, из лесов, расстались навсегда с болотами, но жизнь все-таки осталась жизнью лягушки в грязи. Даже и самые на русский лад устроенные жилища их похожи на хлева, в которых люди, телята, собаки и куры дружелюбно живут под одной кровлей. Хотелось бы уверить себя, что в этом сожительстве они, по крайней мере, ведут жизнь невинную, беспорочную, но и эта иллюзия уничтожается тотчас же страшно обезображенными лицами, множеством пьяных не только мущин, но и женщин, валяющихся в юртах и раздирающих вашe ухо громкими носовыми диссонансами, противнейшими даже и рева их бессловесных товарищей.

Из этого не совсем эстетического описания ты можешь заключить, что даже и в северной части Томской губернии находишься все еще вне пределов цивилизации. У самоед-

ского населения страны никогда не найдешь хоть несколько сносного приюта. Приводилось поневоле провести ночь в самоедской юрте — я всегда взбирался на печь, обыкновенно же останавливался в таких русских деревнях, в которых можно было встретить самоедов или в самой деревне, или в ее окрестностях. У русских сибиряков жилище всегда чисто и опрятно, одна беда — так холодно, что без шубы не обойдешься. Могут быть, конечно, исключения, но мне по крайней мере ни разу не привелось даже и в городах пожить в комнате с двойным полом, со стенами, в которые не продувало бы, и с окнами, в которых не было бы разбитых стекол. Все чаще попадал я в дома, построенные из гнилых барочных досок. Именно такого-то рода были и обе главные мои квартиры между Нарымом и Томском. В одной из них, а именно в деревне Тогур, я провел Рождество в ужаснейшей борьбе с холодом и вдобавок еще без ветчины, без соленой рыбы, без елки, подарков и поздравлений. Я беседовал ежедневно с одним самоедом из лесной стороны, человеком необыкновенно веселым, добродушным, говорливым и, сверх того, докою на все. Он уверял меня, что умеет и тесать, и ковать, и класть каменные стены, и плотничать, что мастер делать стрелы и копья, и даже богов и людей. По-своему он был и филолог, потому что мог объясняться на четырех из семидесяти семи языков, существующих, по его мнению, в мире. И по естествоведению он обнаружил столько сведений, что имел бы полное право занять место в Академии наук, которая, по предсказанию Булгарина, будет некогда учреждена в Обдорске. Не менее был он сведущ и в медицине, потому что знал врачебные действия трута, можжевельника и «дорогой травы» (сассапарили), что во время пользования лекарствами надобно воздерживаться от употребления медвежьего мяса. В довершение всего этого мой самоед был еще в высшей степени честный и добросовестный человек. Только относительно его христианских понятий не могу я ничего сказать особенно достохвального. Когда я однажды спросил этого высокоученого мужа, что будет, по его мнению, с человеком по смерти, он отвечал мне положительно: «То же, что и с собакой — будет лежать, где лежит, и гнить, где гниет». На вопрос же, не продолжится ли существование души и по смерти, он ответил коротким: «Пой-

ди посмотри — и узнаешь». Он почитал грехом приносить жертвы богам, созданным рукой человека, а между тем сам делал их, и это, кажется, нисколько не тревожило его совести. Жену свою, по собственному его признанию, он украл, но, как полагает, загладил этот грех тем, что пожертвовал священнику десятую часть калыма, живет с ней хорошо, редко бьет, позволяет ей курить табак и никогда не напивался пьяным без того, чтобы не напоить и свою старуху. С этим-то человеком я провел все святки довольно весело и с существенной пользой для ученой цели моего путешествия.

Масленицу я провел довольно неприятно в деревне Молчановой, где меня поместили в верхнем этаже обыкновенного кабака. Здесь в продолжение всей разгульной недели я ни днем, ни ночью не имел ни на минуту покоя от шумливых пьяниц. Молчанова — небольшая деревня, окрестная сторона бедна и редко заселена самоедами, но, несмотря на то, продажа вина производилась в таких огромных размерах, что кабак в один день масленицы выручил почти 1800 рублей. По этому можно составить себе понятие о пьянстве в Сибири. Оно распространено до такой степени, что здесь почти уже и не стыдятся его. «Все мы грешные», — обыкновенно отвечает сибиряк на вопрос о трезвости кого бы то ни было. Даже молодым девушкам не ставят в порок, если они подгуляют в праздничное время, но если девушка пьет и по будням, редко найдет она мужа, если не поможет богатство. Замужние же пьют почти все без исключения. Уже и это доказывает неосновательность мнения, будто сибиряки нравственнее и образованнее настоящих русских. Правда, что в Сибири крестьянин сам бреется, курит трубку, любит щеголять в сюртуке, говорит красно, не верит в домовых и леших, чуждается всякого сектаторства, и т.д., зато русский благороднее, честнее, откровеннее и смышленее. В России крестьянин, умеющий читать и писать, совсем уже не редкость, а в Сибири встречаешь даже и купцов, едва умеющих подписать свое имя. По этому самому и ссыльные, гораздо более образованные, пользуются здесь некоторым уважением за так называемое «мастерство», да и они сами считают себя людьми породы гораздо высшей, чем туземцы. Всего более отличается сибиряк от настоящего русского страстью жить широко и роскошно. Это проис-

ходит не от того, чтобы русский любил копить деньгу, но он, по пословице, любит протягивать ножки по одежке, сибиряк же славится способностью жить не по средствам. В городах блестящий экипаж нередко составляет все его движимое и недвижимое имущество, а в деревнях зачастую один только самовар.

Кроме русских и самоедов, я встречал на пути из Нарыма в Томск и татар, не говоря уже о тунгусах, бродящих всюду. В нескольких верстах за Молчановой самоедское население прекращается, тут к нему примыкает непосредственно татарское. Большая часть северных татар приняла уже, однако ж, христианскую веру и почти нисколько не отличается от русских как в образе жизни, так и нравами. «Они просветились и живут по-нашему», — сказал мне один русский ямщик, расхваливая крещеных татар. Верстах в 30 к северу от Томска я увидал первую мечеть. Я вошел в юрту и нашел в ней несколько мусульман, беседовавших за самоваром. Хотя это были ссыльные и, судя по наружности, жили в большой нужде, они приняли меня, однако ж, с необыкновенным радушием. Можно было бы привести и еще несколько примеров татарского гостеприимства, испытанного мною в другой деревне, где меня задержало на некоторое время одно поручение Академии, но голова моя в настоящую минуту полна забот о предстоящем мне путешествии. По этой же причине воздерживаюсь и от хвалебных песен городу Томску, хотя о нем и было бы что сказать.

VIII

Ректору Шпельману в Куопио.
Томск, 5 (17) марта 1846 г.

Несколько дней тому назад, умаявшись над буквами, я только что уселся за кипящий самовар, как вдруг вошел человек и вручил мне исполинский пакет. В самой середине этого пакета я нашел крошечное письмецо от тебя, запечатанное облаткою. В эту минуту Сибирь показалась мне прекраснейшей страной, даже и в настоящую минуту я мог бы еще написать целый том благодарений за то, что ты так дружески вспомнил о бедном грешнике в стране грешников.

Прибыв несколько дней тому назад в Томск, я уже снова помышляю о продолжении своего путешествия в Красноярск, *теперешний главный город Енисейской губернии*. Из Красноярска я отправлюсь в Енисейск, в котором пробуду все время распутицы. Я намерен употребить это время на редакцию грамматического очерка для томского наречия самоедского языка, потому что оно до того уклоняется от обдорского, что не может обойтись без особой грамматики. Кроме того, в этом крае, кажется, есть еще другое самоедское наречие, которое прежде всего надо будет исследовать. По вскрытии рек я тотчас же отправлюсь из Енисейска вниз по Кеми или по Енисею в одинокий, далеко заброшенный город Туруханск. На этом пути я намерен заняться еще языком, о котором никто не знает, что он такое. По мнению одного известного рус*ского писателя*, он *принадлежит особому корню языков*, который близок к цели всего человеческого — к смерти и забвению. Община города Куопио, наверное, гораздо многочисленнее этого жалкого племени, которое во все время своего существования даже не прибрало себе и имени. От свойств этого языка будет зависеть главным образом и продолжительность моего пребывания в туманной атмосфере Туруханского края. Дай-то Бог, чтобы мне удалось благополучно возвратиться из него! Это путешествие стоит поездки в Пойолу, и мне остается только ободрять себя мужественным восклицанием Леммиякейнена: «Yks on surma miehen surma!» (ведь умирать только раз!). Что касается до твоего дружеского совета, чтобы я берег свое здоровье, то тебе известно, что мое *memento mori*[83] у меня под левой мышкой и постоянно дает себя чувствовать. Во всяком случае пока живется еще, следует благодарить за жизнь Бога и не роптать, если по временам боли и отзываются; для постоянных же забот о том, как бы разными ухищрениями и предосторожностями вытянуть нить жизни до последней возможности, моя жизнь слишком ничтожна и малозначаща. Я уверен, что мир может как нельзя лучше обойтись и без моих грамматик, притом же жизнь хворого человека представляет так мало привлекательного, что, право, не призадумаешься пожертвовать ею чести — пасть на поле сражения.

Относительно будущего я еще не составил себе никакого определенного плана. Если я не буду иметь возможности заработать себе кусок хлеба в Финляндии, что весьма вероятно, то я не прочь предпринять новое путешествие в Сибирь и заняться исследованием тунгусского племени. На это, я убежден, Академия наук не откажет мне своим пособием. Так как сродство финского племени с самоедским достаточно доказано уже настоящим моим путешествием, так как, сверх того, финны, очевидно, состоят в родстве с тюрками и татарами, то весьма естественно, что ближайшей задачей языковедения должно быть за сим отыскание при помощи самоедского языка родства между финнами и тунгусами. От тунгусов прямой путь к манджурам, а к монголам ведут все пути, потому что, судя по всему, как тюрки, так и самоеды, и тунгусы, и манджуры непременно находятся в сродстве с ними. Мало-помалу нам надо свыкаться с мыслью, что мы — потомки презренных монголов, против этого возможна еще, впрочем, одна апелляция к будущности вопросом: действительно ли есть положительная разница между кавказской и монгольской расами? По моему мнению, этой разницы нет. Что бы ни говорили естествоиспытатели о различном образовании черепа и т.д., замечательно все-таки то, что облик у европейского финна кавказский а у азиатского — монгольский, что тюрк в Европе походит на европейца, а в Азии — на азиата. Приняв это различие рас на физиологическом основании, несмотря на сейчас упомянутый странный факт, необходимо уже будет отнести одну половину финских и тюркских племен к кавказской, другую — к монгольской расе, а это было бы нелепо.

С филологической точки зрения это мнимое различие рас имеет еще менее основания. Много говорили филологи об аналитическом свойстве кавказских языков и о синтетическом монгольском, но все это сводится на одно то, что первые сравнительно более образованны, более развиты в области мышления. Говорят, что монгольские языки бедны частицами. Отчего это? От того, что частицы составляют отвлеченные составные части языка. С другой стороны, эти языки необыкновенно богаты локативами (Locative), потому что грубые, чувственные представления обыкновенно обозначают внешние стороны и отношения всякого предмета со все-

возможной точностью. С возрастающим образованием эти отношения становятся столь многочисленными, столь неопределенными и в большей части случаев столь маловажными и безразличными, что их уже нельзя выражать с полной точностью. Как по этой причине, так и вообще вследствие своего отделяющего свойства, размышление (Reflexion) отбрасывает окончания падежей и выражает целые классы отношений такими словами, как, например, шведские *till* (к), *på* (на), *i* (в), *från* (от), которые в местном отношении вполне относятся к внутреннему, наружному, верху, низу, средине, бокам и т.д., между тем как в монгольских языках все эти различные отношения выражаются особенными падежами. Первый признак освобождения языка от множества падежей обозначали некогда в монгольских языках слова, названные конечными приставками (Postpositionen), которые в сущности не что иное, как обыкновенные имена и поэтому выражают отношения предмета более конкретным образом, нежели ничего не говорящие предлоги (Praepositionen). Но именно конкретный-то способ представления размышление (Reflexion) и стремится отвергнуть и уничтожить совершенно. Поэтому мы видели, как и в монгольских языках конечные приставки мало-помалу теряют свое первоначальное значение, как они урезываются, сокращаются и вообще стремятся принять свойство предлогов. В то же время откидываются и окончания падежей и превращаются точно так же в конечные приставки или в предлоги. Таким же и другим подобным процессам подвергались и кавказские языки, и предположение, что они некогда имели то же самое синтетическое свойство, которое составляет теперь характер монгольских языков, нисколько не будет ошибочно. Между последними некоторые языки, принадлежащие к финской и тюркско-татарской отрасли, несколько опередили уже прочие в своем развитии, по мере которого получили такое сходство с кавказскими языками, что филологи часто приходили в тупик: куда именно отнести их. Не пускаясь в дальнейшие рассуждения об этом предмете, я возвращаюсь к положению, что кавказские и монгольские языки относительно грамматического строения своего не представляют никаких других существенных различий, кроме основывающихся на степени образованности самих народов, говорящих этими языками.

Что строение языка изменяется вместе с образованием — это понимал и Клапрот и частью по этой причине, частью из других довольно шатких оснований отвергал грамматику как доказательство в сравнительном языкоисследовании. Последнее, по его мнению, должно основываться на словах, которые всегда остаются тем же, чем были, «подобно тому, как алмаз остается алмазом, будет ли он отшлифован в бриллиант, розетку или пластинку»*. При этом Клапрот опустил из виду то весьма важное обстоятельство, что языки не застрахованы от внешних влияний: не хотел понять той истины, что и слово, и алмаз — далеко преходящее законов, которые живут в тысячах слов и тысячах алмазов. Тем не менее и сравнения слов весьма важны, и чем далее пойдет исследование в этом отношении, тем более сходств окажется между монгольскими и кавказскими языками. Мы, финны, по скромности своей всегда готовы поверить, что всякое финское слово, имеющее сходство со шведским, немецким или русским словом, непременно заимствованное. Но это не всегда так: многие из этих слов встречаются также в татарском, самоедском и других языках, сродных с монгольским. А так как в то же время они общи и многим кавказским языкам, то и это обстоятельство, естественно, может также служить основанием к отвержению ненавистного различия рас.

Сначала я имел намерение посвятить себя исключительно монгольскому языку в надежде посредством его не только отыскать происхождение и родственные связи финнов, но, может быть, и опровергнуть Блюменбахову теорию рас; обдумав, однако ж, хорошенько, убедился, что при настоящем положении языкоисследования дойду, таким образом, разве только до рудбекианизма. Такое расширение исследований невозможно до тех пор, пока промежуточные языки не будут подробно исследованы в грамматическом и лексикальном отношении. А мы до сих пор не знаем еще даже ни характера, ни законов и коренного финского языка; как же тут сравнивать этот X с монгольским Z-ом? Между тем именно на нас-то, финнах, и лежит обязанность подвергнуть исследованию все языки, находящиеся в более или менее близком сродстве с финским, и можно быть уверену,

* Предисловие к Asia Polyglotta p.x.

что на этом поприще труды наши непременно увенчаются успехом — in hoc signo vinces[46]. Важность основательного исследования помянутых языков сознана и высказана уже целым миром, за исключением, может быть, одной Финляндии. Некоторые относящиеся сюда языки, как, например, тюркский, монгольский, манджурский и другие, нашли уже в большей части образованных стран людей, усердно занимающихся разработкой их. Мало этого, даже и по части языка, и истории самого финского племени в Германии издано в последнее время несколько более или менее замечательных трудов, как, например, сочинения Габеленца, Мюллера, Шотта и других. Санкт-Петербургская Академия наук пошла и еще далее, учредив особый отдел изучения финских языков. Все это служит, конечно, немалым утешением в моих весьма, впрочем, разобщенных трудах, но зато также тягостно в то же время убеждение, что у нас в Финляндии мало или вовсе не заботятся об этой важной области филологии, несмотря на то, что она наша родная и что мы из всех образованных наций, естественно, способнейшие для разработки этого вертограда.

Путевой отчет

Окончивши мои исследования в области причисленных к Томской губернии самоедов, считаю долгом сообщить несколько сведений, которые послужат к тому, чтобы обратить внимание на эту народную область, весьма важную в этнографическом отношении, до сих пор не вполне исследованную и отчасти неправильно описанную. Основываясь на старых сведениях, полагали, что северные части Томской губернии заселены преимущественно остяками, самоедам же отводили только несколько небольших участков на правом берегу Оби и по рекам Тыму, Кети и Чулыму*. На самом же деле остяки занимают только область реки Васьюгана, все же прочие страны как по самой Оби, так и по ее притокам Тыму, Кети, Парабели, Чае, Чулыму и по Чежабскому рукаву Васьюгана заселены самоедами[47]. Они почти единственные обитатели по всему течению вышеупомяну-

* См. Клапрота Asia Polyglotta. С. 163 и след.

тых притоков Оби, за исключением Чулыма, главное народонаселение которого составляют крещеные татары, самоеды же занимают только две небольшие волости по самому нижнему его течению. Чулым можно принять за южную границу самоедской области, хотя самоедское народонаселение, переходя за устья Чулыма, и распространяется вверх по Оби еще на 25 верст — до Амбарских юрт; начиная отсюда, население состоит уже из татар, которые не только что крестились, но в некоторых местах даже и природный язык свой заменили русским. Северную границу томских самоедов (если исключить остяцкое население при Васьюгане) образует река Тым, почти составляющая предполагаемую границу между Томской и Тобольской губерниями.

Эти легко добытые филологическим путем результаты дают возможность определить границы всего самоедского племени и яснее, и удовлетворительнее для истории и этнографии, нежели это было возможно доселе; вместе с тем и остяцкое племя является более связным и сосредоточенным, нежели как оно представлено, по крайней мере Клапротом. Всю Северо-Западную Сибирь можно вообще разделить на две половины: 1) на западную, или угорскую, обитаемую остяками и вогулами, и 2) на восточную, или самоедскую, заселенную по преимуществу самоедами. Границы угорской половины: к западу — Уральский хребет, к востоку — Иртыш и Нижняя Обь; восточную, или самоед-скую, половину составляют пустыни между Обью и Енисеем. При таком разграничении, годном только для более общего обзора, не должно упускать из виду, что как самоеды, так и остяки занимают значительные пространства и вне означенных пределов. Так, большие отрасли остяцкого племени находятся: 1) в Барабинской степи, к северу от рек Демьянки и Васьюгана; 2) вдоль по всему течению Оби, ниже Тыма; 3) по всем притокам, впадающим в Обь в пределах этой области, за исключением Лямина Сора, по которому, как и в некоторых других небольших местностях этой части, живут самоеды; 4) по Надыму. С другой стороны, самоеды еще многочисленнее переступили за означенные границы; они 1) заняли весь берег Ледовитого моря от залива Хатангского на востоке до Белого моря — на западе; 2) распространились в Барабинской степи по рекам Чае, Парабели и

Чежабке; 3) небольшими поселениями по уральским рекам Ляпину и Сыне. Впрочем, большая часть писателей утверждает, что по Енисею выше Туруханска нет уже самоедов; это, может быть, и справедливо, но не менее бесспорно и то, что главное население внутренних стран между Обью и Енисеем составляют самоеды, и не разъединенные, не рассеянные небольшими поселениями, а связанные довольно тесно. В Томской губернии расстояния, разделяющие чулымских, кетских и тымских самоедов, так невелики, что на охоте они часто встречаются. К северу от Тыма в Тобольской губернии цепь самоедов разрывается, однако ж, у Ваха остяками, но по Куль-Йогану живут уже опять самоеды, которые, по достоверным сведениям, находятся в связи с тымскими. От Куль-Йогана самоедское племя распространяется уже непрерывно до самого Ледовитого моря. На все это намекнул мне заранее г. Шёгрен в написанной им для меня путевой инструкции, но до совершенно точного понятия настоящей связи самоедов, по крайней мере касательно южного распространения их, не опровергнув показаний Клапрота, невозможно было и дойти. И именно эта-то настоящая связь их и подтверждает еще более чрезвычайно важное предположение Клапрота о выходе самоедов из Алтайских гор. Потому что чем более единства и связности представляет это племя к югу, тем вероятнее становится эта гипотеза, которая, сверх того, дает возможность произнести последнее и решительное слово и касательно выхода финнов. Но я оставляю все исторические выводы и сообщу вам теперь несколько отрывочных замечаний о языке, вере и образе жизни томских самоедов.

В отношении к языку я обращу ваше внимание только на некоторые более или менее отклоняющиеся друг от друга наречия. Таковы: 1) *нижнее*, распространенное от тобольской границы на севере до реки Кеть на юге и распадающееся на три оттенка: на тымское, верхнее и нижнее нарымское; 2) *среднее*, или кетское, которым говорят по реке Кеть и с незначительными изменениями по рекам Чае, Парабели и по ближайшей части Оби; 3) *верхнее*, которое и по Чулыму, и по Оби представляет некоторые незначительные разности. Из этих трех главных наречий нижнее отличается множеством слов и идиотизмов, заимствованных из ос-

тяцкого языка. Верхнее подверглось, напротив, сильному влиянию татарского. Среднее же, кажется, сохранилось во всей чистоте, оно замечательно, впрочем, и частым удвоением в нем согласных; так, например, *apa* — старшая сестра, на кетском — *appa*; *ud* — рука, на кетском — *utte*, на чулымском — *uto*; *kegak* — хочу, на кетском — *kekkang*; *pudap* — переводить, на кетском *pâttau* и т.д. К кетскому наречию примыкает в Енисейской губернии натско-пумпокольское, которое Клапрот, руководствуясь неправильным списком слов, принимает за енисейско-остяцкое точно так же, как в Томской губернии смешивает самоедские наречия с обьско-остяцкими.

Что касается до религии, то самоеды в Томской губернии давно уже крещены, но во многих местах все-таки придерживаются еще язычества и в этом отношении мало отличаются от своих северных соплеменников*. И те, и другие признают единого бога, который называется *Нум, Ном*[68] *Нонг*; северные самоеды так, однако ж, боятся его, что с видимым трепетом произносят настоящее его имя и охотнее употребляют эпитет *Йилеумбеарте*, то есть страж скота (оленей). Томские самоеды придают Нуму эпитет *Илгда ша, Ильдиа* (Ildja)[69] — старец, дед, соответствующий *Укко*[70] финской мифологии, хотя Укко и был первоначально только эпитетом Юмалы[71]. Нум, по их мнению, царит над всем творением, но настоящее жилище его — высь неба, которое поэтому и называется Nû-sündje (от Num — бог, в родительном падеже Nu, и sündje — внутреннее). Во всем, что происходит в воздухе и в нем зарождается, как, например, в снеге, дожде, ветре, грозе (Ildschan-Nom), граде (Nyrn-Nom) самоед видит непосредственное присутствие Нума. Впрочем он представляет себе Нума существом для человека недоступным, не умилостивляемым ни жертвами, ни молитвами, и часто применяет к нему русскую пословицу «До Бога высоко, до царя далеко». Совершенно подчинены Нуму и зависимы от него так называемые у томских самоедов лохеты (Lohet)[72], или лосеты (Loset), единст. Loh или Los, об дорс. хахе, или съядеи (Hahe, Sjadaei), ост. Lonk. Это так

* Чтобы не повторять одного и того же касательно этого предмета, ссылаюсь на сведения, сообщенные мною же выше в описании моих путешествий в 1838—1844 годах.

же незримые духовные существа и потому недоступные для обыкновенного человека. Только шаманы обладают сверхъестественной способностью видеть лохетов, говорить с ними и выпрашивать у них самих или по их ходатайству у самого Нума совет и помощь для себя и для других. Шаманы в Томской губернии обладают, сверх того, необыкновенным искусством овеществлять лохетов так, что они делаются полезными, охранительными божествами для всякого. Точно так же и северные самоеды сильно преданы фетишизму, но у них божественная сила фетиша не зависит, кажется, безусловно от шамана, потому что они поклоняются не только идолам, сделанным руками человека, но и необыкновенным камням, и деревьям, и другим редким естественным предметам. Томские же самоеды полагают, напротив, что фетиш необходимо должен быть сделан и освящен шаманом; более смышленые видят в них только изображения божества и сравнивают их с христианскими иконами. Вот в переводе что говорил мне о таких божествах один кетский самоед: «Узнал шаман, что у меня нет бога-хранителя, и приходит ко мне и говорит: «Послушай, друг, у тебя нет лоса, уж не хочешь ли ты сделаться русским?». — Тогда я даю шаману беличий, горностаевый или какой-нибудь другой мех, какой у меня случится. Шаман уходит с ним, а когда возвращается, то уж он дал этому меху человеческий образ и одел в такое платье, какое мы носим. Платье шил, однако ж, не он, оно шьется всегда непорочной девушкой. Когда лос совсем обшит и одет, я кладу его в корзину, которая также должна быть сплетена девушкой, и отношу корзину в чулан, в котором, однако, ничего не должно сохраняться, кроме бога и жертв ему. Кроме того, по нашей вере ни один женатый человек никогда не должен ходить около этого чулана, ни одна замужняя женщина не должна переступать его порога. Нужна мне помощь лоса в каком-нибудь деле, например, при звериным промысле, при рыбной ловле, в болезни и т.п. — я приношу ему жертву. Но так как я женат, я не могу приносить жертву сам, а должен просить об этом кого-нибудь из холостых. Жертва состоит обыкновенно из белок, горностаев, красивых лент и платков, из ситцевых и суконных лоскутьев, из бус и бисеру — все это кладется в корзинку. Деньги приносим мы в жертву

одному русскому Богу, а для нашего временами завариваем еще сверх того на охоте и на рыбной ловле котелок рыбы или мяса. Эту жертву может приносить всякий, даже замужняя женщина. Это делается так: перед лосом ставят блюдо или несколько блюд сваренного кушанья и, кроме того, кладут еще соль и хлеб, нож и ложку. Когда кушанье постоит несколько времени перед изображением бога, это все принимают и съедают сами жертвовавшие. Только кости не бросают собакам, а собирают и прячут в каком-нибудь уединенном местечке».

У северных самоедов всякое семейство имеет бесчисленное множество фетищей[73], хранимых в особенных санях, которые следуют за ними во всех их кочевьях. В Томской же губернии, как говорят, каждый из самоедов, придерживающихся еще язычества, имеет своего особенного бога-хранителя[74] и поклоняется только ему одному; умрет его поклонник, и кумир почитается умершим и бросается в реку. В старину и томские самоеды имели, подобно многим другим остяцким и самоедским инородцам, кумиров, принадлежавших целому племени или роду. Даже несколько лет тому назад существовал еще такой лос в Карбинских юртах при реке Кети. Кумир этот был сделан из латуни и имел вид и величину сидящего человека. Он, как рассказывали мне, остался от древней чуди и, как по древности, так и по красоте, пользовался необыкновенным уважением; его хранили также в амбаре, который, по свидетельству того же рассказчика, был полон соболей, лисиц и других дорогих жертв на несметные суммы. И все это вместе с амбаром было сожжено несколько лет тому назад тунгусами в отмщение жителям за какую-то обиду. Кумир же утратил от огня первоначальный вид свой и так обезобразился, что в настоящее время его считают уже умершим. Умиротворять и располагать к себе лохетов жертвами и молитвами может каждый, но добиться от них совета, сведения или прорицания можно только чрез посредство шамана, потому что закутанные в меха лохеты — немые духи, а в темный мир духов, как мы уже сказали, имеет доступ только один шаман. Только он один может заклинать невидимых духов, и вот как он это делает. Он садится посреди комнаты на скамейку или сундук, в котором не должно быть ни ножа, ни пуль, ни иголки и никаких других

опасных вещей, в особенности из стали и железа. Вокруг усаживается обыкновенно множество зрителей, только против него никто не должен садиться. Шаман сидит, обратясь лицом к двери, и притворяется, будто ничего не видит и не слышит. В правой руке он держит палочку, одна сторона которой гладкая, а другая покрыта таинственными знаками и фигурами, в левой — две стрелы, обращенные острием вверх, к каждому острию привязан небольшой колокольчик. Наряд шамана не представляет ничего особенного: обыкновенно на этот случай он наряжается в платье прибегнувшего к его помощи. Заклинание начинается тем, что шаман затягивает торжественную песнь, могущественными словами которой призывает духов. Во все время пения шаман слегка ударяет волшебной палочкой по древкам стрел, и колокольчики звенят в такт. Присутствующие слушают с глубоким благоговением пение восторженного духовидца. Как скоро духи начинают появляться, шаман встает и принимается плясать, пляска его сопровождается весьма трудными и искусными телодвижениями. При этом он безостановочно продолжает петь и звенеть колокольчиками. Содержание песни — разговор с духами, и поется то с большим, то с меньшим одушевлением*. Возрастает одушевление — в пении принимают участие и присутствующие, повторяя слова шамана; понижается — они сидят безмолвными слушателями**. Добыв всеми этими проделками нужные сведения, шаман объявляет волю богов вопрошавшему. При вопросах о будущем он бросает перед любопытствующими свою волшебную палочку, и если она ляжет стороной, на которой находятся знаки вниз, то это обозначает близкое несчастие, в противном же случае все будет по желанию.

Как в Тобольской и Архангельской, так и в Томской губернии шаманы знают несколько фокусов, которыми ослепляют легковерную толпу и приобретают ее доверие.

* О содержании песни и прочем, происходящем во время заклинания, смотри выше.

** Кто не присутствовал при обряде с самого его начала, тот не может участвовать в пении. Женский пол ни в каком случае не имеет на это права, и в Томской губернии нет шаманов женского пола.

В Томской губернии обыкновеннейшая их проделка, изумляющая не только самоедов, но и русских, состоит в следующем. Шаман садится на разложенную на середине пола сухую оленью шкуру, велит присутствующим связать ему руки и ноги, закрыть ставни и затем принимается вызывать подвластных ему духов. И вот в темной юрте вдруг начинается непостижимая чертовщина. В разных частях ее и даже вне ее слышатся голоса, по сухой коже скребут и барабанят в такт, медведи ворчат, змеи шипят, белки скачут. Наконец шум прекращается, и слушатели с нетерпением ожидают, чем все это кончится. Несколько мгновений проходят в этом ожидании, и что же? Дверь юрты отворяется, и шаман входит со двора, не связанный ни по рукам, ни по ногам. И все уверены, что в юрте барабанили, голосили, ворчали и шипели лохеты и что они же развязали шамана и вывели его из юрты тайными путями[72]. Впрочем, эта проделка действительно гораздо искуснее обычной грубой проделки северных шаманов, состоящей в том, что они позволяют выстреливать в их голову пулей, причем иногда платятся и жизнью.

Кроме чародейственного богослужения, томские самоеды сохранили еще и другие остатки старины, между которыми наиболее заслуживают упоминовения их богатырские песни*[76]. Этого рода песни есть и у северных самоедов, и у остяков, даже финская «Калевала» — не что иное, как прекрасное развитие зародыша, существующего в самоедской песне. Богатыри в «Калевале» идут обыкновенно на битвы для того, чтобы снискать сердце и руку девицы; то же самое всего чаще встречается и в самоедских песнях. Но если спросить самоедского певца, каким же образом жен-

* Богатырская песня называется в Томской губернии Küeldet или Küeldahut (собст. древность), на северном же наречии sjudubeahts. Последнее слово собственно значит: песня великанов (от sjudubea — великан) и намекает на первоначально мифическое значение богатырской песни. В самом деле в некоторых песнях, записанных мною у северных самоедов, сюдубеи изображаются страшными великанами и жестокими людоедами, которые прежде, нежели съедят несчастного, поливаются им в руки, мучат его беспощадно, качая на железных качелях. В Томской губернии таких песен я не слыхал, не слыхал даже и слов sjudubea и sjudubeahst. Последнее заменяется здесь словом Küeldet, а богатырь обозначается особенным словом matur, которым в то же время называют и древнюю чудь.

щина, так глубоко презираемая ими, становится у него целью благородного предприятия, он ответит вам так: «Со времен еще отцов наших ведется у нас обычай не брать никогда жен из своего собственного племени, а из другого, чуждого, не родственного. Прежде же различные племена жили во вражде между собой, а потому часто бывало очень трудно достать себе жену путем мирным. По крайней мере это было невозможно без платы за невесту, а плата была необыкновенно высока, потому что от обычного прежде многоженства незамужних женщин было очень мало. Вот чтоб избежать этой траты, наши сильные и брали себе жен силою». В «Калевале» же, напротив, говорится положительно, что богатырей заставляет искать битв и приключений *красота* дев. Никто из них и не думает отделываться от платы за невесту. Таким образом, финская поэзия чище, благороднее самоедской, хотя и вероятно, что все руническое циклы «Калевалы», описывающие странствования Вайнемойнена, Ильмаринена и Лемминкейнена в Пойолу по невесту, произошли из того же самого не так чистого источника, из которого вытекли и любовные песни самоедов. Замечательно по крайней мере то, что и в «Калевале» дева принадлежит к чужому, враждебному племени, и что ее нельзя добыть без дорогого выкупа (сампо). Кроме того, и во многом другом, не так важном, беспрестанно встречается сходство между финскими и самоедскими песнями*. Что же касается до упомянутого главного отличительного характера самоедской песни, он будет яснее из рассказа содержания двух следующих богатырских песен, из коих первая записана в Томской, другая — в Тобольской губернии.

I

При устье реки родился богатырь. Еще лежит он в колыбели, а уже думает, что пора подумать о невесте. И вылезает он из колыбели, и садится на железный пол. Помня о

* Это сходство распространяется даже и на внешнюю форму. Правда, стихи самоедских песен не имеют определенной меры, да это и невозможно, потому что певцу известно одно только содержание песни, все же остальное — случайная импровизация. Но, несмотря на это, в самоедских стихах все-таки заметна преобладающая наклонность к трехчастности.

родине, решает он посоветоваться насчет этого с отцом. Отец *же жил в другом отдаленном месте**, и путь к нему был нелегок, потому что шел под землей. Между тем как богатырь сидит и раздумывает о трудностях пути, железный пол растворяется сам собой. Богатырь смело спускается в отверстие, идет семь дней подземной дорогой и наконец добирается до отцовского жилища. Прибывши, он обращается к отцу такими словами: «Ты объездил целый мир, не нашел ли ты для меня жены?». Отец отвечает, что не нашел, и советует самому поискать себе жену. Богатырь довольствуется этим и хочет отправиться в горный замок и добыть себе руку царской дочери. Отец одобряет это решение, и богатырь возвращается в свое жилище. Возвратившись домой, он тотчас же вооружается мечом и луком, садится на орла и несется по воздуху. Пролетев семь дней по направлению к югу, орел садится на дерево невдалеке от горного замка. Богатырь сидит и посматривает с дерева. Видит он, у берега расположились три богатыря, приплывшие из стран чуждых, и в некотором отдалении от них еще семь других богатырей. А в замке пируют. Просидев семь дней на дереве, богатырь обращается в соболя и сползает в этом виде на землю. *Затем, приняв опять свой собственный вид, он пробирается в* царское жилище и прячется за печь. Царь заметил его, но не показывает этого. И между тем как богатырь лежит за печью, царь и его семь сыновей сидят вокруг стола и пьют. И пьют они целые семь дней, а в седьмой день царь встает и спрашивает у своих сыновей: кто бы такой был человек, прокравшийся в комнату и спрятавшийся за печь? Тогда встали и сыновья, подошли к неведомому богатырю, и двое, взяв его за обе руки, начали поднимать его. Но старшие, хоть и двое, не могли поднять богатыря и, заплакавши, отошли прочь. Наконец подошел и меньшой сын и один поднял лежащего. Тогда царь вновь устроил пир, посадил пришельца за стол и велел младшему сыну привести сестру и посадить ее рядом с богатырем, чтоб она стала женой его. Свадебный пир продолжался семь дней, и затем богатырь простился и вместе с невестой возвратился к дереву, на котором оставил орла своего. Когда же чужестранные богатыри, расположившиеся у берега, увидели его вместе с царской дочерью, которую и им хотелось добыть,

* Этим намекается, что отец был богат и силен, что у него было много жен, из которых каждая жила в особой юрте.

гнев запылал в сердцах их. Один из них натянул свой лук, пустил стрелу в замок и разломал медную его крышу. Тогда один из сыновей царя выбежал из замка с мечом в руке и убил чужеземного богатыря, но и сам нашел тут смерть свою. Такая же участь постигла и пятерых других братьев убитого, выходивших друг другу на помощь. Когда же сестра увидела с дерева смерть братьев своих, она начала плакать горько. Тогда муж спустился с дерева в виде соболя и в то же время вышел из замка и младший сын царский. Богатырь велел своему шурину возвратиться в замок, натянул лук свой, пустил стрелу, и она угодила в грудь одного из чужеземных витязей и потом полетела дальше и убила по пути пятьсот мужей. Потом она сама собой возвратилась назад к богатырю и пронзила еще пятьсот других мужей. И так точно всякий раз, когда богатырь натягивал свой лук и пускал стрелу в богатырей, стоявших на берегу. Каждый раз падала тысяча мужей. И когда стрела *слетала девять раз и девять раз возвратилась, глядь — ни* одного из чужеземных богатырей не было уже в живых. Богатырь снова обратился в соболя и вполз на дерево, посмотрел на все стороны и увидал своего орла, — не увидал жены своей. Во время битвы она улетела на своем орле к северу. Богатырь пустился по следам ее и скоро достиг до замка семи богатырей. Орел его так сильно ударил грудью в медную крышу замка, что она разрушилась и задавила трех богатырей. Богатырь требует жену свою, но остальные богатыри отказывают под тем предлогом, что она сама пришла в их замок. Тогда началась битва, в которой все богатыри замка нашли смерть свою. Но во время битвы жена его опять улетела в другой замок, в котором было тридцать пять богатырей и множество другого люда. Несмотря на то, богатырь не испугался и направил своего орла на медную крышу замка, и она разрушилась и раздавила двух богатырей. И в этом замке братья-богатыри не хотели выдать скрывшейся, предлагая выдать вместо нее собственную сестру свою. Но наш богатырь этим не удовольствовался и начал битву со всеми богатырями и мужами замка. И только что он начал битву, как на помощь к нему подоспел шурин его, примчавшийся на крылатом орле. Два богатыря эти принялись общими силами поби-

вать богатырей, и из последних оставалось уже немного. Под конец едва не лишился жизни и сам герой песни. Один из вражеских богатырей был так силен, что пущенная им стрела целые семь дней безостановочно летела в грудь нашего героя. Затем один из богатырей, разрубленный надвое, снова ожил и так жестоко напал на героя песни, что только помощь шурина спасла его от смерти. Тут он утомился уже совершенно, и шурин, один покончивший битву, отвел его на покой. Богатырь спал за сим семь лет и, когда пробудился, жена и шурин сидели подле него. Тут богатырь потребовал, чтоб шурин судил свою сестру, но он отказался судить чужую жену, и богатырь сам пронзил и посадил ее на кол. Из богатырей же замка один остался, однако ж, в живых, и он отдал за сим сестру свою в жены нашему богатырю. Свадьбу пировали семь дней, и затем богатырь с своею женою и с шурином возвратился к устью реки. Здесь опять было пиршество, которое кончилось тем, что шурин в награду за свои великие услуги получил в жены сестру богатыря.

II

В двух юртах жили отец с сыном. Отец назывался Хахонйие Хабт (Hahonjie Habt — божественный олень), а сын — Яльензиеи Хабт (Ialjensiei Habt — блестящий олень)*. Два года справляли они свои сани, теперь сидят на них без дела. Сидят десять дней, не говорят они ни слова; лицо отца то помрачится, то опять прояснится. Наконец сын спрашивает: «Что ты видишь, отец?». Отец отвечает: «На расстоянии пути в семь месяцев вижу Вайе Тйилье Хабт (Waije Tjilje Habt — олень с коротким рогом). Вожжа порвалась, и хозяин сам тащит сани на расстоянии семи дней от оленя. Пошли твою младшую сестру ему навстречу, потому что придет сюда путник, нам будет плохо». Сын взял свой аркан, поймал сто оленей в один раз, запрег их и отправил сестру с таким наказом: «Проедешь путь в семь месяцев, увидишь оленя с коротким рогом, этого оленя ты поймай и привяжи к заду последних саней твоих. Через семь дней затем ты встретишь самоеда, который сам тащит свои сани за собою. Этому человеку нечего у нас делать, пусть он отправляется с тобой восвояси».

* В песнях богатыри часто называются по их оленям, оружию, одежде и другим внешним признакам.

Девушка поехала, встретила и поймала оленя, отдала его хозяину, который тотчас поворотил назад и девушку взял с собой. Дорогой Вайе Тйилье Хабт спросил свою спутницу, что такое стоит в ее середних санях? Девушка сказала, что в них живой бог, которого должно призывать в болезнях. Долго они ехали, видели много юрт, принадлежавших брату Вайе Тйилье Хабта, и наконец приехали к его собственной юрте. Вайе Тйилье Хабт отпрег своего оленя, вошел в юрту и послал оттуда Езе Нйи Съядута (Iêse Nji Sjaduta — железный пояс с лицом), чтобы отпречь оленей девушки. И девушка начала здесь жить с Езе Нйи Съядута. Жили они здесь целое лето. Прошло это время, настала осень, ночи сделались темны, и начались бури. В одну такую ночь девушка тихонько вышла из юрты, подошла к середним саням и разрезала веревки, которыми были обвязаны сани. Из саней вылез вместо живого бога безоружный человек*. Девушка дала ему кипучий меч (Siunaei jêse), коим впоследствии он и сам стал называться. «Куда же, — спрашивает песня, — пошел человек с кипучим мечом в эту темную ночь?». Он ходил из одной юрты в другую и побивал весь народ, какой только находил в них. Он пришел наконец в юрту, в которой жила его сестра с Езе Нйи Съядута. Езе Нйи Съядута страшно испугался и старался спастись то в дверь, то в дымовое отверстие, но не спасся от кипучего меча Сиунзи Езе. Истребивши до последнего человека всех обитателей юрт, Сиунзи Езе отправился с сестрой к берегу моря и скоро доехал до семисот юрт. Народ в этих юртах праздновал свадьбу, в одной только сидели два старика и вели хвастливые речи. Сиунзи Езе сел в этой юрте и стал прислушиваться к речам стариков. Старик Пангадиода говорил: «Сошлись мы два сильные земли — кто победит нас?». Старик Наразн прибавил к этому: «Высоко на хребте морского берега висит на дереве череп старца Хахонйие**; когда Яльензиен Хабт придет его отыскивать, мы разорвем его в клочки». Как скоро

* Ниже оказывается, что этот человек был один из братьев девушки, хотя в начале песни этого не говорится.

** Под именем старца Хахонйие здесь разумеется отец Хахонйие Хабта, т.е. дед Яльензиен Хабта и Сиунзи Езе. Его убил старец Наразн, а Сиунзи Езе является преднамеренно, чтоб отомстить смерть своего деда, хотя из слов старца и можно заключить, что право мести принадлежало Яльйензиен Хабту, который, без сомнения, был старшим из братьев.

Сиунзи Езе услышал эти речи, он гневно поднялся с своего места и, схватив деракого Нарази, начал махать им, как дубиной, и перебил, таким образом, всех жителей юрт. За сим он снова отправился вместе с сестрою в путь; на дороге на него напали два богатыря и так прижали, что он видел уже смерть перед собой. В тоске он вспомнил, однако ж, что Яльензиеи Хабт когда-то обещал ему в полдня поспеть к умирающему человеку и помочь ему. И в то же самое мгновение свистнул ветер, и Яльензиеи Хабт стоит подле брата. Убив обоих богатырей, Яльензиеи Хабт поручил охранение утомленного брата сестре его и, между прочим, сказал: «Когда он откроет глаза, он пойдет, конечно, куда ему вздумается». За сим песня покидает Сиунзи Езе и сестру его и переходит к Яльензиеи Хабту. Он возвращается домой и находит все юрты разрушенными. Невдалеке от них он видит отца, которого, «как белую куропатку», преследует Сиу Нарази*. Тут Яльензиеи Хабт сказал: «Кто летит быстрее? Лечу ли я быстрее, или стрела летит быстрее?». И с этими словами поспешил на помощь к отцу, схватил его и спрятал в свой колчан. За сим Яльензиеи Хабт и Сиу Нарази начали пускать друг в друга стрелы. И пускают они их безостановочно десятый год, как вдруг является к Сиу Нарази гонец от его брата Езе-меада-йеру (Iese meada jieru — хозяин железной юрты). Гонец сказал, что Езе-меада-йеру хочет, чтобы Сиу Нарази запрягал оленей в сани Яльензиеи Хабта, то есть признал себя побежденным и стал его слугой. Но Сиу Нарази грозит, что не прекратит борьбы, пока будет в состоянии двигать руками. И они продолжают пускать друг в друга стрелы еще десять лет, и в течение этого времени Яльензиеи Хабт мало-помалу пригнал своего противника к самой железной юрте и здесь наконец убил его. Езе-меада-йеру счел бесполезным мстить за своего павшего брата, начал, напротив, просить о пощаде собственной жизни. Яльензиеи Хабт пощадил молящего, который из благодарности обещал выдать за него свою дочь без всякой платы. Сын Езе-меада-йеру дал сестре богатое приданое и сам запрег оленей в сани Яльензиеи Хабта, который за сим и воротился в свои владения с женой и с слугами.

* В отместку за смерть старца Нарази, которого убил Сиунзи Езе, явился избранный племенем убитого богатырь, чтобы убить старого Хахонйяе Хабта.

* * *

Песни этого рода в величайшем уважении у самоедов. С религиозным почти благоговением прислушиваются они к каждому слову, срывающемуся с уст певца. Точно так же, как шаман, сидит и певец на скамейке или на сундуке посередине юрты, а слушатели располагаются вокруг него. В Томской губернии я заметил, что певец старается выразить телодвижениями участие, принимаемое им в своем герое. Тело его трясется, голос дрожит, левой рукой он беспрестанно закрывает глаза, полные слез, а в правой держит стрелу, обращенную острием к полу. Слушатели сидят обыкновенно безмолвно, но когда богатырь погибает или взвивается на крылатом орле к облакам, у них вырывается громкое *хее*, соответствующее нашему *ура*.

Гораздо менее уважаются песни лирического содержания. Они и не переходят из рода в род, но родятся и умирают мгновенно. Полагают, что не стоит помнить их, потому что каждый способен выражать и радость, и горе своего сердца. Сочинение песни самоед не почитает важным делом, но способность спеть ее, и спеть хорошо, для него редкий и высокочтимый талант. Голос и мелодия, по мнению самоедов, — главное в лирической песне, от содержания требуется только, чтобы оно просто и понятно выражало обыкновенные ощущения и представления.

Вот несколько образчиков лирики северных самоедов*.

Плач женщины о смерти мужа

Когда меня выдавали замуж, я горько плакала о разлуке с матерью, пожила несколько времени с возлюбленным мужем — прошло грустное тоскование по матери. Прежде я думала, что нет прощанья мучительнее прощанья с матерью, теперь я думаю иначе. Умер муж мой, и я грущу по нем больше, чем грустила прежде по матери. Муж оставил четырех сыновей, когда-то забуду я их горе и мое собственное? Жизнь моя теперь такова, что одну половину моей тоски стараюсь облегчить слезами, а другую — песнями. Никогда не выйдет мой муж из могилы, никогда уже не увидать мне его.

* В Томской губернии мне не удалось записать ни одной лирической импровизации, потому что тамошние самоеды достигли уже той степени образования, при которой песенное вдохновение приходит уже не всегда, тем менее — по заказу.

Мщение жены

Я бесплодна, и оттого муж мой не любит меня. У всех моих невесток есть дети, и мужья любят их. В их сани мужья запрягают самых лучших оленей, а мой муж отыскивает для меня самых худших. Всякий раз, когда мы вместе едем, мне приходится почти тащить моего оленя за вожжу, а самой идти пешком. Другие братья помогают своим женам на крутых местах, чтобы не опрокинулись, мне же никто не помогает. С горя погнала я однажды моих оленей с горы без удержи, переехала через деревья и разломала сани. Чтобы избавиться напредки от такого наказания, муж стал уважать меня и больше обо мне заботится.

Мщение мужа

Они убили моего друга. Связали его, положили на сани и увезли. Перевезли его через реку и повесили между двух сосен. «Ты жил, — сказал убийца, — в связи с моей женой, а потому и должен умереть».

Свадебная песня

Послушай меня, брат. Дочь мою отдал я твоему сыну с тем, чтоб не брать назад. Смотри, уж жарится в дыму голова оленя*, и потому теперь не допускаются уже никакие перемены. Мы на всю нашу жизнь вступили в родство. Прошу, не обходитесь с моей дочерью строго. Я учил ее жить с мужем хорошо и слушаться его. Моя жена также убеждала ее жить в согласии. За сим мы едем домой, а ты, моя дочь, не смотри вслед за нами и не плачь. Я отдал тебя этому мужу, чтоб ты жила и умерла в его жилье. И вот мы, отец и мать, целуем нашу дочь и говорим ей: «Прощай!».

* * *

Как южные, так еще более и северные самоеды, кроме песен, любят и сказки. Замечательно, однако ж, что большая часть их сказок более или менее заимствованные от других народов. По крайней мере в Томской губернии я не нашел ни одной совершенно туземного происхождения; только некоторые сказки северных самоедов имеют, кажется, свой особный характер. Я не привожу, однако ж, образцов

* Это значит, что олень зарезан и празднование свадьбы началось.

этого рода словесности, потому что это завлекло бы меня слишком далеко.

Что касается до древних обычаев, нравов и учреждений, то в Томской губернии они по большей части уже забыты, и потому мы займемся ими, когда придется говорить о северных самоедах. Здесь же касательно самоедской древности скажу только несколько слов о памятниках, которые во множестве встречаются в Томской губернии и известны под названием чудских могил (самоед. laed). У томских самоедов сохранилось о них следующее предание: «Прежде у отцов наших был обычай погребать мертвых над поверхностью земли. Покойника клали в гроб и с ним вместе клали впоследствии и кое-что из его имущества, как, например, одежды, лук и стрелы, топор, нож, ложку и котел, и т.п. На все это *наваливался земляный холм, потому что боялись иметь* мертвого близко перед глазами, а кроме того, желали и защитить его от диких зверей». Таково общее предание о чудских могилах в Томской губернии; в некоторых местах прибавляли к этому еще, что чудь погребала под одним холмом всех членов семьи. А так как гроба, по рассказам, ставили не рядом, а один над другим, то и холм мало-помалу возрастал до необыкновенной высоты. Некоторые чудские могилы, как говорят, и теперь еще весьма велики, хотя с тех пор они, естественно, должны были значительно понизиться. Из открытий, сделанных в чудских могилах, я слышал только о медных стрелах и человеческих костях и что и те, и другие величины необыкновенной. Так как стрелы, особенно же огромные человеческие кости, а в некоторых местах и самые высокие холмы, положительно приписываются чуждому народу, то и оказывается, что о чудских могилах ходят два различных предания. Одно принимает, что настоящие предки самоедов — именно народ, который русские называют чудью, другое темно намекает на народы исчезнувшие. Первое решительно имеет историческое обоснование, ибо обычай хоронить мертвых над землей существует еще и доныне у северных самоедов, которые, однако ж, сколько мне известно, *никогда не засыпают гроба землей. Для дознания* истинности другого предания, связывающего с некоторыми чудскими могилами память о другом, чуждом народе, необходимо точное исследование содержания этих могил. Такого

же исследования я не мог сделать, потому что проезжал по Томской губернии в самые холодные месяцы года. Опираясь, однако ж, на предание, осмеливаюсь признать возможным, что некоторые чудские могилы, может быть, остатки финских народов. Дознано, что остяки, лопари, финны и другие их соплеменники хоронили своих покойников также в земляных холмах (по-фински Aarnin haudat). Что прежде пришествия самоедов эти народы были туземны в этом краю, этого, конечно, нельзя доказать с совершенной ясностью; тем не менее это весьма, однако ж, вероятно, потому что и до сих пор угорские финны — ближайшие соседи самоедов к северу и, судя по сродству их с самоедами, кажется, пришли сюда, как и они, с юга. Мимоходом упомяну также, что в этом краю можно указать многие названия местностей решительно финского происхождения, но об этом я предполагаю поговорить еще подробнее впоследствии.

После этих замечаний, касающихся преимущественно самоедской старины, приступаю к краткому описанию теперешнего внешнего положения и образа жизни томских самоедов. В этом отношении должно тщательно отличать самоедов, живущих по самой Оби, от тех, которые живут по притокам ее. Первые приняли уже вообще быт русских крестьян и отличаются от них только большей грубостью манер, большей бедностью, ленью, тупоумием и совершенным отсутствием всякого стремления к умственному и хозяйственному улучшению. Они живут в избах, построенных и расположенных по образцу русских, только что они меньше, темнее и, сверх того, холодны, грязны, без всякой необходимой домашней утвари и во всех отношения непрочны, за что русские и называют их юртами. Главнейший промысел как их, так и русских, — рыболовство, которое продолжается круглый год и производится почти таким же образом, как по Иртышу и по Нижней Оби. Здесь туземцы не имеют, впрочем, исключительного права на реку: рыбные места разделены между русскими, самоедами и татарами. Звероловство по Оби не представляет особенных выгод, им занимаются только самые бедные самоеды, которые для этой цели уходят в отдаленные леса (тайги). Как русские, так и самоеды занимаются здесь и скотоводством, но успеху этой отрасли хозяйства сильно препятствуют внешние неблагоприятные обстоятельства, в осо-

бенности ежегодно свирепствующие падежи. Земледелие совершенно неизвестно томским самоедам, хотя климат и не препятствует ему нисколько, по крайней мере выше Нарыма, где многие русские занимаются им. Идти в батраки к русским крестьянам или купцам — последнее средство в крайности, и как остяки, так и самоеды почитают это не лучшим самого тяжелого тюремного заключения. Важный также для томских самоедов промысел — извозничество. Кроме того, между ними встречаются искусные кузнецы, плотники, столяры и другие ремесленники. Уже из этих замечаний видно, что обские самоеды находятся в том же самом положении, в каком и иртышские остяки, о которых я уже говорил подробно.

Что же касается до самоедов, живущих по Тыму, Парабели и другим притокам Оби, то они совершенно сходны с остяками Сургутского округа. Нет никакого сомнения, что в Томской губернии русская образованность укоренилась между туземцами гораздо глубже, нежели в упомянутом округе Тобольской, но когда нужно говорить только о том, что составляет особенность каждого из этих двух народов, то о томских лесных самоедах все-таки придется немного сказать такого, чего бы не было уже сказано о сургутских остяках. Вследствие большей образованности томские самоеды начали, конечно, даже и в отдаленных местах строиться и жить по образцу русских, но юрты все еще продолжают существовать как временные жилища, которыми пользуются во время охоты и рыбной ловли. По Тыму и Верхней Кети русские избы не вошли еще и совсем в употребление; тут до сих пор постоянные жилища торфяные юрты, а временные — берестяные, не говоря о шалашах охотников. Постройкой и прочим юрты самоедов нисколько не отличаются от остяцких. Вся разница только в вышеупомянутой мной форме берестяных юрт.

Народная одежда томских самоедов такова же и так же редка, как и у обских остяков. Верхнее платье состоит из короткой, шерстью наружу, оленьей шубы, распахивающейся спереди; у мужчин она ровная, а у женщин с несколькими складками назади. Обувь также из оленьей шкуры, с длинными голенищами, частью из толстого сукна, частью из мягкой оленьей кожи, которые заменяют панталоны. Рубаха не принадлежит к народной одежде. Головной покров у муж-

чин высокий и остроконечный*, у женщин — плоский и закругленный; первый из мягкого оленьего меха, второй — из беличьего или горностаевого. Год от году уменьшающееся число диких оленей, а вместе с тем и успехи цивилизации заставили как самоедов, так и остяков променять свои меховые одежды из оленьей шкуры на русское платье, которое здесь состоит по преимуществу из кафтана толстого сукна, покроем похожего на самоедско-остяцкую оленью шубу. Русские называют его *зипуном*, самоеды — kundsch или kundje[77]; его носят как у самоедов, так и у остяков оба пола с вышесказанным генерическим[78] различием на спине**.

Как в одежде и жилищах, так точно и в остяцких частях хозяйства сказывается влияние русских на лесных самоедов. В особенности замечательно то, что по Кети, Парабели, Чае и Чулыму местами начинают уже при собаках держать и лошадей, рогатый же скот есть только на Чулыме, а овец нет ни по одному из поименованных притоков. Употребление соли и хлеба, которое у лесных самоедов, смотря по степени их зажиточности, сделалось более или менее общим, *должно приписать также влиянию русской цивилизации*. Впрочем, вообще лесной самоед ест хлеб только в случае, когда у него нет мяса. Северные самоеды едят охотнее сырое мясо, южные же почитают это грехом и потому мясо лосей, оленей, зайцев, белок обыкновенно варят или жарят, а птичье вялят на солнце***. Рыбу едят и сырую, и жареную, вареную, сушеную и соленую****. Других яств, кроме

* Остроконечная форма пользуется у самоедов большим уважением, от того и кумиры их изображаются с заостренным черепом.

** Эту часть одежды носят и финские племена на Волге, но кажется, что *во внутренних областях России она не в большом употреблении*. В Финляндии она опять встречается под названием *tekko*.

*** Томские самоеды не едят ни волков, ни лисиц, ни соболей, ни росомах. По древнему благоговейному уважению к медведю неохотно едят и мясо «леда» (ildshakka, уменьшительное от ildscha, см. выше). Есть даже поверье, что охотник, евший медвежье мясо, будет и сам сожран медведем. Не занимающийся звероловством рискует тут меньше, но во всяком случае строго соблюдается всеми правило не есть медвежатину и рыбу в одно время, потому что от такого смешения в реке пропадает вся рыба.

**** Известно, что все туземные обитатели Сибири употребляют сырую рыбу, отчасти даже и сырое мясо как целебное средство против скорбута. Впрочем, медицинские средства томских самоедов ограничиваются трутом, сассапарилью, которая называется здесь «дорогою травой», нашатырем и несколькими простыми декоктами. Выше всякого врачебного средства почитается непосредственная помощь шамана.

упомянутых, у лесных самоедов немного, да и эти немногие, кажется, заимствованы у русских и татар. Из них следует упомянуть по преимуществу о двух, известных во всей Северной России под названием «бурдука» и «саламаты». Первое — жидкая кашица, варимая на воде; второе — густая, вкусная каша, которая, смотря по обстоятельствам, варится с маслом, рыбьим жиром, налимовыми печенками и т.п.

Сказавши несколько слов о жилищах, одежде и кушаньях лесных самоедов, упомянем вкратце о вседневных их работах и занятиях. На дворе осень, и самоеды сидят в своих маленьких деревушках, занятые каждый приготовлениями к предстоящей охоте. Мужчины куют и столярничают, женщины шьют и пекут. Только что установится зима — вся деревня начинает снаряжаться к отъезду. Каждая семья приготовляет для себя несколько так называемых нарт, то есть маленьких саней, в которые запрягают собак. Эти нарты нагружаются мукой, хлебом, сухарями, крупой, рыбой и другими съестными припасами, одеждой, топорами, ножами, охотничьими снарядами*, берестяной переносной юртой и тому подобным. В них же укладывают и маленьких детей. За сим в каждый нарт запрягают по две, про три или по четыре собаки, смотря по достаткам хозяина. Лошади, бесполезные в эту пору, оставляются в деревне без всякого о них попечения, кроме того, что их снабжают на несколько месяцев запасом сена, которое сваливается в отворенный сарай, служащий вместе и конюшней**. Справив все это, семьи отправляются в леса и пустыни, каждая по своему направлению***. Отец семейства становится в главе поезда, пролагает дорогу своими

* Обыкновеннейшие охотничьи снаряды томских самоедов: a) ружье, b) ручной лук (по-самоед. end), c) западня для белок (по-самоед. lada)[16], d) западня для лисиц (по-самоедски tjapkoa)[17], e) род меча с длинной деревянной рукоятью (по-самоед. teaga), заменяющий рогатину, f) самострел, становимый на землю и снабженный волосяным шнуром, от малейшего прикосновения к которому стрела летит прямо в цель. Этот самострел — снаряд весьма опасный, причиняющий немало бед, от него и я едва не [illegible] жизни.

** Иногда в деревне оставляется сторож, а по Чулыму женщины и дети всегда остаются дома, на охоту же отправляются одни мужчины.

*** Каждое семейство с незапамятных времен имеет свои особенные рыболовные и звероловные участки. В случае же размножения семей старшина, или, так обыкновенно здесь называемый, *князец* (уменьш. от *князь*), отводит вместе с общиной особенный участок, в пределах которого каждое новое семейство имеет неоспоримое право ловить зверей и рыбу.

лыжами и высматривает дичь. За ним по пятам следуют прочие члены семьи, которые также бегут на лыжах, правят собаками и помогают им тащить нарты. Так тянутся они от утра до вечера. Начнет смеркаться, маленький караван этот останавливается, разбивают берестяную юрту, ставят котел на огонь, и утомленные странствованием по лесу путники отдыхают, сидя вокруг согревающего огня. С рассветом караван уже снова в движении. Через несколько дней добираются, наконец, до своего места охоты. Здесь они большей частью находят готовую уже бревенчатую или дощатую юрту прежних годов; в случае же отсутствия ее довольствуются и берестяной. И вот самоед начинает охотиться, бродя по окрестным лесам. Каждый день с утра до вечера он в беспрестанном движении, иногда он и ночует в снежном сугробе. Он стреляет, расставляет и осматривает свои капканы, поднимает зверя и т.п.*. В охоте принимают участие даже женщины и дети, они не отходят, однако ж, далеко от юрты и ловят преимущественно белок. Во время отсутствия родителей малые дети остаются без всякого призору на произвол судьбы, слишком же резвые привязываются в юрте на веревку. Когда под вечер члены семьи возвратятся из лесу и усядутся вокруг кипящего котла, каждый имеет рассказать какое-нибудь с ним приключение, а не случилось ничего — рассказывают и сказки. Так проходят день за днем, неделя за неделей в трудах, нужде и лишениях всякого рода. Перед Рождеством они возвращаются для празднования его в деревни. Рождественские занятия их скорей можно назвать времяпрепровождением, нежели работой. Они ловят рыбу, делают поездки на лошадях, продают добытое близ какого-нибудь кабака и запасаются новыми жизненными потребностями. В конце января или в начале

* Обыкновеннейшие звери в Томской губернии: белка, горностай (колонок), заяц (русак), лисица, лось, северный олень, волк, росомаха, медведь, соболь, выдра, бобер. Соболь попадается только в левой стороне Оби, а лось в северных частях этой страны редок. Лисиц и соболей здесь, впрочем, везде не очень-то много, а бобер исчез почти совершенно. Дикий олень водится в здешней стороне преимущественно зимой, но если осенью выпало мало снегу, то и его бывает мало. Самый выгодный лов — это лов белок, производящийся здесь в таких огромных размерах, что одно семейство ставит на нее до 500 ловушек, располагаемых в несколько небольших кружков. Для приманки каждая ловушка снабжается рыбой. Самоеды жалуются, однако ж, на росомах, которые часто съедают приманку и портят ловушку.

февраля они отправляются снова в леса и остаются там до поры, когда дороги начнут уже портиться. Возвратившись домой, в продолжение короткой весны самоед готовится к предстоящей рыбной ловле. Со вскрытием рек и озер деревня снова пустеет: жители ее плавают в своих маленьких челноках* от берега к берегу, от одного рыбного угодья к другому. На каждом они разбивают берестяную юрту — всегдашнюю спутницу самоеда. Так же, как и остяки, томские самоеды *ловят рыбу сетями, вершами, неводами, крючьями, заколами* и т.д. Рыбная ловля продолжается безостановочно до начала сентября — времени сенокоса, охоты за тетеревами и сбора брусники и кедровых орехов. По окончании этих занятий рыбная ловля продолжается еще до самых морозов. Тут каждая семья возвращается уже домой со сбереженными для собственного употребления запасами сушеной рыбы.

Письма

I

Доктору Лёнроту.
Енисейск, 20 марта (1 апреля) 1846 г.

Письмо твое от 7 января я получил только 24 марта (н. ст.) в Красноярске, где оно, кажется, пролежало несколько времени на почте. С месяц тому назад я написал тебе несколько строк из деревни Молчановой и полагаю, наверное, что они уже дошли до тебя. В таком случае тебе известно,

* Как у остяков, так и у самоедов есть разного рода лодки, наиболее употребительные и оригинальные — челноки из просто выдолбленного пня, эти челноки так легки, что один человек без труда перетаскивает его через сушу. В Томской губернии лодки приготовляются предпочтительно из осины, потому что она легче других родов растягивается; в Тобольской же их делают и из кедра, который почитается, впрочем, гораздо пригоднейшим для лыж. Луки делаются из лиственницы, ложки, чашки и прочая домашняя посуда — из березы. Кстати замечу еще здесь, что для собственной потребы каждый самоед — столяр и все, что нужно для дома, делает сам; томские же самоеды работают и для продажи русским чашки, корыта, ложки, лодки, сани, лыжи, короба и корзины, и т.д. Кузнечное мастерство также весьма распространено между остяками и самоедами, но еще более между тунгусами. Все эти народы умеют также делать и раздувальные меха и все нужные для этого ремесла инструменты. В шитье всех возможных родов женщины так же искусны, как мужчины в прочих ремеслах.

что из Молчановой я отправился в Томск, а оттуда чрез Ачинск и Красноярск в Енисейск, где и нахожусь со вчерашнего дня, ужасно усталый и измученный продолжительным путешествием. Не взирая, однако ж, на то, я думаю на днях ехать далее, верст за 90 к западу отсюда, до деревни Маковской на Верхней Кети. Мне хочется отыскать здесь продолжение кетских самоедов, с которыми я познакомился еще на обской стороне. Во всяком случае я пробуду в помянутой деревне до вскрытия рек, потому что тогда удобнее будет продолжать путешествие в Туруханск. Но довольно о путешествии. Что касается до моего спутника Бергстади, то он думает остаться покуда, да, вероятно, и на все остальное время, в Сибири. Он напрасно увлекался надеждами на русские стипендии, а других пособий не предвидится. Действительно, у него уже начинает проходить охота ехать в Казань, и я с целью удержать его в Сибири уговариваю избрать себе особую, независимую от меня отрасль исследований. Это предположение, по-видимому, нравится ему, но обоих нас берет раздумье в том отношении, что одному ему при его робком характере трудно будет ладить и справляться в такой дичи. Как бы то ни было, я все-таки думаю, что чрез несколько дней мы разъедемся с ним по разным направлениям и съедемся опять не раньше начала июня.

Коллану я теперь не имею времени писать, но так как ты, по всей вероятности, находишься в постоянной переписке с куопиоскими господами, то сделай одолжение — потрудись убедительнейше попросить от меня Коллана, чтобы он не выпускал черемисской грамматики до моего просмотра ее. Это дело убеждает меня, что нельзя печатать ничего, не находясь лично на месте печатания. По этой же самой причине я теперь не хочу и думать о печатании остяцкой грамматики до возвращения в Финляндию. Притом же в ней и не все еще окончено, а теперь мне некогда заняться этим. Как в остяцких, так и самоедских языках вечная мука с темными (dunkeln) гласными, не имеющими настолько определенного и положительного характера, чтобы во всяком случае можно было отличить их надлежащим образом от явственных (offenen). Все чаще это встречается с темным *е*, о сущности и свойствах которого я до сих пор не добился еще окончательного результата. Мне кажется, что каждое *е* без ударения в

окончании слова звучит как *é*, но здесь можно привести много и pro, и contra. Замечательно, что ты открыл и в финском языке следы того же самого темного звука. Мысль твоя о несуществовании в финском языке так называемых *mediae* принадлежит, по моему мнению, к числу самых счастливых, и подтверждение ей можно найти во всех родственных языках. В последнем письме своем я упомянул, что и в самоедском языке после *e* и *i* следуют мягкие, а после *é* и *y* — твердые гласные*. Какое важное сходство! Вообще языки финский и самоедский представляют много общего и в других отношениях, и покуда я еще не знаю ни одного языка в мире, от которого финская филология могла бы ожидать столько помощи, как именно от самоедского. Но теперь я не могу еще распространяться об этом предмете.

О здоровье своем я должен сказать, что во время путешествия оно несколько свихнулось, но я надеюсь, что все пройдет, как только опять спокойно усядусь на месте. Помимо болезни нельзя также ждать ничего доброго и от ссыльных, сшибающих людей с ног одним поворотом ладони. Давно ли по ночам происходили убийства на улицах Томска, Красноярска и Енисейска. Теперь, конечно, не слышно ничего подобного, но все-таки, как смеркнется, боятся показываться на улицу в одиночку и особенно пешком. Впрочем, я твердо уповаю, что все кончится благополучно.

II

Асессору Раббе.
Енисейск, 1 апреля (н. с.) 1846 г.

В честь первого апреля мне непременно следовало бы рассказать тебе какую-нибудь небылицу, но дело в том, что я почти без остановки и отдыха ехал от Томска до Енисейска и нахожусь после этого почти в таком же положении, как человек, которому ввалили добрых сорок палок. Если бы я не был уже закоснелым букво- и словоедом, я решительно ударился бы в изучение искусства спокойно разъезжать на воздушном шаре. Впрочем, самоеды и остяки рассказывали мне, что их предки некогда ездили верхом на орлах[51], и мне кажется, что и в наше время можно бы при-

* Ср. предисловие к грамматике самоедских языков. С. XIV.

думать что-нибудь в этом роде. Правда, что орлы год от года становятся реже, но ведь то же самое можно сказать и о людях. А право, стоило бы испытать верховую езду на орле; к сожалению, в Сибири я не видал орлов, видел только сов. Теперь спрашивается, не можешь ли ты переслать ко мне по почте хорошо выезженного орла из Финляндии? Почтовое ведомство, вероятно, не затруднится отправкой такого важного барина, тем более что при этом имеется в виду благая цель — продлить жизнь бедного страдальца. Не шутя, я боюсь, что скоро лишусь всякой возможности переносить трудности моего сухопутного странствования.

Твои письма и посылки от 24 декабря, 20 января и 10 февраля ожидают меня в Красноярске. Часто я думал и придумывал, на каком бы языке выразить тебе мою благодарность за все целебные бальзамы, которыми ты стараешься подкрепить и поддержать ослабевающую во мне жизненную силу. Шведский язык решительно не годен для этого, на финском, как недавно прочел я в «Morgenblatt», можно только лаять, еврейский язык я забыл, а Graeca non leguntur[82]. Уж не попробовать ли на самоедском? В этом языке нет даже слова *благодарить*, но дай самоеду глоток водки, ломоть хлеба, лоскуток сукна или что бы то ни было, — и он при случае пойдет за тебя на смерть. Я, право, начинаю думать, что вышереченное слово придумано каким-нибудь... желавшим дешевейшим образом отделаться от признательности, и потому совсем не благодарю тебя.

Случится, что Бергстади уедет раньше меня из Сибири, чего, впрочем, теперь не думаю, то я надеюсь в таковом случае справиться и один. Жизнь в Енисейской губернии так дорога, что едва буду в состоянии покрывать неслыханные издержки, которые повлекла бы за собой перемена моего спутника. И потому ни слова больше об этом предмете.

III

Статскому советнику Шёгрену.
Маковская, 2 (14) апреля 1846 г.

Как ни устал я от трудного путешествия, спешу все-таки уведомить вас о том, что я приехал в Маковскую — небольшую деревню в 90 верстах к западу от Енисейска. Если я

скажу, что эта деревня находится посреди дикой пустыни, окружена со всех сторон дремучими лесами и в настоящее время года разобщена почти совершенно от всего остального мира, то это, надеюсь, извинит небольшое уклонение, которое я позволил себе от последних полученных мною предписаний. Все это, по моему мнению, к лучшему; теперь я могу покончить мои исследования томского наречия в связи со всем, что относится к этому предмету, и, как только пройдет лед, начать плавание вниз по Енисею. Последнее обстоятельство особенно важно. Вам, конечно, небезызвестно, что так называемые (Клапротом) енисейцы недоступны большую часть года, потому что живут в дремучих лесах, на пустынных тундрах, по отдаленным озерам, маленьким притокам и т.д. Только раз в году выходят они из своих трущоб и появляются во множестве на берегах Енисея. Это появление совпадает с появлением перелетных птиц. С началом весны енисейские купцы плывут вниз к Толстому Носу с товарами для самоедов, и туземцы ждут их по всему течению реки. Я, конечно, плохо исполнил бы возложенное на меня ученое поручение, если бы не воспользовался таким прекрасным случаем. Но, чтобы воспользоваться всем, надобно было, наперекор вашему желанию, тотчас же проститься с веселыми городами Томском, Красноярском и Енисейском и поселиться на некоторое время в этой печальной стране, дабы покончить, наконец, спор о натско-пумпокольских остяках, причисляемых Клапротом к енисейским остякам[63], а г. Степановым — к самоедам. Если в таких вещах можно полагаться на общие слухи, то Степанов прав; я же, со своей стороны, до сих пор ничего не могу сказать верного, потому что здешний голова не добыл еще из бесконечных здешних лесов ни одного человека этого спорного племени.

Мне следовало бы, конечно, сказать вам несколько слов о моем последнем путешествии из Томска в Енисейск, или вернее из Молчановой в Маковскую, но, к сожалению, оно представило мне слишком мало замечательного. Что по пути встречались мне довольно часто обозы с водкой и с чаем и большие толпы ссыльных, закованных и не закованных; что дороги скверны, почва неровна и гориста и в некоторых местах обнажилась уже; что почти у каждого верстового столба стояло распятие, что оно находилось и на передке

передних саней каждого чайного обоза — все это, разумеется, нисколько не может интересовать вас. Что же касается до народонаселения, то оно на всем пути было чисто русское, только жители Теплой Речки, небольшой деревни в 140 верстах к востоку от Томска, были ссыльные казанские татары. В городе Ачинске я встретил чулымских татар, подтвердивших показания Клапрота, что далее вверх по этой реке самоедов уже нет. Близ Красноярска встретил я совершенно неожиданно несколько так называемых ясачных, живущих при небольшой речке *Каче*; они говорили по-русски, но тем не менее выдавали себя за потомков качинских татар, по словам одного старика, живших некогда по Каче и удалившихся по прибытии русских на юг, на свои теперешние места жительства. Тот же старик сказывал, что еще отец его говорил по-татарски. Считаю нужным упомянуть об этом, дабы устранить возможное предположение о происхождении этих людей от аринов — народа, некогда тут обитавшего, ныне же неизвестного даже и по имени. Число качинцев близ Красноярска простирается до 240 душ мужского пола, все они приписаны к так называемой *Качинской управе*. С 1833 года они платят обыкновенные государственные подати, но от рекрутства избавлены еще. В образе жизни они ничем не отличаются от русских крестьян, но в чертах лица виден еще явственно татарский отпечаток.

Кстати скажу здесь несколько слов и о родственных с ними койбалах, бывших некогда ветвью енисейцев и принимаемых г. Степановым решительно за татар. Г. Степанов сильно нападает на всех, приписывающих койбалам чудское происхождение, но и сам заслуживает еще жесточайших упреков за то, что лишает койбалов возможности вымереть, которую допускает, однако ж, в отношении к аринам, коттам и ассанам[84]. А впрочем, утверждая, что все теперешние так называемые койбалы чистые татары, г. Степанов вполне прав, потому что я встречал многих сведущих людей, которые, подобно ему, не постигали, как можно сомневаться в татарском происхождении койбалов. Теперешний красноярский губернатор присылал ко мне казака, который был родом из Минусинска и утверждал, что знает по-койбальски, как по-русски; он подтвердил их показания, заметив, между прочим, что в языке койбалов точно

так же, как и в языке кизильцев, качинцев и других татарских племен, живущих в Минусинском уезде, существуют разные незначительные отклонения. Я выспросил у него все, что он в этом отношении мог припомнить, и не нашел ничего самоедского.

Вот все мои путевые наблюдения. В заключение позвольте рассказать приключение, не имеющее ничего общего с моими учеными поручениями. Может быть, вы помните мой рассказ об опасностях, которым я подвергался три года тому назад в деревнях Устьцыльмской и Ижме. Упомянув о грузинском князе, спасшем меня в Устьцыльмской от фанатических изуверов, я, кажется, не сказал ни слова о моем ижемском покровителе — г. Якубовиче и о его любезной супруге. Обезопасив мое существование, добрая эта женщина не переставала и затем постоянно заботиться о моем благосостоянии в зырянской пустыне. Просыпаясь поутру, я часто находил у себя на столе горячий белый хлеб, а после предобеденной прогулки — нередко и превосходнейший пирог. Но кто ж станет распространяться о хлебах и пирогах, вспоминая о такой образованной и умной женщине, как супруга ижемского исправника? По всему было видно, что она получила отличное воспитание. Сделавшись женой и матерью, она не ограничилась кухней, но с горячностью предавалась и умственным занятиям. На рабочем ее столике почти всегда можно было найти развернутую книгу. Особенно любила она читать книги поэтического, религиозного и исторического содержания, для своего сына она сама составила даже курс арифметики, русской грамматики и друг. Страстно любя свою родину, она тем не менее почитала Наполеона благодетелем человечества и со слезами на глазах приводила некоторые черты из жизненной драмы этого великого человека. Разговор ее был увлекателен, но, кроме того, она обладала еще способностью излагать свои мысли и на бумаге так хорошо, что некоторые из ее писем печатались в «Архангельских губернских ведомостях». Эта редкая женщина выросла и воспиталась на берегах Енисея в городе Красноярске. Здесь овладел ее сердцем молодой красивый поляк г. Якубович и перевез ее потом из родительского дома в пустыни Удории[55]. Вот все, что узнал я в Ижме о прежней судьбе ее. Приехавши в Красноярск, я,

разумеется, начал о ней расспрашивать и не разузнал еще ничего, как в один прекрасный день входит седой старичок в кафтане, называет меня по имени и подает письмо, только что им полученное, и от кого бы вы думали — от его дочери, супруги ижемского исправника. Я пробегаю письмо и нахожу, к великому изумлению своему, что оно написано ко мне. Три года тому назад я сообщил ей план своего путешествия, и она, рассчитав, что именно около этого времени я должен находиться в Красноярске, написала к отцу, чтоб он принял участие в бесприютном страннике. Замечательно, что письмо, написанное в Холмогорах, следовательно, проехавшее более 6000 верст, пришло в Красноярск за несколько часов до моего приезда в этот город, но еще замечательнее то, что отец госпожи Якубович был ссыльный крепостной человек, употребивший на воспитание дочери все достояние свое, добытое необыкновенной предприимчивостью и оборотливостью.

Что касается до моего здоровья, то переезд в 1000 верст с залишком, разумеется, порасшатал его несколько, но я надеюсь, что вскоре оправлюсь. Товарищ мой, которому бы следовало быть уже в Анциферовской волости, для изучения языка енисейских остяков, как слышно, изменил свой план и живет в окрестностях Енисейска. Отчет мой о самоедах Томской губернии почти кончен, но за дурными дорогами я не могу его отправить раньше моего возвращения в Енисейск в половине мая. Более на этот раз мне нечего писать...

P.S. Еще не успел я запечатать письма, как явился ко мне здешний голова с одним из пумпокольских остяков. Из первых же расспросов я узнал от него, что туземцев, принадлежащих к Натско-Пумпокольской волости, только 24 души мужского пола и что они действительно настоящие самоеды, по языку весьма мало отличающиеся от томских. Итак, список слов Клапрота ложен. Но откуда же он взял его? Слух о том, что Бергстади переменил план своего путешествия, оказался несправедливым. Желаю, чтоб он был счастливее меня относительно толмача: приведенный теперь ко мне оставил в лесу жену и детей, которые непременно умрут с голоду, если он не воротится к ним через две недели. Итак, в течение этого короткого времени я должен пройти

весь курс пумпокольского наречия, потому что отыскать другого в настоящее время года нет никакой возможности. И этого отыскивали целых десять дней, а между тем дороги ежедневно становятся хуже.

IV

Асессору Раббе.
Маковская, 3 (15 апреля) 1846 г.

Я живу здесь ровно $4^1/_2$ часами раньше тебя, а теперь ровно 6 часов утра, следовательно, по всей вероятности, я тревожу тебя в самом сладком сне. Да послужит же мне извинением в этом то, что я сам подвергся тому же: возвратившийся с самоедом староста разбудил меня, несмотря на ночное время, но так как он отправляется в Енисейск тотчас же, то и не могу написать тебе многого. Не знаю, найдется ли в прилагаемом письме к Шёгрену что-нибудь для помещения в «Morgenblatt». Впрочем, отчет для «Suomi» уже готов, он в десять листов и касается финско-самоедских вопросов. Между прочим, в нем две самоедские саги и несколько песен в прозаическом переводе. По моему мнению, он будет весьма соответствующей статьей для нашего журнала. Надеюсь, что в июле он уже будет в твоих руках. Благодарение богу! Бергстади теперь на Енисее посреди остяков, где ему не придется терпеть нужду. Желательно только, чтобы он так вполне приохотился к филологическим разысканиям, к которым до сих пор не обнаруживал особенной наклонности. Чрез несколько недель, вероятно, догоню его, и тогда мы отправимся вниз по реке прямо в Туруханск — местность, одно уже название которой заставляет содрогаться даже и самоедов. Мне все сдается, что этот Оркус лишит меня жизни; впрочем, «зайдет солнце на пророки» — говорит пророк Михей (гл. 3, ст. 6). Но, чтобы ничего не иметь на совести, ты, верно, будешь так добр, что не прекратишь присылки газет и другой пищи по крайней мере для моей души, так как она, по одному древнему изречению, «благороднейшая часть человеческого тела».

Поклонись моим друзьям Виллебранду, Р. Тенгстрему и другим и попроси их хорошенько, чтобы они уж лучше в этот-то год писали ко мне почаще, потому что в следую-

щем, вероятно, снова попаду «ihmisten ilmoihin» (в среду людей). За сим желаю тебе приятного продолжения сна.

V

Лектору Коллану.
Енисейск, 8 (20) мая 1846 г.

Несколько дней тому назад я возвратился в Енисейск из небольшой лесной деревушки (Маковской) при реке Кети, где я провел несколько недель в изучении самоедского наречия, которое до сих пор считалось енисейско-остяцким. Этим заканчиваются мои исследования в обьской речной области, и я готовлюсь теперь к предстоящему мне новому ряду поездок по Енисею. Полагают, что Ангара вскроется на этих днях, и только что тыл мой освободится ото льдов, я тотчас же сажусь в лодку и пускаюсь вниз по реке в страну туруханских тундр — давнюю цель моих помыслов. В этой самоедской Пойоле (северной стране) я проведу лето, осень и большую часть зимы, если только здоровье и силы позволят это. Говорят, что еще ни один приезжий не заживался в Туруханске. Но подобные опасения едва ли когда-нибудь отвращали ученого путешественника от требуемой его исследованиями поездки.

Пока я жил среди лесов, Бергстади пребывал на берегах Енисея в деревне Анциферовой и занимался изучением языка, который хотя и слывет остяцким, но, вероятно, принадлежит другому, большей частью уже вымершему племени[86]. Так как подобное исследование его потребовало бы больше времени, нежели сколько я могу уделить на это из назначенных мне трех лет, то Бергстади и изъявил готовность не оставить меня своею помощью в исследовании этого бедного языка, готового сойти в могилу без имени и крещения. Предполагавшаяся поездка Бергстади в Казань не состоялась, потому что не получил необходимого для нее вспомоществования. Бергстади рассчитывал на одну из русских стипендий, но эти стипендии выдаются теперь только будущим учителям русского языка. Цель же поездки Бергстади была совсем другого рода. Тебе, вероятно, известно уже, что казанский край кишит финскими племенами, каковы, например, чуваши, черемисы, вотяки, мордва, не говоря уже об отатарившихся башкирах. Тут же жили и вымершие, но все-таки

важные для исторического исследования болгаре. Здесь есть и природные татары, и буряты (монголы), и, сверх всего этого, при университете находятся отличные, известные даже Европе профессора языков тюркского, монгольского и даже манджурского. На всем земном шаре я не знаю места, более удобного для сравнительного изучения финского языка. В этом убедился и Бергстади во время нашего пребывания в Казани в прошлом году, и еще в то же время пробудилось в нем желание сделать этот город на некоторое время местом своих занятий. Он не только рассчитывал получить стипендию на этот предмет, но еще надеялся, что другие земляки его, увлеченные тем же интересом, последуют его примеру, и что, таким образом, пребывание его на чужой стороне облегчится совокупностью занятий. План Бергстади, как я уже сказал, не осуществился, но все-таки желательно, чтобы другие по крайней мере попытали то же самое.

Нынешней весной я страдал грудью, но теперь опять дышу легче. Поклонись Шнельману и другим друзьям в Куопио.

VI

А.И. Шёгрену.
Енисейск, 16 (28) мая 1846 г.

Я только что возвратился из Маковской и с нетерпением ожидаю петербургской почты, которая давно уже задержана распутицей. Если она через несколько дней не подойдет, придется отправиться, не дождавшись ее, потому что здешние купцы начали уже выезжать на остяцкие ярмарки.

Какого порядка буду я держаться в моих поездках нынешними летом — не могу еще сказать определенно, потому что здесь, в Енисейске, невозможно собрать точных сведений, необходимых для составления подробного плана путешествия. Многие советуют мне распорядиться так, чтобы *в начале июля был на Туруханской ярмарке, куда, говорят,* съезжаются самоеды даже с берегов Таза. Последую этому совету — придется отложить изучение енисейско-остяцкого языка до возвращения из Туруханского края; это, впрочем, было бы и недурно, потому что в таком случае мне будет можно покончить мои занятия самоедским языком

без всякого перерыва. Покуда я держусь этого плана, но с правом изменить его, если этого потребуют обстоятельства.

В последнем письме я, кажется, упомянул уже, что так называемые натско-пумпокольские остяки не знают ни одного из тех слов, которые Клапрот приписал им в своих таблицах, и говорят языком самоедов, живущих ниже по Кети. Если б я мог это предвидеть, то отложил бы поездку в Маковскую и посвятил бы все время распутья изучению языка енисейско-самоедского. Таким образом я, может быть, избавился бы и от грудной боли, порожденной суровым лесным краем, которая, впрочем, прошла уже. Как бы то ни было, эта поездка сделана, и не совсем без пользы, потому что ею исправлены промахи Клапрота. В оправдание его можно привести одно только предположение, что некогда остяки жили и по Кети. Кетские самоеды ничего подобного не знают, но спутник мой Бергстади записал в Анциферовской волости одно предание, которым это предположение как бы подтверждается. Один старый остяк рассказывал ему, что из пяти племен, принадлежащих к Тымской волости, четыре переселились от источников Енисея, пятое же — от Кети, почему и называется также Tym-de-get, т.е. «народ (Ket) от Кети (Tym)[57]». Замечательно также и то обстоятельство, что кетские остяки вовсе не знают названия Натско-Пумпокольск, последнего же слова даже и выговорить не могут. Так как оно, однако ж, нерусское, то для объяснения его и остается только одно средство — приписать его остякам. Странно еще и то, что на карте Познякова означены деревни Натск и Пумпокольск, хотя в действительности они уже и не существуют. Русских деревень ниже Маковской только две — Ворошейка и Монастырь; первая из десяти, а последняя — только из трех дворов. Остяцкие юрты между Монастырем и енисейской границей разбросаны в пяти разных местах и именуются Мергайге, Кан-куль-то, Кет-ике, Марга и Пуръюнго.

Путевые отчеты

I

18 (30) мая 1846 г. простился я с богатым золотом городом Енисейском и в небольшой открытой лодке поплыл вместе с товарищем моим вниз по Енисею в страну туруханских

тундр. На реке уже вовсе не было льда, но на берегах лежали еще колоссальные ледяные массы (торосы), подымавшиеся то в виде остроконечных башен, то отвесными стенами, омываемыми волнами реки. В воздухе было сыро и холодно, небо почти постоянно облачно; резкий северо-восточный ветер дул беспрестанно и временами наносил дождь, снег и град. Деревья стояли еще без листа, а на серых лугах кое-где виднелись уже кучки желтого лютика, лиловых фиалок, бледных анемонов и звездчаток. Всюду: и на суше, и воде — царствовало гробовое молчание. Был Троицын день, но здесь, в сердце Сибири, оно прорывалось вместо колокольного звона, призывающего набожных поселян в храм Божий, только внезапным появлением из-за кустов какого-нибудь заводья остяцкой лодки, редким криком кукушки или журавля, плеском волны, разбивающейся о ледяные берега, да разнообразно вторящимся треском обвалывающихся торосов.

Говорят, что берега Енисея в верхнем течении его живописны. И ниже Енисейска мы встречали прекрасные местности, какова, например, знаменитая горная теснина при впадении Средней (Подкаменной) Тунгуски, но красоте здешней природы вообще сильно вредит обыкновенное однообразие дичи. Взор путешественника встречает всюду все те же леса, те же возвышенности, те же скалы, те же берега, те же водные поверхности, те же ледяные глыбы. Пока едешь по золотоносной части енисейских стран*, кое-где встретишь еще богатую деревню, но дальше деревни все реже и состоят по большей части из маленьких, грязных, полуразвалившихся лачуг, в которые невозможно войти без отвращения. Кроме того, в этой стране необыкновенно как холодно и морозно. Не знаю, откуда происходит этот холод: из воды ли, из воздуха или из сердец людских, верно только то, что даже в половине июня надо кутаться в шубу и между станциями заползать в остяцкие юрты, чтоб отогреться.

Но для меня эти неприятности несколько вознаграждались обращением с весьма, конечно, малочисленным, но зато чрезвычайно разнообразным вольным и невольным народо-

* Известно, что богатейшие в Сибири золотые прииски находятся в Енисейском округе, между Верхней и Средней Тунгусками, в речных областях Удерея и Пита. Здесь до 120 золотопромывален, разбросанных по одному направлению с Енисеем, и почти в одинаковом от него расстоянии.

населением енисейских берегов. В Енисейске я вращался в кругу русских из Петербурга, Москвы, Украины и Сибири, бродящих по всему свету сынов Германии, татар, евреев и киргизов; через день по выезде из него я беседовал в Анциферовой с образованными поляками, имевшими здесь главное свое пребывание; на третий — я сидел в остяцкой берестяной юрте и, развеселив от природы молчаливых обитателей ее водкой, чаем и табаком, провел несколько приятных часов в дружеском разговоре с этим добрым и простым народом. На следующее утро, когда я спал еще в лодке, меня разбудили пушечные выстрелы. Открываю глаза и не вижу ничего, кроме двух небольших деревушек, расположенных друг против друга по обоим берегам реки. Гребцы объяснили мне, что одна принадлежит золотопромышленникам реки Пита, устроившим для удобства сообщения несколько контор на берегу Енисея против деревни Назимовой. Причину же пушечных выстрелов объяснил мне русский календарь именами Константина и Елены, напечатанными курсивом под 21 числом мая. Один из гребцов сказал мне, что деревня золотопромышленников называется Ермаковой, потому что Ермак был первый золотопромышленник Сибири. Другую золотопромышленную деревню — Лопатинское село — мы уже проехали.

Через два дня за сим прекрасным июльским утром прибыли мы к устью реки Сыма. Тут не было ни золотопромышленнических контор, ни русских изб, но были жилья, которые, несмотря на бедность их, не могли не обратить на себя внимание путешественника. Два князька — тунгусский и остяцкий, — каждый во главе своего племени, спустились вниз по Сыму и расположились при его устье. По старому обычаю они ежегодно собираются сюда для платежа подати в казну и для продажи мехов енисейским купцам. Ярмарка еще не началась, но берестяные юрты были уже поставлены. Довольно значительное расстояние, отделявшее юрты остяков от юрт тунгусов, показывало, что и доселе еще продолжаются раздоры между двумя этими племенами, столь различными по языку, обычаям и религии*. Близ остяцких юрт

* Подобные сборные, или ярмарочные, места (*сулланные жестя*) есть еще при устье рек Дубчеса и Подкаменной Тунгуски, в селе Имбатске, в городе Туруханске и т.п.

толпились мужчины, женщины, дети и собаки; близ тунгусских виднелись, напротив, только мужчины. Это объясняют тем, что тунгусы имеют небольшие стада оленей, для охранения которых должны оставлять жен и собак дома. Остяк же — человек вольный, его имущество ограничивается женой, детьми, несколькими собаками, лодкой и берестяной юртой — предметами, которые он без затруднения может взять с собой на ярмарку. Кроме того, у берега виднелось множество енисейских ладей, стругов и барок. Лодки туземцев лежали кверху дном на самом берегу, одни были выдолбленные пни, другие берестяные или лубочные; первые принадлежали остякам, последние — тунгусам. Вокруг юрт, кроме одежд и съестных припасов, было навалено множество коробов, ящиков и всякой домашней утвари, большей частью из бересты с разными хитрыми украшениями. На стенах юрт висели луки, стрелы, топоры и ножи, а у входа почти в каждую тунгусскую юрту торчал обнаженный меч, или так называемая Paljma[48], воткнутый рукояткой в землю.

Между тем как я рассматривал все это, вокруг меня собралась мало-помалу большая толпа тунгусов. Они с любопытством глядели на меня, пересмеивались и, по-видимому, очень удивлялись очкам моим. И я, со своей стороны, с не меньшим удивлением смотрел на желтые их лица, на дуговидные татуированные украшения их выдающихся скул, на длинные, перевитые бусами косички позади темя и на весь весьма оригинальный костюм их. Самое в нем замечательное было нечто вроде фрака или куртки из замши или из невыделанной оленьей шкуры. Эта часть одежды, обыкновенно украшенная множеством бус, суконными полосками, конским волосом и т.п., так узка, что с трудом застегивается. И тунгусская мода, как наша, требует, чтобы грудь оставалась открытой, дабы вполне был виден убранный бусами нагрудник. Голову сымские тунгусы прикрывают маленькой круглой татарской шапочкой, почти сплошь унизанной бисером. Коротенькие, до колен, штаны их и башмаки были из тонкой замши, последние красовались еще бисерным шитьем. С одного плеча опускались привески из бус с бисерным кошельком для кремня, трута и огнива.

В этом легком и в своем роде красивом костюме тунгусы вращались с ловкостью, резко отличавшейся от неповоротливости и неуклюжести остяков, одетых в оленьи или заячьи

шубы. Но зато последние решительно выигрывали лицами в которых было более татарского, нежели монгольского, и которые притом не безобразились татуировкой. Судя по выражению лица, можно заключить, что тунгус несколько хитер и расчетлив; остяк же, напротив, простее и добродушнее. Эти свойства обнаруживаются и в самом обращении. Но мы вскоре возвратимся к этому предмету, а теперь пойдем к князькам, вышедшим из своих юрт.

Тунгусский князь, само собой разумеется, был разряжен во вкусе своего народа; остяцкий же — в простой шубе с прожженным задом. Первый подошел ко мне с большим достоинством, снял шапку и протянул концы пальцев, второй приветствовал меня простым рукопожатием. За сим оба они взяли меня под свое благосклонное покровительство, стали один по одну, а другой по другую сторону меня и таким образом повели в юрту тунгусского князя. Толпа остяков и тунгусов пошла за нами, но в юрту князь пригласил только нас — путешественников, остяцкого князя, несколько старшин и своих ближайших родственников. Княжеское жилище составляла обыкновенная юрта из оленьих шкур, с земляным полом и несколькими камнями, ограждавшими место для огня. Князь велел разостлать на пол несколько оленьих шкур, и все присутствовавшие уселись на них вокруг пылавшего огня. Тут мне представился случай вглядеться ближе в особенности тунгусской сущности и характера. Все речи их отличались редкими у туземцев благоразумием и витиеватостью, но как только я случайно заговаривал о ловле соболей, тотчас же раздавались со всех сторон восклицания: «Батюшка, батюшка, ваше благородье», и все единогласно принимались уверять меня, что с незапамятных времен соболи вывелись уже совершенно, хотя и известно, что именно ловля соболей — значительный промысел сымских тунгусов.

С помощью сибирского талисмана — водки — мне удалось, однако ж, несколько расшевелить недоверчивые сердца тунгусов, и некоторые начали довольно откровенно рассказывать свои лесные похождения. Один из собеседников снял даже одежду и показал мне рубцы тринадцати ран, полученных им в борьбе с владыкой леса медведем. Он погиб бы непременно, если б подоспевшие собаки его, отвлекши внимание медведя, не дали ему возможности убраться в безопасное место. На по

добные рассказы тунгусы довольно еще тороваты, но за все мои расспросы об их нравах, обычаях и языческих верованиях отвечали упорнейшим молчанием. Зато устроилась пляска перед юртой под звуки очень приятной и мелодичной песни. Плясуны — молодые парни, взяв друг друга за руку, сдвинулись в круг так тесный, что невозможно было разглядеть ни одного отдельного лица, ни одного отдельного движения: казалось, не лица, а какая-то незримая механическая сила приводила весь этот круг в мерное движение.

За сим тунгусы показали еще образцы своей ловкости в следующей игре. Два человека, взяв веревку каждый за конец, начали кружить ею из всей силы по воздуху, наблюдая при этом, чтоб она никак не касалась земли. Третий с голыми ногами, перепрыгивая через нее, поднял с земли лук и стрелы, натягивал лук и стрелял, и во все это время веревка ни разу не ударила его по ногам. Рассказывали, что *есть смельчаки, прыгающие таким образом и через остр*ие пальймы (Pal)ma), которой кто-нибудь, лежа на земле, машет изо всех сил. Но самые трудные или по крайней мере самые удивительные вещи проделывают шаманы при магических обрядах своих, но мы отложим рассказ о них до другого случая.

От тунгусских юрт остяцкий князь повел нас к своим. Тут тотчас повеяло на нас добросердечием, веселым и искренним радушием, почти обычным в низких хижинах и под лохмотьями. Стоило взглянуть, с какой искренностью приветствовали нас в своих бедных юртах старики низкими поклонами. Женщины и кто помоложе обнаруживали это привязыванием собак, выметанием юрт, наряжаньем. Наряжанье состоит главным образом в расчесывании и заплетении волос. В будни волосы у остяка висят в диком беспорядке по плечам, лбу и самому лицу, но в торжественных случаях их обыкновенно расчесывают и подбирают — мужчины в один пучок, а женщины в две плетеные косы, спускающиеся по щекам. Кроме того, мужчины надевают лучшие свои заячьи шубы, а дочери Эвы — пестрые длинные рубашки с небольшим воротником, застегивающимся на груди. Князь нисколько не заботится, однако ж, о туалете, не переменяет своей шубы с прожженной спиной, извиняясь неимением другой, потому что в прошлую зиму добыл всего только 150

белок, 4 соболя да несколько лисиц, волков и диких оленей. Лов действительно небольшой, если возьмем в соображение, что в Енисейском округе пуд муки стоит 5 рублей ассигн., то как не извинить нескольких дыр на шубе. К тому же остяцкий князь — прекрасный рослый мужчина, лицо у него такое благородное и доброе; войдем же в его юрту и познакомимся с его семейством. Дряхлый старик, отец князя, сидит за очагом и бормочет какие-то наставления; несколько подалее, в уютном уголку, сидит княгиня, которая, чтобы скрыть свое смущение, произведенное нашим приходом, тотчас же принялась ласкать своего малютку. И она, хоть и княгиня, в простой рубашке, без всяких украшений, кроме простоты сердечной. Я занял указанное мне место по правую руку очага рядом с князем, который втихомолку потягивал из бутылки с водкой, вверенной мною его попечению.

Когда водка несколько порасшевелила врожденную остякам флегму, князь начал рассказывать мне о своих похождениях и бедствиях в течение прошлой зимы. Бедный трудился изо всех сил и все без толку. Вместо того чтобы спокойно валяться в своей торфяной юрте, он с первым же снегом отправился в лес. Скитаясь по полям и дебрям, он даже и берестяную свою юрту разбивал лишь в случае крайней необходимости, обыкновенно же и ночи проводил под открытым небом на снегу. Можно себе представить его горе, когда, пробродив целый день и не добыв даже и какой-нибудь куропатки, он возвращался к жене, ожидавшей его у разложенного огня. Небольшой запас муки и сушеной рыбы вышел прежде времени, и часто приходилось им питаться мясом волков и других хищных зверей. Для перенесения таких бедствий потребно, конечно, своего рода геройство.

Когда князь кончил повесть о бедствиях настоящего времени, отец его начал говорить о временах прошедших, когда лисицы выскакивали из каждого куста и в каждом пне попадались соболи. Рассказы старика ясно показывали, что для него и собственная его юность преобразовалась уже в сказочный сон, потому что, кроме удивительных ловов соболей, которые всякий раз попадались ему в таком же количестве, как рыба в самый удачный лов, он рассказывал вместе с тем и о странствовании богов по земле, о полетах шаманов по воздуху, о явлениях духов, о борьбе волшебников так подробно, как

будто сам был очевидцем всего этого. В рассказах о религиозных понятиях его отцов было много интересного; на основании их я замечу здесь только, что енисейские остяки, хотя и христиане, все еще чествуют три могущественных божества: 1) бога неба, именуемого Es, 2) подземное божество женского рода по имени Imlja и 3) бога земли — *медведя*[48]. О сем последнем остяк думает, что он не зверь, как все прочие, что звериная шкура его — только покров, под коим скрывается существо, имеющее человеческий вид и одаренное божеской силой и мудростью. Такое же представление господствует и между тунгусами, самоедами и всеми финскими народами; енисейский остяк сверх того почитает медведя и стражем всего низшего мира духов. Это значение медведь разделяет с Имлей, которая так же, как и он, кажется, подчинена, однако ж, богу неба.

После этой краткой отлучки в область прошедшего возвратимся к настоящему и пойдем смотреть на стрельбу из лука, на которую приглашают нас молодые сыновья князя. Молодежь выстроилась уже на поле в ряд и жилистыми руками пробует тетивы луков. За ними стоит ряд цветущих девушек, пришедших смотреть на эту забаву. Весьма вероятно, что многие из парней, попадая железной стрелой в указанную отдаленную ледяную глыбу, попадали другой, нежнейшей, в сердца молодых девушек, и на самом деле едва ли последняя цель не была настоящей. Стрелы пускались и вверх, на воздух, и там гонялись одна за другой, как соколы. С восторгом следили девушки взорами за каждой ловко пущенной стрелой и приветствовали счастливого стрелка протяжным: hee! Как приятно отдавался этот одобрительный крик в ушах парня, показывала краска, выступавшая на щеках его. По окончании игры я ждал олимпийской раздачи наград, но оной не последовало, только мне, ничего не делавшему, сыновья князя подарили две стрелы. Впрочем, в основе было, может быть, что-нибудь олимпийское в хороводной пляске, начавшейся затем тут же. Она была совершенно подобна тунгусской, с той только разницей, что в ней участвовали и девушки, составляя, однако ж, отдельный полукруг, потому что северное целомудрие не дозволяло им соединить свои руки с полукругом мужчин. Вследствие этого во все продолжение пляски между двумя полукругами виднелся постоянно промежуток.

Я пробыл здесь два дня и затем продолжал свое путешествие с немногими перерывами до Туруханска. Берега Енисея населены попеременно русскими и остяками; первые имели избы и дворы, а последние только лодку и берестяную юрту. Все показывало, что, миновав устье Сыма, мы выехали уже из благословенной золотоносной области. Не говоря уже о бедственном положении остяков, даже и русские находились в такой нищете, что прикрывали наготу свою пестрыми остяцкими лохмотьями. Почти во всякой деревне виднелись покинутые, развалившиеся избы, да и жилые-то по большей части были жалкие лачуги с крошечными оконцами, со слюдой вместо стекол, с деревянными трубами и с плоскими, низкими крышами, поросшими разными тайнобрачными растениями — единственными садами деревни. В этих лачугах я заставал обыкновенно только больных и дряхлых, потому что способные к работе занимались рыбной ловлей по берегам Енисея*. Сии последние живут в это время в берестяных юртах, в шалашах из хвороста или просто на берегу под открытым небом. В рыболовное время по образу жизни они мало отличаются от туземцев. По крайней мере я видел сам, что всякий раз, как вытянут сеть с рыбой, они тотчас же распластывали несколько живых рыб и тут же, как чайки, съедали их без хлеба, без соли и без всякой приправы. Говорят, что употребление сырой рыбы предохраняет от господствующего здесь скорбута, но я не думаю, чтобы русский сибиряк только из одного этого оставил свою так глубоко им чтимую хлеб-соль. Настоящая, действительная причина этого — нужда, потому что Енисейский Север, некогда благодаря обилию разного рода зверей почитавшийся благословенным краем Сибири, в настоящее время повержен в глубокую нищету размножением

* В северной части Енисейского округа рыболовство — главный промысел. К северу от города Енисейска земледелием занимаются весьма мало. Во всей Анциферовской волости, которая простирается от устья Кеми на юге, до Низерояского зимовья на севере, т.е. верст на 600 в длину, распахивается никак не более 1000 десятин. К северу от Назимовой рожь уже не сеется, и Ворогова — последняя деревня, в которой сеют ячмень. Разведение картофеля простирается до Имбатска, реже же, редьна и капуста родятся даже и в Туруханске. Главным препятствием для успехов земледелия, кроме суровости климата, полагается бесплодие земли по правой стороне Енисея и низменное, подверженное наводнениям положение левой стороны. Кроме того, говорят, что левая сторона болотиста и во многих местах совершенно бесплодна, так что селянину часто приходится сеять хлеб в 40 или 60 верстах от берега реки.

золотых приисков и развившейся отсюда дороговизной всех жизненных припасов. Отдаленный и бедный продуктами Туруханский край, которому золотые прииски не могут доставить никакого существенного вознаграждения, страждет от них наиболее. Чтобы спасти жителей его от голодной смерти, правительство решило снабжать их пищевыми средствами в продолжение всей зимы, конечно, заимообразно, но едва ли они когда-нибудь уплатят этот долг.

Эти государственные нищие образуют особенный микрокосм, не лишенный интереса для наблюдательного путешественника. Тут он встретит и русских, и поляков, и тунгусов, и т.д. В религиозном отношении здешнее народонаселение разделяется на два главных класса: к одному принадлежат православные греко-российские исповедания, к другому — духоборцы, скопцы, раскольники, католики, протестанты, евреи, магометане и все поклонники самоедского, остяцкого и тунгусского верований. Православные — большей частью люди, которых в Сибири обозначают именем *несчастных*, т.е. сосланные за воровство, контрабанду, побеги и другие преступления. Между ними попадаются и такие, которые, если только верить им, были господами и имели поместья; большая же часть ссыльных в Туруханском округе — из крепостных. Но теперь, несмотря на прежнее различие состояний и отношений, они все почти совершенно равны, потому что несчастье имеет свойство уравнивать все внешние отношения. Но зато в нравственном отношении оно действует весьма различно: иных оно украшает, других, напротив, ожесточает. Грубые преступники обыкновенно обнаруживают холодность, равнодушие и закоснелость, часто жалуются на несправедливое решение и вместо смиренного раскаяния наглы и дерзки. Те, которые не совсем еще закоснели в школе преступления, мягче, порядочнее и постоянно тоскуют по родине. Религиозные преступники несут, разумеется, крест свой терпеливо: они считают себя мучениками за веру и ожидают за свои страдания награды в той жизни. Из них особенно замечательны духоборцы. К ним невольно привлекает сама физиономия их, которой они резко отличаются от большей части остальных жителей этого края. Красивые лица их не обезображены даже морщинами и складками, отмечающими обыкновенно преступника. У духобор-

ца чело постоянно ясное, открытое, он часто подымает мечтательные взоры к небу, часто видите вы его тихо молящегося в обширном храме природы, единственном, который у него есть и который он признает храмом. Во внешнем обращении он тих, прост и молчалив. Он не хвастает, подобно остальным ссыльным, своим прежним и не унижается до низкопоклонничества и льстивых речей, которые так приторны в устах природного сибиряка. Он чрезвычайно трудолюбив, гостеприимен без расчета, услужлив и послушен во всем, что не касается до его религиозных убеждений.

Расчетливостью и трудолюбием он даже и в Туруханском крае добивается до благосостояния, которого не знают остальные поселенцы, рассчитывающие на скорое освобождение и потому живущие день за днем. Последние, кроме жалкого жилья, не имеют почти ничего необходимого не только для удовольствия, но даже и для удобств жизни. У духоборцев, напротив, найдешь много и такого, что никак не ожидаешь встретить в этих странах. Упомяну только об их садиках и огородах, богатых прекрасными корневыми растениями, цветущим маком, астрами, геранями и т.д. Более нежные растения они держат в горшках, и я не раз любовался, глядя, как какая-нибудь бедная ссыльная девушка с нежностью ухаживает за своими цветками, которые, подобно ей, перенесенные под холодное небо севера, вянут и блекнут.

В пустыне, в которой мы теперь находимся, путешественнику чрезвычайно трудно отыскать себе покойный угол, удобный для литературных занятий. Даже и духоборцы, несмотря на свое трудолюбие, живут в низеньких хижинах, потому что в Туруханском крае честный труд селянина едва-едва приносит и столько, сколько нужно на удовлетворение самых необходимых житейских потребностей, куда ж тут думать о постройке порядочного дома. Есть, конечно, и тут два или три зажиточных крестьянина, занимающихся торговлей, у которых есть и лишняя комната, убранная зеркалами, иконами и чайным прибором, но я тотчас же убедился, что она только для показа, а отнюдь не для гостеприимства.

При таковой бесприютности какой радостью преисполняется сердце путешественника, когда наконец при впадении Нижней Тунгуски он завидит стены монастыря. Естественно, он надеется, что вот здесь-то он положит свой стран-

нический посох и отдохнет от всех трудностей. Но и эта надежда обманывает, ибо в старом развалившемся монастырском здании едва находит себе убежище и седовласый наместник. За сим путешественнику остается только одно пристанище — страшный Туруханск, до которого отсюда только верст тридцать. Чтобы рассеять тоску, возбуждаемую близостью этого города, займемся на пути к нему легендой, прославившей оставляемый нами монастырь.

В своих записках о Енисейской губернии Пестов начинает эту легенду, очевидно, неверным известием, что город Туруханск, или Мангазея, как он прежде назывался, в 1600 году находился в 400 верстах дальше к северу на берегу Енисея, там, где в настоящее время находится село *Хантайка**. В то время, говорит Пестов, город этот был в цветущем состоянии и имел много жителей. У одного из богатейших купцов города жил в приказчиках герой легенды Василий по прозванию Мангазейский[20]. Так как это был человек набожный, верный и честный, то хозяин и вверил его надзору все свое имущество. Случись же такое несчастье, что в одну ночь, когда Василий был в церкви у заутрени, пришли воры, взломали амбары и похитили большую часть имущества; купец заподозрил Василия в стачке с ворами и предал его в руки воеводе с тем, чтобы тот вынудил у него признание. Юношу пытали, но он не захотел дать ложное против себя показание, и ожесточенный купец ударил его по голове так сильно, что он тут же упал мертвый. Его объявили закоснелым преступником, и труп его был без всяких обрядов выброшен в поле на съедение псам. Прошло после этого события с лишком полстолетия, как в монастыре Св. Троицы близ Туруханска произошло следующее чудо. Настоятель и основатель монастыря Тихон ночью, стоя на молитве, послышал голос с неба, повелевавший ему идти в покинутую уже Мангазею и перенести оттуда к себе в монастырь земные останки невинно убиенного Василия. Тихон, всегда покорный велениям Господа, немедленно собрался в путь и прошел простым странником-богомольцем всю длинную, совершенно заглохшую дорогу в Мангазею. Прибыв туда, он увидал посреди снежных сугробов цветущую поляну, на которой лежал юноша, как будто только что сладко

* По Фишеру, город Мангазея заложен в 1601 году при реке Таз, в расстоянии от Туруханска около 600 верст.

заснувший. Склонив подле него колени и помолившись, старец взял на руки тело Василия и тотчас же отправился в обратный путь, который, несмотря на жестокую зиму и глубокие снега, зеленел и благоухал цветами и травами. Так прошел он без пищи и отдыха, не чувствуя ни голода, ни усталости, более 1000 верст в несколько дней. Все это заставило полагать, что Василий — Божий угодник, каковым он и доселе почитается здешними жителями, хотя церковь и не причла еще его к лику святых.

Не пускаясь в разбор этой легенды, перейдем к нашему первому вступлению в Туруханск. По счастью, вечер ясен и довольно еще светел, и потому мы избавлены от опасности сломать себе ногу на гнилых и скользких досках, образующих тротуары, или испытать наказание, которому в нашем финском эпосе старец Вайнемойнен подвергает молодого Иоукахайнена, т.е. погрузиться по пояс в трясину, чему неминуемо подвергается здесь всякий незнакомый с местностью путешественник даже и днем, если день дождлив и пасмурен. Благодаря вышереченному обстоятельству мы можем, напротив, пробираясь с некоторой осторожностью, обратить наше внимание на выдающиеся на улицу щипцы (фронтоны) изб; на плоские, покрытые дерном крыши; на стены, поросшие мхом и увешанные сушимой рыбой; на окна, в которых стекла заменены бумагой, слюдой или валимовым пузырем. Так как дворы ничем не отделяются от улицы — ни воротами, ни забором, то у каждого дома нас встречают страшным лаем целые толпы злых ездовых собак, от которых мы большей частью освобождались появлением и громким криком какого-нибудь героя в шерстистой оленьей шкуре и в казацкой шапке. Но кто проведет нас мимо трехдневного сборища, совершенно загородившего улицу несколько подалее? Вот бежит женщина в красном платье, красных башмаках и с покрывалом a la Jenisejsk: очевидно, она поспешает к нам на помощь. И вот мы на поросшей травой городской площади, служащей пастбищем для рогатого скота. Тут представляются нам новые виды, новые предметы для наблюдения. Кроме береговой улицы, перед нами еще болотная улица, или так называемый «Кокуй». Обе улицы одинаковой архитектуры и очень похожи одна на другую; вся разница в том, что на первой живут богачи и знатные, на последней, по крайней мере в настоящее время, почти только бедняки. Хотя

теперь город уже предстал пред нами во всем своем величии, но мы касательно многого все еще в совершенном недоумении, потому что в Туруханске для приезжего не так-то легко отличить, например, церковь от соляного магазина, гауптвахту — от кабака. Но мы не будем останавливаться на отдельных предметах, тем более что это могло бы повести нас к слишком серьезным размышлениям о тленности всего земного, и упомянем лишь о развалинах старинной церкви, о торговых магазинах, грозящих разрушиться, о покривившейся часовой стрелке на циферблате Миддендорфа и проч. Из всех этих предметов самое *приятное впечатление, без всякого сомнения, производят* несколько самоедских юрт, разбросанных по берегу.

Я приехал в Туруханск во время ярмарки. Ярмарка эта, сама по себе ничтожная, имеет для жителей города великую важность, потому что кто теперь не запасется сахаром, который енисейские купцы продают по 2 руб. 50 коп. за фунт, тому придется зимой платить за него по 6 рублей своим приятелям. Но главнейшее значение этой ярмарки заключается в том, что на нее съезжаются окрестные туземцы, между прочим для взноса в казну податей своих. Подать собирается заблаговременно князем рода или племени, а потому он мог бы, конечно, явиться на ярмарку и один, но и у остяков, и у самоедов князь в общественном деле не является без многочисленной свиты. Именно эти-то процессии енисейских остяков, баихинских*, тазовских** и каразинских*** самоедов[81], ходивших в странных костюмах по улицам, и были для нас самым замечательным Туруханс-

* Баихинские самоеды живут по реке Туруханю и преимущественно по притокам его — Верхней и Нижней Баихе.

** Под тазовскими самоедами мы разумеем здесь не юраков, а только два рода, или племени, — *Лимбель-гум* и *Казель-гум*, приписанные к Тымско-Караконской управе. Только племя Лимбель-гум посещает Туруханскую ярмарку и обыкновенно по среднему из трех путей, ведущих летом от Таза к Енисею. Они плывут вверх по реке Кудасею и притоку ее *Покатке* до волока, через который перетаскивают свои лодки в озеро Баиху, и из него вновь по Верхней Баихе плывут до Туруханска. Северный путь из Мангазеи — вверх по Волочанке к Ратилихе и Туруханску — со времени перенесения города оставлен. Иногда самоеды прокладывают себе дорогу от Таза к Енисею через Налимье озеро.

*** Каразинские самоеды, обыкновенно называемые остяками, вместе с баихинскими и тымско-караконскими принадлежат к южной ветви самоедского племени. Они распространены от Курейки вверх, и их не должно смешивать с другим каразинским племенем, которое вместе с хантайскими самоедами и так называемыми подгорными принадлежит *к северо-восточной ветви. Юраки же принадлежат к северо-западной.*

кой ярмарки. Все они почтили нас своим посещением, спрашивали о здоровье его императорского величества, получил ли он прошлогоднюю подать и доволен ли он ею. Те из князей, которые получили красные кафтаны и медали, просили передать их глубокую признательность за эти дары и обещание и впредь исполнять свои обязанности так же исправно. «Если же царь-господь не доволен мною, — говорил мне один остяцкий князь, — то поклонись ему и попроси не оставлять меня, а сказать мне только, что не доволен мною, и тогда я сам передам мою должность тому, кто лучше меня».

Но это он говорил так только, на самом деле почитал себя в особенной милости у Его Величества, потому что ежегодно посылал в гостинец царю-господу черно-бурую лисицу. За сим, сделав мне несколько вопросов касательно моего занятия и заключив из моих довольно неопределенных ответов, что я не только не третий, но даже и не пятый человек после государя, решил, что он выше меня и потребовал, чтоб я поцеловал у него руку; удовлетворился, однако ж, и тем, что я выпил стакан вина за его княжеское здоровье.

За исключением некоторых тунгусских семейств, главный промысел всех туземцев, посещающих в летнее время Туруханскую и другие ярмарки по Енисею, — рыболовство, хотя отчасти они занимаются также и звероловством, и скотоводством. Они — остяки и самоеды, но обыкновенно называются все остяками[22]. Оба эти народа живут преимущественно по левой стороне Енисея, потому что благодаря тихому течению и судоходности рек ее она для рыболовства гораздо удобнее правой, реки которой быстры, мелководны и почти совершенно не судоходны*. Но зато правая, гористая, сторона богаче соболями, лисицами, дикими оленями и проч. и потому занята по преимуществу тунгусами, главный промысел которых — звероловство. Самоедские же племена, занимающиеся оленеводством**, кочуют вместе с не-

* На правой стороне Енисея остяки-самоеды встречаются только по Куренке, по Нижней Тунгуске и по некоторым меньшим речкам. На левой же стороне они рассеяны по Туруханy, Баихе, Елогую, Дубчесу, Сыму, Тазу и по множеству их притоков. За исключением тазовских и баихинских, почти все остальные остяцкие и самоедские племена занимаются рыболовством вдоль левого берега Енисея от начала лета до августа, в августе же — в поименованных притоках его.

** *Юраки, хантайские, каразинские и подгорные енисейские самоеды, ваамские и хатангские самоеды.*

которыми из тунгусских и якутских племен по обильным мхом тундрам берегов Ледовитого моря.

В экономическом отношении из трех названных народов наибольшим благосостоянием пользуются самоеды-оленеводы. За ними следуют тунгусы-звероловы, хуже всех живут так называемые остяки. Нищета их произошла, вероятно, от того, что они жили в близком соседстве с колонистами, которые, конечно, не упускали случая пользоваться их простотой и добросердечием. Но это соседство было, однако ж, тем полезно, что благодаря ему остяки далеко опередили в образовании как тунгусов, так и самоедское население тундры. Как вообще все рыболовы, енисейские остяки-самоеды страшно неопрятны, вялы и ленивы, отличаются, однако ж, от прочих туземцев более кроткими нравами и тем, что хоть по крайней мере на словах исповедуют христианскую религию. Северные самоеды коснеют еще в крайней грубости и невежестве. Один ученый монах сообщил мне рукопись, в которой он производит самоедов от израильтян, в доказательство чего ссылается на то, что они знают десять заповедей, но как слабо в них это знание, свидетельствует достаточно следующий случай. Недавно был схвачен и привезен в Туруханск кочующий самоед, убивший свою жену и, как сказано в деле, съевший ее (?). Когда на допросе судья спросил его, что побудило его к такому преступлению, самоед ответил ему преспокойно: «Я купил жену свою и заплатил за нее честно, а со своей собственностью я могу делать все, что мне вздумается». Почти такие же ужасы рассказывают и про тунгусов. Остяки-самоеды известны, напротив, своей тихой и христианской жизнью, несмотря на нищету их. Сколько мне известно, в последнее время между ними случилось только одно убийство. Вот как рассказывали мне это дело: один баихинский самоед занемог горячкой, бред его навел родственников на мысль, что он одержим дьяволом. Пока происходили совещания о том, как выгнать из него нечистого, больной, к счастью своему, умер, но вскоре затем заболел один из сыновей покойника, и тем же самым. Тогда все племя собралось на новое совещание, и мудрейшие решили, что нечистый перешел из отца в сына и, без сомнения, будет переходить таким образом до тех пор, пока не истребит всех, если они заблаговременно по-

рядком не проучат его. Но добраться до нечистого не так-то легко, потому что, по их понятиям, он забирается в самое нутро больного. Надобно же было, однако ж, как-нибудь покончить с ним. Вот они и наделали кольев из осинового дерева, заострили их и истыкали ими несчастного больного, который, разумеется, тут же и умер, но зато с тех пор, как рассказывают, нечистого и слыхом не слыхать.

Литературные занятия с туземцами продержали меня в Туруханске от начала июня до конца июля, то есть все время года, которое в других местах распространяет радость и благоденствие; в Туруханске же отличается удушливым зноем, безотвязными комарами и ежедневными грозами и дождями. С 20 июля (2 авг.), а по русскому счислению с Ильина дня, бывающему в это число, начинается, по народным метеорологическим наблюдениям, новая пора. Обыкновенный комар мало-помалу пропадает, уступая место другому, меньше, но еще несноснейшему; резкие северные ветры охлаждают воздух, небо хмурится и разражается ливнями. В это время солнечный день уже редкость и обыкновенно служит предвестником грозы и непогоды. Трава желтеет, деревья роняют лист, утки и гуси мало-помалу начинают отлетать. Туземцы, занимавшиеся в течение лета рыболовством в Енисее, возвращаются в леса или на тундры, и все торговые суда спешат войти в пристань, безопасную во время грозных бурь.

В это позднее время года отправился и я из Туруханска в село Дудинку, находящееся в 567 верстах ниже. Хотя мы и плыли в довольно большом крытом судне, плавание наше было, однако ж, сопряжено с большими трудностями и всякого рода опасностями. Северные ветры заставляли почти каждый день приставать к пустынным берегам, близ которых судно легко могло расшибиться о скалы и мели. Несколько раз ломался у нас руль, раз потеряли даже якорь, не говоря о других, меньших бедах, случавшихся ежедневно. Ко всему этому постоянные дожди не только попортили съестные припасы и разные дорожные вещи, но имели еще вредное влияние на само здоровье. Мы думали, что, плывя вниз по реке, мы и в самом худшем случае сделаем эти 500 или 600 верст в несколько дней, а на деле вышло иначе. Ниже Туруханска Енисей утрачивает прежнюю быстроту,

и путешественники, лишенные помощи самой реки, принуждены в этих безлюдных местах прибегать к помощи собак. К мачте или к передней части лодки привязывают на длинной веревке, смотря по надобности, от четырех до восьми собак, и один из лодочников гонит их вдоль берега, стараясь сдерживать в кучке, что не так-то легко. Разумеется, такое плавание чрезвычайно медленно; счастье, если с утра до вечера удастся сделать верст двадцать, при дурной же погоде не проплывешь и десяти, даже и пяти. Тут путешественник может сколько ему угодно любоваться ракитником левой стороны и елями правой, ледяными массами, сохранившимися кое-где еще от весеннего разлива, бесчисленными стаями лебедей, гусей и диких уток, которые, чуя близящуюся непогоду, с тоскливым криком улетают с тундры. Вздумается прогуляться по мшистым прибрежным холмам — всюду увидишь следы лисиц, диких оленей, волков и медведей. Следы человеческие несколько реже; если погода не слишком уже дурна, через день или два, пожалуй, и доберешься до какого-нибудь так называемого *зимовья*, обитаемого обыкновенно русским ссыльным, но оно теперь пусто, потому что поселенцы занимаются рыболовством и живут это время в *летовых*, состоящих здесь из шалашей и жалких курных лачужек. Между Туруханском и Курейкой попадаются, кроме того, изредка и берестяные юрты, обитаемые или бедной тунгусской семьей, или имбатскими остяками, или верхне-карасинскими самоедами. В Шорохинском зимовье, в 40 верстах ниже Туруханска, живет несколько обруселых якутских семейств, которые, по собственным словам их, лет 100 тому назад перекочевали сюда с реки Лены.

В 365 верстах ниже Туруханска есть зимовье, называемое *Плахина* и состоящее из трех жалчайших лачужек. Невдалеке от него князь тазовских юраков[83] с большей частью княжеского рода разбил летние юрты для того, чтобы по древнему обычаю ловить рыбу на Енисее. С целью заняться несколько этим племенем я велел очистить для себя и моих спутников одну из упомянутых хижин, которая ничем не была лучше обыкновенной остяцкой юрты. Дневной свет проникал в нее через заклеенное бумагой отверстие в пядень вышины так слабо, что зачастую и днем при-

ходилось работать со свечой, пламя которой беспрестанно колыхалось от ветра, врывавшегося в щели ветхих стен. Еще несноснее был страшный дым, наполнявший избу во время топки, без которой нельзя обойтись даже и в это время года, т.е. в начале августа. Но всего чаще мешали мне работать вечные дожди. Несмотря на то, что дырявая крыша была по моему приказанию починена, при всяком несколько сильном дожде мне приходилось не только припрятывать все бумаги, но и самому защищаться от него, как на открытом воздухе. Ко всем этим помехам присоедините еще заботы о всех житейских потребностях.

Прожив в Плахине три недели, я отправился отсюда в Хантайское зимовье, находящееся в 40 верстах дальше к северу, продолжал здесь свои занятия еще восемь дней, до самого отбытия юраков с Енисея. В Хантайке я был приятно изумлен избой с порядочной печью и с большими, хотя и не совсем целыми стеклами в окнах. Вместо черного и протиного рыбьего жира (Varka), которым в случае недостатка собственных припасов приходится питаться в Плахине, Итарском и друг., в Хантайке подает вам хозяйка горшок чистого молока. Кроме того, Хантайка может похвалиться и прекрасной природой, особливо по небольшому ручью, впадающему здесь в Енисей: путешественник не будет раскаиваться, если потрудится пройти несколько верст вверх по неровным берегам его. Тут он должен проститься с рощами, лугами, с зеленью и цветами, потому что следующая затем прогулка его будет, может быть, по тундрам Дудинки, а что он здесь откроет, кроме трясин, мшистых холмов и ракитника, этого я не успел еще открыть и в продолжение моего трехмесячного пребывания на самом месте.

* * *

Толстый Нос, 25 ноября (7 декабря) 1846 г.

16 ноября приехали в Дудинку несколько долганов[94], уговорившихся со мною свезти меня на своих оленях в Толстый Нос. Один из них был христианин и сильно удивил меня, став перед отъездом на колени перед образом Божьей Матери и произнеспи длинную молитву о моем благоденствии. Затем меня усадили в так называемый *балок* — сани,

покрытые оленьими шкурами и похожие на продолговатый ящик. Мы оставили Дудинку в 10 часов утра, и, когда, проехав 60 верст, я вылез через узкое боковое отверстие из моего ящика, петух прокричал в последний раз в Замыловой. Это зимовье, подобно многим другим, находящимся ниже Дудинки, состояло из одной только маленькой избы, принадлежавшей, как сказывали, какому-то енисейскому купцу. В настоящее время в нем жили семидесятилетняя старуха и мужчина, который, как только я вошел в избу, бросился мне в ноги и в самых униженных выражениях извинялся в том, что он, будучи русского происхождения, родился, однако ж, по ту сторону тундры. Но так как, по-моему, это было скорее достоинство, чем недостаток, то я и угостил его водкой и заставил рассказать мне все, что он знал о *нравах и обычаях своей* родины — *Хатанги*. Во время его рассказов изба наполнялась карасинскими самоедами, которые, узнав от долганов о моем скором прибытии, ждали меня в зимовье несколько уже времени, чтоб передать мне, по выражению князя их, «свое горе». Испросив позволение сесть на пол и закурить трубки, они начали мне жаловаться на смотрителя магазинов Толстого Носа, грозившего послать всех енисейских самоедов на золотые прииски, чтобы они там заработали муку, за которую должны казне несколько уже лет. Убежденные, что неволя и тяжкая работа на приисках уморят их преждевременно, они решились «лучше умертвить друг друга, чтоб по крайней мере лечь в стране отцов своих». И уверяли, что они непременно исполнят это ужасное решение, как только удостоверятся от меня, что казак грозил им не от себя, а по распоряжению и приказанию высшего начальства. Утверждать, что угрозы магазинного смотрителя решительный вздор, я, разумеется, не мог; несмотря на то, при помощи водки и ласковых слов мне все-таки удалось, однако ж, успокоить самоедов настолько, что они не только оставили прежнее отчаянное намерение, но и поднесли мне несколько песцов в знак того, что они довольны высшим начальством.

В радости, что так хорошо удалось покончить это дело, я отправился в следующее утро далее, не спав всю ночь. Неприятность езды, лежа подобно трупу в узком и темном

ящике, заставили меня пересесть в простые сани, за что и был наказан отморозом ножных и ручных пальцев и некоторых частей лица. Открыв эту беду в следующем зимовье, я возвратился в мою темницу, в которой и пролежал всю остальную часть дня. Поздно вечером привезли меня, промерзшего, в Зелякинское зимовье, состоящее из трех бедных хижин. В одной из них жила молодая женщина, обратившая на себя мое внимание и обращением, и тонкой, хотя уже изношенной, одеждой. За сим последовала длинная исповедь, сопровождаемая стонами и слезами, заключавшая в себе печальное опровержение философии брака Сары Видебек. Эта философия преобразовала сначала нашу молодую грешницу из бедной рабы в знатную даму, а потом повергла ее в бездну такой нищеты, что она на коленях должна была молить меня, чтоб я хоть чем-нибудь помог ей защитить юную жизнь ее от морозных ветров моря. Я дал несчастной, сколько мог, и обещал употребить все мои старания для смягчения ее жалкой участи.

Из Зелякиной я выехал в тот же вечер и к утру прибыл в зимовье Казацкое. Напившись чаю, позавтракавши и пообогревшись у огня, я велел прибить несколько оленьих шкур к мокрой стене, рассчитывая отдохнуть здесь несколько часов, чтоб восстановить силы, изнуренные морозом, голодом и ночным бдением. Но только что я закрыл глаза, как вошли в избу два самоеда и развлекли меня пространным торгом. У одного из них были сын и дочь, почти взрослые, у другого — взрослый сын и дочь пяти лет. Родители решили, дружески поменявшись девочками, женить на них сыновей своих, но тот, у которого была взрослая дочь, требовал от отца малолетней девочки придачи, и из-за этого поднялся горячий и упорный спор. Долго торговались они и наконец положили на том, что отец пятилетней девочки вознаградит отца взрослой десятью оленями.

По окончании этой сделки я оставил Казацкое и в следующем зимовье нашел избу, наполненную енисейскими самоедами. «Что значит это самоедское переселение?» — спросил я человека в порыжелом княжеском кафтане, и вот что ответил он мне: «Мы целое лето жили на тундрах, ловили рыбу, диких оленей, лисиц и пр., а так как теперь настала зима и мы не можем переносить страшного холода на морском бере-

гу, то и идем в лес, который защитит по крайней мере от вьюг и метелей. Наши летние юрты мы разбиваем, — продолжал князь, — на Пясинских тундрах, по реке Туре*, а зимой живем поблизости Лузина зимовья, куда относим и наши подати. Нас три рода, или орды: хантайская (Самату), карасинская (Мунганжи или Могаджи) и приписанная к городу, или подгородная (Баи)**. Из этих родов Пясинские тундры посещаются в значительном числе только карасинскими самоедами. Вся орда Баи и большая часть хантайских самоедов — рыбаки, живущие и лето, и зиму по Енисею*. Сообщив мне все это, князь принялся представлять мне богатейших и знатнейших из собравшихся в избе и наконец попросил водки себе и друзьям своим. Я велел достать из саней бутылку с водкой, но от сильного мороза водка замерзла. Поставили бутылку в печку, но печка остыла уже до того, что водка не таяла. Мое предположение поставить бутылку в холодную воду было отвергнуто из боязни, что бутылка лопнет и водка смешается с водой. Наконец один самоед придумал, как пособить горю: схватил бутылку и давай катать ее по своему голому, гладкому, лоснившемуся от жира животу, и вскоре водка потекла. Самоеды громкими криками выразили свою радость и поручили мне, когда возвращусь домой, рассказать друзьям моим, что самоедская печка все-таки лучше русской, что сим и исполняю.

Угостив самоедов водкой, я поехал дальше и тем же днем прибыл в зимовье Толстый Нос, находящееся между 71° и 72° северной широты. Это зимовье составляют четыре

* По этой реке, впадающей в Пясину, кроме енисейских самоедов[35], живет еще один род из племени тавги. Два другие рода тавги[36] живут по самой Пясине, а по Таймуру — не менее пяти родов того же племени.

** Енисейские самоеды, как показывают сами эти названия, распространялись прежде гораздо дальше на юг. Несколько десятилетий тому назад они зимовали около Хантайки и привосили свои подати в это зимовье. О карасинских самоедах известно за верное, что они прежде кочевали около Карасина зимовья; что же касается до орды Баи, то следы пребывания ее в окрестностях Туруханска ясны в названии рек и села Баихи. Есть замечательное историческое известие о том, что орда Могаджи (по Фишеру — Можаде) кочевала во время завоевания Сибири на реке Тазу. Это вместе с прежним пребыванием орды Баи на Баихе заставляет думать, что племя тавги, к которому должно причислить и енисейских самоедов, прежде распространялось более на западе; то же было и с юраками, и с встречающимися по Енисею ветвями южного самоедского племени.

избы, одна хуже другой, в настоящее время совершенно занесенные снегом. Внутри так скверно, что по стенам те течет вода, то превращается в иней; ледяной ветер дует з щели стен и гнилого пола. Во время же топки, производи мой обыкновенно ночью, подвергаешься опасности или за дохнуться от дыма, или простудиться от холодного воздух ха, врывающегося в отворенную дверь. Видя, что во всяком случае невозможно работать при дневном свете, едва-едва пробивавшемся сквозь лед, заменявший стекла в окнах, я велел закрыть сии последние ставнями и живу в вечном мраке, проводя большую часть дня по древнему финскому обычаю у печки.

Кстати, о мраке надо вам сказать, что с половины ноябр ря (стар. стил.) солнце исчезло и с этого времени дает о себе знать только слабой красиотой на горизонте. Зато даже и в самый полдень можно видеть, как гуляет по небосклону месяц — бледный и мрачный. В течение дня тундра облека ется большей частью в серый туман, с наступлением вечера туман исчезает, и месяц, звезды и вспыхивающее северное сияние обливают необозримые снежные поля каким-то див ным волшебным блеском. Бедным странам Севера свет да ется собственно ночью, потому что так называемый дневной свет, по крайней мере в Толстом Носе, такого мисти ческого свойства, что, глядя на него, я всегда вспоминал пророчество о страшном суде.

Сим оканчиваю я это донесение, извиняя скудное содержание его тем, что оно писано невдалеке от берегов Ледовитого океана.

Письма

I

Ассессору Раббе.
Туруханск, 28 июня (10 июля) 1846 г.

Мне пришло в голову это послание в виде вступления рассказом о зырянском крестьянине Кирилле Григорьевиче Ротчеве, с которым я познакомился несколько лет тому назад в деревне Ижме. Кирилл Григорьевич был одним из почтен-

нейших лиц в деревне; честный, правдивый, набожный человек, хоть и не очень богатый, однако ж все-таки владелец небольшого кожевенного завода. Так как он был известен своей строгой честностью, то волость и выбрала его головою. Под его начальством служил старшиной старинный, испытанный друг его — человек такого же образа мыслей и характера, как и сам Кирилл, но гораздо богатейший его. Случилось однажды, что Кирилл, пустившись в какую-то смелую спекуляцию, запутался в своих делах до того, что никоим образом не мог бы выпутаться с честью, если бы друг его, старшина, не поспешил ему на помощь и не выручил его из беды ссудой довольно значительной суммы. Вскоре после этого оба друга, разговаривая дружески, шли вместе в свое присутствие. По дороге Кирилл заметил поленницу дров, складенную противузаконно на опасном, в случае пожара, месте. Он поручил своему сослуживцу распорядиться очисткой этого места и, наказав, чтобы он непременно в тот же день, еще до наступления вечера, явился с формальным донесением об исполнении этого поручения, пошел в присутствие. Но день прошел, а о старшине ни слуху ни духу. Тогда голова послал за ним своих рассыльных, и когда по допросу оказалось, что старшина не явился с донесением по забывчивости и нерадению, он велел на точном основании закона посадить его на три дня под арест. Когда арестованный отсидел свой срок, голова поспешил к своему другу и, обняв его, со слезами произнес слова, которые послужили мне поводом к этому введению, а именно: «Дружба дружбой, а служба службой». С первого взгляда, пожалуй, покажется, что в пользу дружбы Кирилл мог бы на этот раз и послабить несколько свою ревность к службе, но если принять в соображение, что он действовал по крайнему своему разумению и с убеждением, то, конечно, никто не решится порицать его поступок. Так и я, касательно своей собственной особы, надеюсь, что ни ты и никто из друзей моих не сочтет охлаждением с моей стороны, если я, обремененный множеством дела, на сей раз освобожу себя от дружеской обязанности отдать вам отчет о неважных похождениях, испытанных мною на пути из Енисейска в пустынный Туруханск. Я окружен здесь самоедами со всех концов света, *которые отнимают у меня все время и не дают мне заняться*

никаким другим делом. Они стеклись сюда из дальних стран для того, чтобы внести свои подати, сделать кое-какие небольшие закупки и попьянствовать. А тут их ни с того ни с сего запирают с совершенно трезвым человеком и заставляют склонять и спрягать. Само собой разумеется, что они энергически протестуют против такого насилия и, между прочим, поставляют на вид, что если их не отпустят немедленно, то им с женами и детьми придется зимой умирать с голоду. Жалкая наружность сетующих служит самым убедительным доказательством, что опасения их не лишены основания. Вонючие, полувытертые, висящие лохмотьями шубы, желтизна лиц, глубоко провалившиеся глаза, сильно выдающиеся скулы — все показывает, что несчастные эти создания ведут страшную борьбу с голодом и нуждой. Если к этому принять еще в соображение, что лето — настоящее жатвенное время их, то действительно было бы в высшей степени несправедливо отвлекать их от их промыслов и занятий для какой бы то ни было цели, и потому я скорее решусь провиниться перед дружбой, нежели увеличивать бедствия этих несчастных, и тем более что в этой сутолоке я едва успеваю справляться со множеством возложенных на меня научных поручений.

Кроме русских и ссыльных разных наций, по дороге от Енисейска до Туруханска встречаются еще тунгусы, самоеды и енисейские остяки. Тунгусы — красивый, нарядный и щеголеватый народ, их по справедливости можно было бы назвать дворянством Сибири. Они придумывают возможные способы и средства к украшению своей наружности, содержат себя довольно чисто и опрятно, расчесывают и приглаживают свои волосы, которых не стригут, татуируют себе лицо и рядятся в разные фантастические костюмы. Они любят пляску и гимнастические упражнения, которые придают им ловкость и гибкость, весьма выгодно отличающие их от неповоротливых, неуклюжих самоедов и остяков. Из самоедского племени встречаются между Енисейском и Туруханском только отдельные лица и то в весьма небольшом количестве, зато все племя, известное под названием енисейских остяков, сосредоточилось в этой маленькой области. Енисейских остяков отнюдь не должно смешивать ни с самоедами, ни с обскими или угорскими

остяками[37]. Кажется, они — последние остатки некогда многочисленного и могущественного племени, которое в борьбе против русского и татарского преобладания уменьшилось до нескольких сот душ. По характеру своему они весьма близко подходят к нам, финнам — это добрый, тихий, мирный, бедный и нисколько не прихотливый народ. В наружности их монгольские черты выступают не так резко, как у самоедов или тунгусов. Они ведут кочевую жизнь, занимаясь звероловством и рыболовством. По вероисповеданию принадлежа к православной церкви, они, однако ж, все еще придерживаются шаманства и поклоняются трем могущественным богам: 1) богу неба, которого они называют Эс; 2) богу преисподней, именуемому Имля, и 3) богу земли — медведю. Вот я и очутился в области языческой теологии, так сильно тебя интересующей, но пора сказать несколько слов и о настоящем месте моего пребывания — Туруханске.

При описании этого города мне представляется та выгода, что я могу спрятаться за высокоуважаемый авторитет. Степанов, бывший красноярский гражданский губернатор, выражается о нем следующим образом: «Туруханск лежит под 65° 54′ 56″ северной широты и 105° 12′ 47″ восточной долготы. В 1822 году он переименован в посад. В нем одна кривая улица и несколько домов, кое-как разбросанных. Жители — казаки, мещане и промышленники, всех считается 305 душ. Дурной воздух летом, гнилая вода, плоское местоположение, ветхие строения, отдаленность от населенных мест делают Туруханск одним из неприятнейших поселений». А во время Степанова город находился в цветущем еще состоянии. Теперь здесь только четыре дома, мало-мальски обитаемые. Один из них предоставлен в распоряжение мне и Бергстади, и мы были бы совершенно довольны им, если бы нам только удалось как-нибудь уничтожить вонючий pontus niger[38] оттаявшей болотной воды под полом. Впрочем, сам дом хорош и опрятен, стены чисты, окна со стеклами, только с сырой прохладностью его не могут примириться мои легкие. Надо, однако ж, заметить, что эта влажная прохлада отнюдь не исключительная принадлежность дома: она господствует здесь в воздухе и поддерживается оттаивающими болотами и покрытыми снегом горами, на которые я подчас поглядываю из окна, чтобы остудить ими разные слишком

пламенные желания. В настоящее время Туруханск ждет великого торжества — прихода почты, имеющей прибыть, по всей вероятности, недели чрез две. Этого торжества, блеск которого, может быть, еще увеличится богатой свадьбой, мы с Бергстади дождемся во всяком случае и затем — на конец света, который должен находиться поблизости Толстого Носа. Если поездка в это Туле совершится благополучно, к Рождеству я надеюсь возвратиться в Туруханск на собаках. Енисейский губернатор прикомандировал ко мне в провожатые казака, такого лихого и отважного, что даже остяцкие и самоедские князьки стоят перед ним без шапок и величают «вашим благородием». Итак, за внешнюю мою безопасность нечего бояться, что же касается до здоровья, то надеюсь, что и оно мне не изменит.

II

Асессору Раббе*.
Туруханск, 13 (25) июля 1846 г.

Хотя прошло немного еще дней с тех пор, как я послал тебе письмо, собираясь, однако ж, выехать из Туруханска, не могу не поблагодарить тебя за присылку платья.

На прошедшей неделе праздновалась в Туруханске свадьба, о которой я говорил в последнем письме и которая, по всей вероятности, даст работу языкам на целые полгода, потому что многие остались ею весьма недовольны. Женщины жалуются, что им не объявили о дне ее заблаговременно; казаки обочлись на целые пол-анкерка водки; некоторых почетных лиц города забыли пригласить. Кроме того, пред венчанием не было колокольного звона, отец невесты не присутствовал, жених (помощник полицеймейстера) был без шпаги и т.п. По всем этим причинам свадьбу почитают незаконной и называют ее воровской. Во время свадебного торжества случилось другое не менее важное событие — прибытие окружного начальника, лицезрения которого Туруханск не удостаивался целых семь лет.

Самое же худшее, что я могу сказать о себе, — это то, что комары, жара и тупоумные самоеды выводят меня из

* Оба письма к асессору Раббе ради связи между ними напечатаны здесь вместе, хотя этим несколько и нарушен хронологический порядок.

всякого терпения. Вообще, благодаря Бога, я очень терпелив, но, несмотря на то, случается все-таки, что какой-нибудь дурень, промучив меня целое утро разными глупостями, доводит до того, что я сгоряча и с досады выплесну ему в лицо стакан воды. И, чтобы сохранить мир и согласие, всякий раз я должен заглаживать это рюмкой водки, пригоршней табаку и ласковым словом. На днях я подарил пострадавшему от меня самоеду топор. Это был такой редкий и драгоценный подарок, что, принимая его, бедняга растерялся совершенно и не знал, как выразить свою благодарность. Он хотел что-то сказать, но не мог произнести ни слова, пытался упасть мне в ноги, но узкие штаны помешали. В отчаянии он напал, наконец, на странную мысль — креститься на меня, и принялся креститься, но не так, как крестятся перед образом: три, шесть или девять раз, — крещению его не было конца. В другой раз этот же самый самоед, получив от меня пеньки на девять тетив, начал описывать мне, как все другие самоеды будут завидовать его счастью. «Как я ни беден, — прибавил он, — однако ж мои товарищи все-таки придут просить у меня тетив. А давать ли мне им? Должен ли бедный человек делиться с своим близким и потом сам терпеть нужду?» и т.д. Услышав этот монолог, я решился впредь быть не так щедрым, потому что в «Отче наш» сказано: «И не введи нас во искушение».

P.S. Из Дудинки ты получишь от меня более подробные вести, но, вероятно, не ранее декабря. Вчера у нас было почти 30° тепла, а нынче, 14 (26) июля, идет снег:

Kennst Du das Land, wo die Citronen blühn?[98]

III

Доктору Лёнроту.
Туруханск, 28 июня (10) июля 1846 г.

Как ни дорого мне время, однако ж я не могу не отвечать хотя несколькими строками на письмо твое от 14 (26) апреля, полученное мною с последней почтой и доставившее мне истинное удовольствие. Благодарю тебя за медицинский совет, но вместе с тем могу сказать, что нынешней весной мое здоровье гораздо лучше, чем было в прошлом году. Хотя холодный и сырой воздух Туруханска несколь-

ко и тяжеловат для моей груди и возбуждает временами сильный кашель, но кашель этот, если на него не обращаешь внимания, проходит. В Туруханске есть, между прочим, и очень хороший врач, поляк, но я еще не имел нужды прибегать к его помощи.

В Туруханске я уже целые три недели. Все это время я был сильно занят самоедами, которые собрались сюда со всех сторон для взноса податей. Так как в Енисейске я получил точные сведения о времени их сборов и ярмарок, то я нарочно распределил свои поездки так, чтобы мне как в самом Туруханске, так и в других лежащих по Енисею деревнях всегда можно было заставать значительную часть рассеянного по всему краю енисейского народонаселения. К счастью, все самоеды, живущие по отдаленным и недоступным рекам, говорят на том же самом наречии, как и томские. Особенно это можно сказать о языке тазовских (остяков) самоедов. По Тазу есть, впрочем, и другое наречие, которое, однако ж, кажется, тождественно с обдорским и может быть исследовано на Енисее во всякое время года[156]. Таким образом, я могу вполне отделаться от трудного и продолжительного путешествия к Тазу, если только позволит Академия. Предполагая, что с этой стороны не встретится никаких затруднений, я намерен, выждав прибытия почты, недели через три выехать из Туруханска и продолжать свой путь вниз по Енисею до места, где найду удобнейший случай для изучения сейчас упомянутого тазовского наречия. Окончив это, я проберусь еще далее, верст за 700 или 800 ниже Туруханска, чтобы ознакомиться с собственно так здесь называемым самоедским, которое, как говорят, составляет совершенно особенный язык. Если окажется, что и этот язык можно изучить на Енисее, то, может быть, я возвращусь в Туруханск к Рождеству. Что же касается до Туруханского края вообще, то едва ли мне удастся расстаться с ним ранее будущей весны, потому что, по инструкции Шёгрена, мне следует исследовать и енисейско-остяцкий язык. Я не избавился бы от этого даже и в случае, если б Бергстади — что было бы весьма для меня приятно — взял исследование его на себя, потому что мне, как ответчику за эту экспедицию, все-таки нужно было бы приобрести о нем какое-нибудь понятие. Тунгусским и якутским языками в это путешествие я не могу зани-

маться, тем более что как письменные, так и словесные инструкции прямо запрещают мне это. Миддендорф, как тебе, вероятно, известно, собрал об этих языках кое-какие данные, которые Академия и передала для обработки Габеленцу и Бёкингу.

Поручения твоего — подумать о значении финского двойного падежа — я не мог исполнить, потому что это явление не встречается в языках, которыми я здесь занимаюсь. Все, что я прежде говорил о *чистых* и *глухих* (dunkeln) гласных, кажется, можно свести на закон, что гласные в долгих слогах — чистые, а в коротких — глухие. Этот закон применяется и к шведскому языку, по крайней мере относительно буквы *e*, например lefva — *жить* и lemna или lamna — *оставлять*. Нет ли чего-нибудь подобного и в финском языке.

О Туруханске нечего много говорить. Здесь нет ни одного купца, всего пять мещан и несколько казаков, а из чиновных людей — заседатель, врач и казацкий офицер. Дома почти все развалились, на улицах грязь по уши. Кая-на* — столица в сравнении с Туруханском.

Извини, что письмо мое так тоще, и прими в соображение то, что много горячего железа, которое нужно ковать.

IV

Статскому советнику Шёгрену.
Туруханск, 17 (30) июля 1846 г.

Не помню, когда бы я был обрадован письмом так, как последним вашим и пакетом с деньгами от Академии, полученными с последней, только что пришедшей почтой. В кармане у меня оставался один только рубль, вдруг является почтальон и подает два письма от моих финских приятелей. На вопрос же, нет ли ко мне казенных пакетов, отвечает отрицательно. Такой же ответ получил и мой казак в самой почтовой конторе. Убежденный, что Академия непременно отправила следующую мне сумму и что деньги, вероятно, украдены на дороге между Енисейском и Туруханском, как это нередко случается, я целые полдня ломал себе голову над тем, что теперь делать, и наконец решил посоветоваться с здешними властями. Вышед с этой целью из дому, в самых

* Тогдашнее местопребывание Лённрота.

воротах я столкнулся с другим почтальоном, подавшим мне бумагу — бумагу, извещавшую о прибытии так нетерпеливо жданных денег. Я так обрадовался им, что целый день не мог ни есть, ни работать, купил тотчас же для друзей моих самоедов водки и табаку, подарил им топоров и тетив, и этот день, будничный для других, для нас сделался праздничным. Кроме получения денег, меня сильно радовало и то, что вы не делаете мне никаких упреков ни за мои этнографические посылки, ни за чересчур уже пестрый путевой отчет, отправленный из Томска, ни за мои поездки, ни за планы будущих путешествий. За последние я, впрочем, и не опасался, потому что езжу не как литературный наемник, а как человек, одушевляемый целью, общей и вам, и Академии — целью исследовать вполне все, далеко распространенное самоедское племя. К тому же я убежден, что вы вполне верите и моей готовности, и способности выполнить, как следует, все возложенное на меня. Несмотря, однако ж, на все это, я полагаю обязанностью для успокоения собственной совести отдавать отчет в каждом дне, проведенном мною в Сибири на службе Академии. Таким отчетам, разумеется, трудно придать какую-нибудь особенную занимательность — это не более как счеты, писанные не цифрами, а словами, а потому и прошу как Академию, так и вас тут внимание только на одну верность счисления. Особенного снисхождения требует это донесение, потому что, кроме разнообразнейших хлопот приготовления в дорогу, мешают не менее комары, страшная жара и головная боль.

Уезжая из Енисейска, я еще не решил — спешить ли мне прямо в Туруханск, нигде не останавливаясь, или ехать не спеша, знакомясь мало-помалу с енисейскими остяками по дороге. Эта нерешимость произошла от добытых в Енисейске сведений, что все кочующие в Туруханском уезде остяки и самоеды доступны только в летние месяцы. Нетрудно было тотчас же понять невозможность в течение одного короткого лета покончить изучение обоих племен, но сначала я недоумевал — которым выгоднее заняться прежде. Так как, однако ж, в дороге я убеждался все более и более, что изучением остяцкого можно заниматься и зимой, то и решил, наконец, после долгого колебания безостановочно продолжать путешествие в Туруханск, куда, как полагали, самоеды собрались

уже. Только одни этнографические факты задерживали меня еще изредка на один какой-нибудь день на сборных, так называемых *сугланных*, местах остяков. Большая часть кочевников, разбивших свои станы на обыкновенных ярмарочных местах при устьях Сыма, Дубчеса, Подкаменной Тунгуски и Елогуя, были остяки и тунгусы. Самоедов встретил я впервые в Верхнем Имбатске при устье Елогуя. Они называли свое племя Ир-гум (старые люди)[101], сказывали, что вместе с тунгусами владеют рукавом Елогуя, который на их языке именуется Кёльду (Koldu), что зимой охотятся в пределах тазовской области, что по языку, нравам и образу жизни весьма сходны со своими соседями, живущими по Тазу. Все эти показания оказались впоследствии вполне справедливыми. Прежний же план мой — подняться из Имбатска вверх по Елогую и потом каким-нибудь образом пробраться к Тазу — я должен был оставить, узнав от елогуйских самоедов, что этот путь решительно невозможен, по крайней мере летом. За сим я продолжал мое странствование вдоль по Енисею до Туруханска, куда и прибыл 7 (19) июня.

Баихинские, или туруханские, самоеды были уже тут, вскоре после моего приезда явились и карасинские, и тазовские, или тымско-караконские. При таком стечении народа мне, разумеется, было довольно дела в Туруханске. До сих пор я занимался, однако, по преимуществу тазовскими самоедами, потому что они недоступнее других, да и наречие их, хотя в сущности оно совершенно одно с наречием баихинских и карасинских самоедов, — гораздо чище. Из этого наречия Клапрот сделал пять особых наречий, означенных в его таблицах под рубриками: Мангазея, Туруханск, Таз, Карасен и Лаак. В этом разделении нужно сделать две важные поправки. Во-первых, кочующие близ Мангазеи самоеды, несмотря на его список слов, — чистые *юраки*, потому что граница между тымско-караконскими и юракскими самоедами — река Кудасей или сама ятазовская церковь, от которой считается еще три дня пути до прежней Мангазеи, или так ныне называемой часовни. Во-вторых, Клапрот сделал огромный промах, составивши особенное племя из лаакских, или гусиных, остяков и поселивши его близ Обского залива. Дело в том, что названием Лаак[102], или гусиных людей, имбатские остяки обозначают вообще всех самоедов,

живущих по Тазу, Елогую и по притокам Ваха: Каралге (Корелка), Куль-Йогану и Сабуну. Для объяснения же этого названия замечу, что как тымско-караконские, так и баихинские, и карасинские самоеды распадаются на две большие отрасли: Лимбель-гум и Казель-гум[103], из коих (в Тазовском округе) первая принадлежит к Караконской, вторая — к Тымской управе. Название Казель-гум (окуньи люди), очевидно, относится к реке Тыму, по-самоедски Kasel-ki (Окунья река), с которой, по преданию, племя это переселилось на берега Таза. Караконские самоеды, как намекает и самое русское название, пришли от реки Karalp, или Karol-ki, т.е. Журавлиной реки (от Kara — журавль), и переменили свое настоящее название Karal-gum (журавлиные люди) на Limbel-gum (орлиные люди). Весьма вероятно, что енисейские остяки познакомились с этим племенем прежде, чем с другими, и назвали его *гусиными людьми*, может быть, во избежание высокопарного названия *орлиные люди*[104], а может быть, и по какому-нибудь другому поводу. Племя Казель-гум называет этих *орлиных*, *гусиных* или *журавлиных* людей и *тетеревиными* людьми (Senpel-gum), — все это вариации одной и той же длинной птичьей истории.

По устранении, таким образом, мнимых наречий лавкских остяков и мангазейских юраков из пяти наречий Клапрота остаются еще три: тымско-караконское, баихинское, или туруханское, и верхне-карасинское. Но и этого разделения нельзя принять, потому что баихинские и карасинские самоеды пришли от реки Таз, говорят тем же самым наречием, как и тазовские, за исключением некоторых вкравшихся русицизмов и незначительных звукоизменений, которые можно встретить почти в каждой юрте. Всего этого Клапрот, разумеется, и не подозревал, потому что большая часть указанных им различий основана или на описках (напр., *bese* вместо *kuese*, *boggo* вместо *korgo*), или на неправильном сопоставлении слов (напр., *рука* и *указательный палец*), или на смешении различных форм слова.

Давнее мое предположение о возможной связи тазовского наречия с томским подтверждается теперь на самом деле в гораздо большей степени, нежели я когда-либо мог думать. Вам покажется невероятным (однако ж это вполне верно), что тазовское наречие если не ближе, так по край-

ней мере столь же близко к нарымскому, как сие последнее к чулымскому. Познакомившись со всеми наречиями Томской губернии, не много найдешь уже здесь нового и уклоняющегося. Несмотря на то, для большего усовершенствования себя в самоедском языке я решил заняться здесь северным, или тазовским, наречием серьезно и занимался им целые шесть недель ежедневно с утра до вечера.

Через несколько дней все находящиеся здесь самоеды уезжают отсюда, вместе с ними отправляюсь и я далее вниз по Енисею. Поездка к Тазу теперь совершенно бесполезна, потому что в Туруханске я познакомился не только с самоедами, живущими по берегам этой реки, но и с живущими по отдаленнейшим ее притокам, каковы Паколы, Карялг, Ширта, Ратта и т.д. Правда, я не встречал еще юраков, но для них одних не стоит ехать к Тазу, их наречие весьма сходно с обдорским, уже исследованным мною, да к тому ж его можно изучать и по Енисею, и даже с большими удобствами, нежели в юракских юртах по берегам Таза. Но, кроме неслыханных трудностей и большой потери времени, я отказался, по крайней мере до времени, и по другим чисто ученым причинам, о которых упомяну после, от этой поездки и вместо того решил продолжать мое плавание вниз по Енисею с целью: 1) возобновить сделанное уже здесь знакомство с карасинскими самоедами в их собственных жилищах близ Карасинского зимовья, 2) познакомиться у Плахинского зимовья с юракским наречием, 3) заняться собственно так называемым самоедским в Дудинке и Толстом Носе. Покончу ли занятия последним на Енисее или потребуется еще поездка к востоку — этого я еще не могу решить. Во всяком случае можете быть уверены, что я не пожалею труда для исполнения честным образом данного мне поручения.

Во все время моего пребывания в Туруханске здоровье мое было довольно сносно, хотя и жил в сырых комнатах и диетой не могу похвастаться. Я слишком много ел и работал, и слишком мало делал движения. Здешние комары так докучливы, что, несмотря на все желание, нет возможности гулять на чистом воздухе без сетки из лошадиных волос, которой я просто не выношу, потому что и без нее страшно душно. Термометр нередко показывает от 26° до 30° Р; надобно, однако ж, заметить, что после жару в 30 градусов,

бывшего 13 июня, на другой день пошел снег, и стало так холодно, что во всех домах затопили печи и все надели шубы.

Занятия самоедским языком до сих пор отнимали у меня столько времени, что о подробном путевом отчете мне и подумать было некогда. А так как осенью едва ли можно будет что-нибудь отправить из Дудинки, то я, вероятно, долгое время ничем и не обеспокою вас.

Со следующей почтой посылаю в Академию два ящика под №№ 18-м и 19-м с разными вещами для этнографического музея. В ящике под № 18 тунгусский лук и две остяцкие стрелы — одна костяная, другая железная. Стрелы я приобрел у енисейских остяков, они, впрочем, ничем не отличаются от употребляемых прочими остяками, самоедами, тунгусами и многими другими сибирскими народцами. В ящике под № 19 находятся: 1) тунгусская зимняя шуба с реки Сым, 2) якутский летний кафтан из Туруханского округа; точно такой же носят и туруханские тунгусы; 3) тунгусский нагрудник, 4) тунгусские рукавицы, 5) тунгусская трубка, 6) гребень, употребляемый и тунгусами, и остяками, 7) костяная пластинка, которой охотник прикрывает ручную кисть, дабы при стрельбе из лука тетива не повредила руки; она употребляется и остяками, и тунгусами, и самоедами; 8) самоедские очки, 9) гудок — этот инструмент я встречал только у баихинских и карасинских самоедов; 10) остяцкая шапка из окрестностей Имбатска: птицы наверху шапки — нырки, которые у остяков почитаются священными; 11) два остяцких ящика из енисейской страны.

V

Лектору Коллану.
Туруханск, 17 (29) июля 1846 г.

Завтра я думаю пуститься в настоящее полярное путешествие в сопровождении Бергстади и одного казака. Мы отправляемся в Дудинку — небольшую деревушку при Енисее, верстах в 500 ниже Туруханска. Там я проведу всю осень в изучении разных самоедских наречий, встречающихся в этом крае. Можно ли мне будет возвратиться оттуда прямо сюда или нужно еще будет предпринять несколько поездок по тундрам — этого я никоим образом не могу

определить вперед. Во всяком случае мне предстоит теперь самая трудная и самая опасная из всех моих поездок. Если во время пребывания моего в стране енисейских тундр вести обо мне будут доходить до вас реже обыкновенного, то не спеши считать меня погибшим, но верь, как и я сам верю, что все кончится как нельзя лучше.

Вечные дорожные хлопоты не дают мне времени наговориться с вами на прощание, но надеюсь, что ты будешь доволен и немногими словами, лишь бы они были сказаны от души. Поклонись Шнельману и прочим друзьям.

Твой измерзший брат.

VI

Статскому советнику Шёгрену.
Дудинка, 10 (22) ноября 1846 г.

Отъезжая из Туруханска, я не имел времени изложить вполне, как бы следовало, причины, побудившие меня отказаться от давно задуманной поездки к Тазу и продолжать вместо того странствование вниз по Енисею в Дудинку и Толстый Нос. Кажется, я упомянул, однако ж, что тазовские самоеды, или так называемые остяки, приезжали на летнюю ярмарку в Туруханск в значительном числе, и что в течение шестинедельного занятия их наречием я нашел, что оно мало уклоняется от нарымского и еще менее от туруханского. Кажется, намекнул также и на то, что, кроме Таза, юраки живут и по Енисею близ Плахиной и Толстого Носа, что по Енисею встречаются, наконец, и восточные самоеды (Клапротовы тавги). Возможность изучения всех господствующих в Туруханском округе самоедских наречий на берегах самого Енисея убедила меня не тратить так дорогого для меня времени на поездки в сторону, из которых одна поездка к Тазу взяла бы от 4 до 6 месяцев. К тому же в Туруханске я узнал, что в язычном отношении самоеды тавги значительно отличаются как от западных, так и от восточных соплеменников своих, и это заставило меня опасаться, что поездка к Тазу оставит мне слишком мало времени для исследования языка тавги. И теперь, проработав над ним почти три месяца сряду, вижу ясно, что опасение было вполне справедливо, потому что, и за устранением поездки к Тазу, назначенный

мне срок пребывания в нижнеенисейской области слишком короток. Согласно инструкции следующим же летом я должен начать антикварные исследования в Минусинском округе. Язык тавги, юракское и другие наречия возьмут у меня все время до января или февраля; затем останется еще енисейско-остяцкое, особенности которого потребуют столько времени, что мне придется работать даже сверх сил моих, чтоб добиться возможности отправиться весной в Минусинск. Переезд же в Минусинск весной кажется мне необходимым как для успеха самих исследований, так и для поправления моей груди. Прошу вас и Академию обратить внимание на все эти обстоятельства и быть уверену, что польза науки во всяком случае для меня выше всего.

Согласно с намерением, высказанным в письме из Туруханска на пути в Дудинку, я пробыл почти целый месяц в окрестностях Плахиной и занимался юракским наречием, которое оказывается почти совершенно сходным с обдорским.

23 августа (4 сентября) приехал я в Дудинку и с тех пор беспрерывно занимался авамско-самоедским наречием, или языком тавги. Теперь, почти совершенно покончив здесь мои разыскания касательно этого наречия, я думаю отправиться через несколько дней в Толстый Нос, дабы познакомиться с самыми северными отраслями юракского племени. Затем мне будет еще довольно работы с енисейскими, т.е. приписанными к городу (подгородными), нижнекарасинскими и хантайскими самоедами, которые не возвратились еще на тундры. Кончив с этим, я возвращусь опять к енисейским остякам. Может быть, мне придется еще съездить и к Пясиной. У Хатангского же залива мне нечего делать, потому что, по уверению достоверных лиц, 19 податных самоедов, принадлежащих к Хатангской волости, говорят одним и тем же языком с авамскими[165].

Занимаясь самоедами, я не забыл, однако ж, поручения г-на Кёппена относительно долганов. Русские называют этим именем три небольших якутских племени: 1) племя dolgan, живущее по Хатанге, 2) племя adjan, признающее и русское название — жиганы, и 3) племя dongot[166], живущее так же, как и второе, в расстоянии трех дней пути от Дудинки, близ Нарильских озер. Хотя эти племена и говорят чисто якутс-

ким языком, ученые и неученые, русские и самоеды смешивают их с тунгусами. Сами же они ведут себя от трех братьев: Galkunga, Sakatin и Bijka, перекочевавших сюда из якутской страны, и притом в столь еще недавнем времени, что один долганский князь и теперь еще «курит из той самой трубки, из которой курил его предок Галкинга». По этому позднему переселению самоеды называют и долганов, и тунгусов aija, т.е. *младшими братьями*. Может быть, это прозвание указывает и на то, что племена эти переселились сюда мирно, без всякой вражды с самоедами, выдающими себя за древнейших обитателей страны и уверяющими, что они старше даже юраков, о которых предание говорит, что они, в противоположность тунгусам и долганам, вторгались в пределы самоедов страшной, опустошительной войной.

Но я, может быть, возвращусь еще к этому предмету, теперь же у меня отнимают время другие не терпящие отлагательства заботы, к каковым, между прочим, отношу и начатый мною пересмотр моей недавно вышедшей черемисской грамматики. Я составил ее наскоро и вкратце, и, к несчастью, ее напечатали в Финляндии прежде, чем я успел просмотреть и исправить, отчего вкрались многие весьма важные опечатки, путающие читателя.

Бергстади болен несколько уже месяцев, и, как кажется, сибирским скорбутом. В последнее время его болезнь так усилилась, что он боится выходить на воздух. Вся надежда на одного только Бога, потому что врачебной помощи в этой неприязненной стране не сыщешь.

VII

Асессору Раббе.

Дудинка, 10 (22) ноября 1846 г.

Что я не отвечал раньше на четыре письма твои и не благодарил тебя за восемь пакетов, которые все получил разом, объясняется тем, что настоящее местопребывание мое, Дудинка, не имеет никаких сообщений с Туруханском, который, в свою очередь, составляет конец света для почтовых сообщений. И теперь я не имею в виду никакой возможности отправить это письмо, но так как на днях мне предстоит довольно продолжительная поездка на тундры,

то я оставляю здесь несколько строк к тебе в надежде, что во время моего отсутствия представится какой-нибудь случай отослать их в вышеупомянутый город.

Есть пословица, что всех хороших вещей бывает по три, из чего, кажется, следует, что четвертая непременно скверная. Я не имею, однако ж, никакой причины жаловаться, хотя и нахожусь в стране тундр четвертый уже раз. Дудинка, настоящее мое местопребывание, лежит под 69° 40′ северной широты, 567 верст севернее Туруханска. Деревня эта состоит из четырех маленьких изб, расположенных при реке Дудинке в пяти верстах от впадения ее в Енисей. Из числа изб я исключаю, однако ж, принадлежащую к деревне каменную церковь, которая построена на берегу самого Енисея и теперь, за неимением священника, стоит без употребления. Мы с Бергстади принуждены довольствоваться старым сараем, который при помощи печи, глины и девятнадцати образов возведен на степень жилого строения. Но, к сожалению, ни печка, ни глина не защищают нас от суровых северных ветров, врывающихся сквозь пол и стены. По неоднократно повторенным термометрическим наблюдениям оказалось, что температура на полу колеблется между +2° и +4° и никогда не поднимается выше +5°, хотя бывали примеры, что термометр, поставленный на моем высоком письменном столе, показывал до +26°. Не будучи врачом, я очень хорошо понимаю, что жизнь в таком климате не может не повлечь за собой ревматизма и разных других недугов, а между тем, наперекор всем теориям, состояние моего здоровья в Дудинке было настолько же удовлетворительно, как и во всяком другом месте. Во все время моего трехмесячного уже пребывания в этой деревне мне прихворнулось только раз по причинам, которые ты, как врач, имеешь определить на основании нижеследующей истории болезни.

Проживши два последних года в более мягком климате, я забыл, что в пределах Полярного круга зима начинается уже в конце сентября, и эта забывчивость была причиной, что в нынешнем году я не запасся вовремя необходимым даже в комнате, но довольно отвратительным по своей косматости самоедским меховым одеянием. Между тем в легкой европейской одежде у меня беспрестанно зябли ноги и по временам чувствовалась ревматическая боль в окоченевших коленах, что совершенно естественно. В один хо-

лодный октябрьский день, сильно остудив ноги, я вдруг почувствовал головокружение, головную боль и тошноту. В надежде, что припадок этот пройдет, я попросил самоеда, моего учителя, набить себе трубку и подождать, пока я оправлюсь. Но трубка давно уже была выкурена, а я вместо оправления чувствовал себя все хуже и хуже. В какой-нибудь час времени болезнь одолела меня до такой степени, что я без чувств упал на пол и пришел в себя только по прошествии четырех часов. Того, что я чувствовал за сим, не могу и описать: головная боль все усиливалась, началась сильная рвота, и дыхание сперло так, что я в каждую минуту боялся задохнуться. И я сам, и все свидетели моих страданий были уверены, что настал мой последний час. Наконец, когда рвота прекратилась, мне стало несколько полегче; весь следующий день пролежал, однако ж, в постели, а на другой день за тем оправился совершенно. В дополнение к этой истории болезни могу прибавить только то, что, по мнению вышеупомянутого самоеда, олень, мясо которого я перед этим съел довольно много, был, вероятно, зачумлен.

Кроме этого болезненного припадка, я чувствовал временами какую-то слабость в глазах, но это легко объяснить и без всякой медицинской премудрости тем, что четыре уже месяца принужден работать при полусвете, проникающем сквозь маленькие окна, в которых стекла заменены то налимовой шкурой, то слюдой, то бумагой. Здесь, в Дудинке, я сначала писал у окна, в которое вместо рамы вставлена была лучинная решетка со вмазанными в нее кое-как стеклянными вершечками, но с наступлением зимы я велел заменить ее, по здешнему обычаю, ледяными пластинками, которые и светлее, и непродуваемее всех прочих употребительных здесь оконных снарядов. Конечно, и тут холодный пар, распространяющийся от льда, имеет вредное влияние на глаза, но в настоящее время года это не важное неудобство, потому что почти весь день приходится работать при свечах и, следовательно, можно занавешивать окна.

Вероятно, тебе небезызвестно, что скорбут свирепствует во всей Северной Сибири повально. Русские и туземцы предохраняют себя от него употреблением сырой рыбы. Так как я мало верю в действие этого лекарства и, кроме того, не привык еще к сырой пище, которую сибиряк считает лакомством,

то и стараюсь предохранить себя от этой ужасной болезни движением на открытом воздухе. Я думаю, что именно эти ежедневные прогулки и поддерживают до сих пор мое здоровье; скверно только то, что они и в Дудинке, кажется, начинают возбуждать такие же подозрения, как и в Устьцыльме. Ленивый полярный народ никак не может понять, зачем барину без особенной крайней нужды ходить по тундрам, где нет ни дорог, ни тропинок и где он в случае внезапной поднявшейся сильной непогоды неминуемо должен погибнуть. Не раз меня уже и предостерегали от таких прогулок, пугая не только что непогодой, но и тем, что в окрестностях Дудинки водятся страшные чародеи и чудовища. Однако ж, когда мы с Бергстади зашли дальше обыкновенного — послали нас отыскивать несколько человек с собаками; они возвратились, не отыскав нас, и тогда вся деревня решила, что мы похищены нечистым. Впрочем, в этот раз мы не подвергались никакой опасности, но несколько дней тому назад чародеи тундры действительно хотели заволечь меня в свои сети и похитить. Углубившись в размышления, я отошел довольно далеко от дому, нисколько не обращая внимания на направление, по которому шел. Так как день был тих и ясен, то мне и в голову не приходило, что могу заблудиться. Но вот совершенно неожиданно небо заволоклось тучами, поднялся сильный ветер и закрутил снег по тундре. Удивленный, гляжу вокруг и не вижу ничего, кроме голых снежных полей. Только тут пробудилась во мне мысль о возможности заблудиться, и я тотчас же решил направить путь к реке Дудинке в полной уверенности, что по ее течению непременно доберусь до дому. Отыскать реку мне казалось делом вовсе не трудным, но вскоре убедился в противном и принужден был приступить к опасной попытке отыскать дорогу к деревне по своим собственным следам. Само собою разумеется, что большую часть их занесло уже снегом, а слабые и без того трудно было разглядеть при наступивших сумерках. Но каждый раз, когда я нападал на довольно глубокий след, я замечал его чем-нибудь и бродил во всех возможных направлениях до тех пор, пока находил другой такой же след. Таким образом мне удалось, наконец, добраться до дому, в чем я уже совершенно было отчаялся.

Дела, не терпящие ни малейшего отлагательства, не позволяют мне вдаваться в статистические и этнографичес-

кие подробности места, где теперь нахожусь. Упомяну только, что здесь менее христиан, нежели язычников, и что первые большей частью русские, а последние — самоеды, юраки, тунгусы, якуты и долганы. Из туземцев только якуты имеют жилища, прочие же скитаются без крова по тундрам, где, говорят, уже нынешней осенью замерзали три несчастных самоеда. Как русские, так и туземцы занимаются охотой, рыбной ловлей, оленеводством и торговлей, но последняя, разумеется, составляет монополию русских. Ею занимается и мой хозяин. Устроив огромную палатку на еще огромнейших санях и наполнив ее и, сверх того, еще несчетное множество других саней разными мелочными товарами, он нынче выехал на тундры с тем, чтобы возвратиться домой не ранее весны. Само собой разумеется, что такие поездки можно предпринимать только на оленях. В поездки не столь дальние и не столь продолжительные пускаются на собаках, употребляемых здешними русскими также для возки дров и для разных других хозяйственных работ. Лошадей к северу от Туруханска нет, коров я также не видал уже несколько месяцев, а об овцах и говорить нечего: они нигде не уживаются с упряжными собаками. Коснувшись домашних животных, я должен еще упомянуть, что петух кричит здесь, в Дудинке, довольно прилежно, но есть ли при нем куры — этого я не знаю. Вот все, что на этот раз могу сообщить по статистической части.

Извини меня перед Акиандером, что я на этот раз не могу отвечать на его письма и благодарить его за прекрасное рассуждение о теории звуков финского языка. Мне хотелось бы передать ему несколько разных замечаний, но не могу положительно сказать, когда улучу на это время. Поклонись и *другим друзьям от твоего* затундрянского брата.

Путевой отчет

Енисейск, 22 марта (3 апреля) 1847 г.

Толстый Нос был поворотным пунктом моего путешествия к северу вдоль берегов Енисея. Дальше мне незачем было ехать, потому что там в зимнее время не встретишь

уже ни одного туземца, попадаются только кое-где поселенцы. Даже близ самого Толстого Носа из туземцев, или так называемых здесь азиатов, живет только один юракский род, называющий себя Ламбай[107] и известный у русских под именем береговых юраков*. Говорят, что этот род перекочевал на Енисей из Обдорского края, где, без сомнения, жил в близком сообществе с тазовскими самоедами. Это я вывожу из языка береговых юраков, который до малейших подробностей сходен с тазовским наречием, от обдорского же несколько уклоняется. Таким образом, так как я еще прежде проник уже отчасти в таинство тазовского наречия, зимовье Толстый Нос представило мне весьма мало нового и замечательного в лингвистическом отношении, зато поездка сюда была весьма полезна в этнографическом, потому что береговые юраки сообщили мне подробнейшие сведения о самоедских племенах, которые кочуют близ устья Таза и принадлежат Енисейской и Тобольской губерниям.

Еще в конце ноября воротился я из Толстого Носа в главную свою квартиру — в Дудинку. Здесь во время моего отсутствия собралось много самоедов, как по собственным, так и по казенным делам. С этими самоедами я проверил все прежде сделанные мною в Дудинке заметки и убедился вполне, что между осмью самоедскими родами, кочующими по Пясиной и еще дальше на восток по Таймуру, в лингвистическом отношении нет никакого существенного различия. Поэтому я и счел себя вправе освободить себя от давно задуманной поездки к Пясиной и приступить, наконец, к изучению языка и этнографии енисейских самоедов; с этой целью я выехал в начале декабря из Дудинки в Лузину, а отсюда, приискав здесь несколько хороших толмачей, — в Хантайку.

В Хантайке я надеялся найти жилье более теплое, спокойное и здоровое, нежели в Лузине, но, к сожалению, жестоко обманулся. Хантайская изба, светлая и удобная летом, была теперь, несмотря на печь и четыре окна со льдинками вместо стекол, почти так же холодна и темна, как самоедская берес-

* Русское название, принятое и в науке, основано на том, что юраки в течение лета занимаются рыболовством *по берегам* Енисея. Осенью, по общему обычаю самоедов, они кочуют по тундрам и ловят песцов, диких оленей и др., а зимой живут по Хети и Соленой под защитой редкого лиственного леса, который еще растет по этим рекам.

тяная юрта. Сырость внутри была так сильна, что вода текла по внутренним стенам, хотя для предотвращения этого наружные и были обиты толстыми шкурами. Я обил стены подле моей постели рогожами, и они так примерзли к стене, что потом надо было отдирать их кусками. Почти такая же участь постигла и платья, которые мы имели неосторожность повесить на стену. Само собой разумеется, что от такой сырости в избе было и угарно, но всего более донимал меня страшный дым во время топки печи: так, в ночь под Новый год он не только что поднял меня с постели, но и выгнал в лес.

В таком жилье просидел я целые три недели, занимаясь при сальной свечке, горевшей с утра до ночи, двумя енисейско-самоедскими наречиями, из коих одним говорят хантайские и карасинские, другим — приписные к городу, или байские, самоеды. Оба эти наречия близки к языку тавги, или авамско-самоедскому, и разнятся немногими мелочами. Оба они часто намекают на соседство юраков или туруханских самоедов. Кроме того, байское наречие, кажется, заимствовало кое-что и из языка енисейских остяков.

Исследованием енисейско-самоедских наречий завершились мои занятия в Туруханском полярном краю, и я отправился назад в знаменитый город Туруханск. Как приятен даже звук слова «Туруханск», когда проживешь полгода на тундрах, не видя солнечного света в течение двух месяцев! В Туруханске солнце светит ежедневно, здесь можно даже у себя в горнице пользоваться дневным светом, потому что здесь есть по крайней мере четыре дома со стеклами в окнах. От нетерпения скорее добраться до озаряемого солнцем города я решил, против своего обыкновения, ехать днем и ночью, но это решение было уничтожено в первую же ночь плачевнейшим образом. В потемках самоед, везший меня, не заметил, что Енисей далеко залит был водой, выступившей из-подо льда, местами растрескавшегося. Въехав в воду, олени не могли уже вытащить сани на берег, и мы сидели, буквально примерзшие к реке, без всякой надежды на какую-нибудь помощь с опасностью не только что-нибудь отморозить, но и замерзнуть совершенно. Из этой беды выручила нас чистейшая случайность. В Туруханск пришло на мое имя несколько пакетов из Академии, из уважения к сей последней их отправили ко мне с нароч-

ным, который, как нарочно, наткнулся на нас именно в эту бедственную ночь. Он не только помог нам выбраться из реки, но и проводил в самоедскую берестяную юрту, в которой я и провел остаток ночи, отогреваясь чаем и содержанием полученных писем. И все-таки приключение это не обошлось даром — один самоед отморозил себе ноги, а другой, посланный отыскивать помощь, пропал, к величайшему моему горю, без вести.

Вообще переезд из Хантайки в Туруханск был непрерывный ряд разнообразнейших неприятностей, затягивавших путешествие до того, что я редко делал более 20 или 30 верст в сутки. То обрывалась вожжа, то что-нибудь ломалось в санях, то теряли след, то олени утомлялись и нередко приходилось идти пешком до ближайшей станции — обыкновенного развалившегося зимовья, в котором не находили ничего для подкрепления сил, кроме разве тепла, да и то не всегда*. Можете вообразить мою радость, когда в половине января, сидя в маленьких санях, запряженных шестнадцатью собаками, я въехал, наконец, в Туруханск.

В Туруханске я пробыл только три дня и, не оправившись еще совершенно, чувствуя себя не совсем здоровым, потащился в Енисейск. Дорогой мои занятия состояли в изучении двух наречий енисейско-остяцкого языка — имбатского и сымского. Тут я имел возможность убедиться в справедливости писателей, утверждающих, что этот язык значительно уклоняется от языков финско-самоедских. В нем есть, конечно, многие черты, общие как с самоедским, так и с угрско-остяцким, но я все-таки не могу не признать его отрывком особенного семейства, сродство которого с финско-самоедскими языками весьма дальнее. Енисейско-остяцкий язык нечто вроде китайского, не имеющий полной флексии (Flexion); он любит переносить корневой слог в конец слова, а когда необходима флексия, то она происходит сама собой в начале либо в середине слова, так, например, dagafuot, kagafuot, dagafuot — я жду, ты ждешь, он ждет (корень fuot, финн. ootan). Несмотря на простоту форм, по обеспечис-

* В нынешнем году в Туруханском округе нищета дошла до неслыханных размеров, потому что казна должна была уменьшить прежние вспомоществования жителям. Цена на муку поднялась до того, что даже в Енисейске ее продавали по 7 р. 50 к. за пуд.

ленности буквоизменений енисейско-остяцкий язык капризнейший из всех, какие мне приводилось изучать.

Степанов упоминает об одном предании, в котором говорится, что остяки пришли на Енисей с Таза, а может быть, также и с Иртыша. Предание это основывается, вероятно, на том, что тазовские самоеды из рода Лимбель-гум поселились на Енисее и затем мало-помалу слились с енисейскими остяками. Полагают, что и два других рода между сымскими остяками образовались от такого же слияния. Основываясь на существующих преданиях об остяцкой колонизации, между сымскими остяками три, а между имбатскими — только два настоящих остяцких рода*. Но и эти пять родов по достоверным, хотя менее распространенным, преданиям, сводятся к двум родам, из коих один называется *Kanaз-ket*, множ. число *Kan-djeang* — канский люд, другой — *Ulj-get*, множ. число Ulj-djeanг — ульйской люд, собственно водяной люд. Нетрудно вывести, что под названиями Кап и Ulj разумеются реки *Кана* и *Улукема*, впадающие в Енисей справа в верхнем его течении[108]. Кроме этих названий, предание приводит и то, что *остяки пришли от истоков Енисея. Рассказывают* даже о высоком непереходимом горном хребте (Алтай), который расселся, и что затем через образовавшуюся таким образом расселину остяки проложили себе дорогу в Сибирь.

Таковы слышанные мною предания; они не объясняют, однако ж, происхождения угрского элемента, заметного в енисейско-остяцком языке. Всего легче объяснить это предположение, что угрские переселенцы пришли с Оби и слились с енисейскими остяками. На это предположение дает нам право предание, по которому род Chaibang жил прежде на «большой реке» (Оби или Вахе) «в сургутской стороне». Конечно, это предание противоречит самому себе тем, что род этот почитает самоедским и прямо называет его Limbel-gup**, но, может быть, противоречие это происходит от какого-нибудь смешения рода Chaibang с родом Imljaken, пришедшим с Таза.

Как бы то ни было, это резко выступающее сродство с угрско-остяцким языком, частью первоначальное, по преимуществу же возникшее от слияний, заставило меня заняться

* По церковным книгам всех остяков на Енисее 904 души мужского и женского пола.

** Лимбель-гуп, как известно, принадлежит к речной системе Таза.

енисейско-остяцким языком подробнее, нежели я предполагал прежде. Постоянно собирая, я до сих пор не мог еще привести моих заметок в систематический порядок, но примусь за это тотчас же по приезде в Минусинск, куда отправляюсь на днях после годичного пребывания в Енисейском округе.

Письма

I

Статскому советнику Шёгрену.
Туруханск, 11 (23) января 1847 г.

Я приехал сюда несколько часов тому назад и до того утомлен, до того страдаю ревматизмом, зубной болью, стрельбой в ушах и разными другими недугами, что решительно не способен на составление какого-нибудь путевого отчета. Почта отходит завтра, и я не знаю, удастся ли мне приготовить даже и этнографические мои посылки. Со следующей почтой, т.е. через месяц, постараюсь отправить к вам отчет о последних моих странствованиях. Теперь же упомяну только мимоходом, что на возвратном пути из Толстого Носа я несколько времени прожил в Дудинке и потом в Хантайке, где занимался несколько недель оттенками восточносамоедского языка, которые встречаются по Енисею у карасинских и других самоедских родов. Сверх ожидания, вопрос о весьма близком сродстве енисейских наречий с авамским, которое исследовал тщательно, собрал даже материалы для составления подробной этимологии его, мне удалось покончить скорее, чем предполагал. На днях думаю выехать из Туруханска в такое место, где бы мне можно было заняться енисейско-остяцким языком. Он сильно беспокоит меня, потому что, кажется, отдалит меня от занятий самоедским и серьезное исследование его потребует больше времени, нежели сколько я могу посвятить ему. Кроме того, и для моего здоровья необходимо по крайней мере к весне убраться из этих неприятных мест. Итак, не осуждайте меня слишком строго, если уже в апреле я оставлю Енисейскую область. Во всяком случае я сколько-нибудь успею и в этом языке.

При сем прилагается список отправляемым в Академию вещам:

Ящик № 1 содержит: 1. Два самоедских фетиша (самоед. Haha или Hahe) той формы, в которой они встречаются у тазовских юраков. 2. Гудок туруханских остяков-самоедов; прошлым летом я послал уже в Академию экземпляр этого инструмента. 3. Самоедская трубка из мамонтовой кости. 4. Две иглы для вязания сетей, употребляемые самоедами и тунгусами. 5. Самоедский аркан для оленей из кожи дикого оленя. 6. Самоедская веревка, свитая из ножных сухожилий оленя. 7. Самоедский колчан, он одинаков, впрочем, у всех кочующих народов. 8. Образчик женской одежды, которую носят на востоке от Енисея; она совершенно сходна с западносамоедской, или юракской, женской одеждой. *Примеч.* К этому костюму принадлежат, кроме сапог, одинаковых и у мужчин, и у женщин, замшевые штаны, которые носят под меховыми и шьются так же, как сии последние. 9. Якутская шапка, которую они носят под колпаком и которая особенно служит для защиты подбородка. Якуты называют ее sengjakaa, русские — набородником. 10. Две якутские ложки из мамонтовой кости. В тюке под № 2 находятся: 1. Два якутских колпака, которые носят и долганы. 2. Верхняя (ogdoka) и нижняя (son) одежды якутов и долганов. *Примеч.* Якуты и долганы носят точно такой же, как и тунгусы, нагрудник, экземпляр которого отправлен уже в Академии прошлым летом; обувь и нижнее платье якутов такие же, как у самоедов. В тюке № 3 вы найдете: 1. Верхнюю одежду восточных самоедов, отличающуюся роговидным острием надо лбом. 2. Другой экземпляр той же одежды, употребляемой в торжественных случаях и сходной с западносамоедской, или юракской, шубой; и эти части одеяния почти совершенно одинаковы как у восточных, так и у западных самоедов. В тюке под № 4 полное юракское одеяние, состоящее из: 1) верхней одежды (sauk), 2) двух малиц, надеваемых прямо на *голое тело*, 3) *пояса с ножом в ножнах*, 4) *башмаков*, 5) штанов из замши. В тюке под № 5 — женский костюм западных самоедов, но только без штанов и обуви.

P.S. Туруханск, 12 (24) января 1847 г. Только что я отдал на почту мои посылки, как явился ко мне здешний заседатель и предложил в дар Академии тунгусское одеяние и несколько тунгусских фетишей: желтого лебедя, которого тунгусы чтут как божество, да два медных и два деревянных

истуканчика. Кроме того, что он взялся добыть для Академии и одеяние тунгусского кудесника, он составляет еще подробное описание своего путешествия к тунгусами. Судя по отрывкам, которые он мне давал читать, в нем будет много любопытного о туруханских тунгусах.

II

Статскому советнику Шёгрену
Назимова, 22 февраля (6 марта) 1847 г.

Прилагаемый краткий отчет (о путешествии из Дудинки в зимовье Толстый Нос) написан еще во время моего пребывания в Толстом Носе и не отправлен с последней почтой из Туруханска, потому что я хотел, переделав в нем кое-что, перебелить его. Этому помешала хворь, три уже недели не покидающая меня. Сибирь — страна моровых поветрий, к числу которых народ причисляет и катаральную эпидемию, свирепствующую теперь по Енисею как между людьми, так и между животными. Как катар, она весьма злокачественна, легко переходит в другие болезни и нередко оканчивается смертью. Недавно один остяк, заболевший ею, умер от кровотечения горлом — дурное для меня предзнаменование, потому что грудь — самая плохая из всех частей моего тела. Главное препятствие к выздоровлению — холод и продуваемость жилища. Ночью у меня замерзает вода, и поутру термометр обыкновенно показывает от 5° до 7° ниже нуля. Такого скверного жилья у меня не было даже и в Толстом Носе. Есть здесь, конечно, и лучшие жилища, но они все заняты золотопромышленниками. Если холода не уменьшатся, придется искать лучшего помещения в какой-нибудь другой деревне.

Во время болезни я, сколько мог, занимался по-остяцки в Верхнем Имбацке и Бахте — двух деревнях, или так называемых зимовьях, Туруханского округа. Я намеревался остановиться на несколько дней и в деревне Вороговой выше Подкаменной Тунгуски, но за отсутствием остяков принужден был ехать далее, в Назимову, куда и прибыл несколько дней тому назад. Здесь, если б здоровье мое хоть несколько поправилось, я мог бы, конечно, заняться как с сымскими, так и с дубчесскими и вороговскими остяками.

Впрочем, остяцкий язык беден и очень легок. В нем особенно замечательно то, что в глаголах личные окончания стаются не в конце, а либо в начале, либо в середине. Точно так же и обозначение времен и наклонений изменяется в различных словах, но об этом в другой раз. Спутник мой страдал во время нашего полярного странствования разными болезнями. На днях он уехал в Енисейск, между прочим и для поправления здоровья. Мне также хотелось бы добраться туда, по крайней мере по последнему зимнему пути, т.е. в апреле, но служба для меня главное, а сверх того, и язык енисейских остяков начал интересовать меня предчувствуемым сродством как с угро-остяцким, так и вообще с финско-самоедскими языками.

В Туруханской области я встретил, между прочим, несколько ссыльных койбалов. Степанов совершенно справедливо говорил, что они отатарились, но я надеюсь еще как-нибудь добраться до настоящего их происхождения. От них я добыл несколько любопытных сведений и о китайских сойотах, о которых узнаю, вероятно, еще более в Минусинском округе. Может быть, между тамошними татарами найдется хоть один, знающий их язык. Настоящих же сойотов удастся встретить разве только в Туруханске, где открытый лист мой еще будет иметь силу для китайцев.

Для изучения койбальского языка мне было бы нужно иметь под рукой Казембекову тюркскую грамматику, полезны были бы мне и археологические трактаты, потому что в Минусинском округе придется заняться и древностями. В особенности желал бы я знать способы точнейшего исследования и описания курганов. Они весьма интересуют меня, и я занимался уже и прежде в Финляндии и в России ими, но до сих пор более в качестве дилетанта, чем ученого исследователя.

III

Доктору Лёнроту.
Назимова, 22 февраля (6 марта) 1847 г.

Занятый отправлением огромной корреспонденции, я могу только в коротких словах отвечать на твое прошлогоднее письмо, полученное мною в холодную январскую ночь,

когда я сидел, примерзший ко льду на Енисее. Проходя молчанием это неприятное событие, спешу primo loco уведомить тебя о счастливом спасении из отечества белых медведей. Теперь я опять нахожусь в пределах Енисейского уезда, в расстоянии не более 200 верст к северу от сего знаменитого уездного города. Я вот уже несколько времени стражду упорным катаром с кашлем и другими его принадлежностями, не теряю, однако ж, духа и работаю ежедневно над енисейско-остяцким наречием, встречающимся между городами Енисейском и Туруханском. В настоящее время так называемых енисейских остяков осталось не более тысячи человек, но еще долго спустя после завоевания Сибири говорили об аринах, коттах, ассанах, маторах и других народцах, как о ветвях этого племени.

Как о замечательнейшей особенности енисейско-остяцкого языка, я должен упомянуть о том, что личные окончания глаголов почти никогда не бывают в конце, а переносятся или в начало, или в середину слова. И в именах существительных придатки (Suffixe) принимают характер предлогов (Prafixen), но как имена, так и глаголы оставляют обозначение лица, если слово начинается согласной буквой. Спорные звуки *ї* и *ć* встречаются и здесь, и, сколько мне известно, произношение их нигде не имеет такой определенности, как именно в этом языке. Впрочем, изучение восточной отрасли самоедов привело меня к убеждению, что необыкновенная широта (Breite) как *с* и *ї*, так и других гласных, в сущности, зависит от непосредственно предшествующей им согласной. Впрочем, исследование енисейско-остяцкого языка я охотно предоставил бы Бергстади, но, не говоря уже о том, что сам предмет мало его интересует, я боялся за его здоровье, которое сильно пострадало во время нашего полярного путешествия. В Дудинке он пролежал больной все время, пока я ездил в Толстый Нос. Теперь, с самого начала февраля, он в Енисейске, где, вероятно, найдет и совет, и врачебную помощь.

Переходя от филологии к истории, замечу, что в Минусинском уезде Енисейской губернии есть племя, называемое койбалами, которых некоторые из старых писателей считали енисейскими остяками, другие же — самоедами. В настоящее время племя это совершенно отатарилось, но я

все-таки употреблю всевозможные старания к отысканию его происхождения. С этой целью я предполагаю по последнему зимнему пути отправиться в Минусинск, куда и прошу адресовать ко мне письма в продолжение всего будущего лета.

Через год мое путешествие окончится, и тогда я, вероятно, возвращусь на некоторое время в Финляндию и займусь приведением в порядок и разработкой собранных мною материалов. Работа эта, по всей вероятности, займет меня несколько лет.

IV

Асессору Раббе.
Назимова, 22 февраля (6 марта) 1847г.

Несколько недель тому назад я проснулся утром с кашлем, колотьем и другими страданиями в груди и, несмотря на то, должен был пуститься в трудный путь. Я ехал день и ночь при холодной, ветреной погоде, простудился и с тех пор слаб, расстроен и работаю нехотя. Вот причина, почему обещанное описание путешествия не готово еще. Другая причина — это господствующая здесь стужа, от которой и чернила, и мысли превращаются в лед. Как тебе покажется — термометр в моей рабочей комнате показывает утром от -5° до -7Р? В такой трущобе и сам нечистый не станет писать своих путевых заметок. Если б по крайней мере была хотя капля кофею, чтобы разогреть им свои окоченевшие члены, но, proh dolor![106] во время моего странствования по Туруханскому краю у меня украли весь мой запас кофею, сахару и проч. Следуя твоему медицинскому совету, во время болезни я читал «сказания мертвецов», но, сказать правду, Дон Кихот нравится мне гораздо более. На земле человеку все-таки лучше, как бы горестно ни было его положение.

Покуда я остаюсь в деревне Назимовой и по мере сил работаю над остяцким... Енисейские остяки обогатили мою филологическую сокровищницу премудрым открытием, что при спряжении глаголов личные окончания можно приставлять и к началу слова, впрочем, эта премудрость несколько для тебя неинтересна. До будущего ноября месяца я никоим образом не доберусь до Иркутска.

Ты спрашиваешь, когда я возвращусь в Финляндию? На это я могу отвечать тебе только то, что время академической службы моей окончится 10 марта 1848 года. Судя по этому, конечно, можно предполагать, что к сему времени я явлюсь в С.-Петербург с отчетом своему начальству. Но, как тебе небезызвестно, я до того сумасброден, что вдруг могу повернуть и в Китай или в какую-нибудь другую страну, в которой трудненько будет следить за мной. Не будь у меня тоски по родине, уверяю тебя, что я был бы готов провести весь свой век на Востоке.

Поклонись Рунеберту и попроси его подумать о Кучум-хане и его царстве — единственном финском царстве[110], которое когда-либо существовало. Хотя Кучум и турок, но упорство, с которым он защищал свое царство против завоевания Ермака, и личные отношения обоих героев, право, стоили бы поэтической обработки. Quantum satis![111]

V

Статскому советнику Шёгрему.
Енисейск, 22 марта (3 апреля) 1847г.

Наконец я снова дышу воздухом Енисейска, но дышу гораздо труднее прежнего. Горловые и грудные недуги, приобретенные под туруханским небом, развиваются под енисейским как нельзя лучше, может быть, вследствие самой природы их, а может быть, и от содействия суровости климата, плохого жилья и чрезмерных занятий. Я питаю, впрочем, твердую надежду, что минусинское солнце поправит мое здоровье и снова оживит истощенные силы; скверно только то, что в настоящее время года добраться до Минусинска нелегко. Дороги уже и здесь стали портиться, каковы же они в Минусинском округе! Во всяком случае я почитаю, однако ж, обязанностью выбраться из Енисейска все-таки зимним путем, потому что иначе не буду иметь никакой возможности исполнить данное мне поручение в предписанный срок. Кроме того, язык енисейских остяков собственно и не входит в круг моих исследований: он составляет особую семью, сильно уклоняющуюся от финско-самоедских языков. Для полного изучения его свойств и отношений к другим языкам потребны не месяцы, а годы; для краткого же этимологического

обзора достаточно и собранных мною материалов; требовать от меня большего было бы несправедливо, тем паче что язык енисейских остяков, сверх всякого чаяния, нисколько не самоедского происхождения. Поэтому я оставляю его и отныне посвящаю все свое время только языкам самоедским. По той же причине меня не задержит и койбальский язык, который теперь не более как татарское наречие, но прежде, вероятно, составлял отрасль языка енисейских остяков. Зато постараюсь как можно подробнее изучить языки карагасский, калмаженильский и сойотский, если только они еще уцелели. С карагайским без знания монгольского языка, вероятно, мне не справиться. Сверх того, так как в течение немногих остающихся мне месяцев, может быть, я и не успею покончить всех этих работ, то и осмеливаюсь спросить, чего я должен ожидать в таком случае.

Недавно я отправил к вам из Назимовой письмо и краткий отчет. С того времени жизнь моя шла весьма однообразно. Три недели мерз я в Назимовой, потом поехал в Анциферову, нашел там хорошее помещение, но ни одного остяка — все *отправились в Енисейск. Я последовал за ними* и десять дней сряду сидел с одним из них, не принимая ни малейшего участия в увеселениях города, в котором шампанское льется рекой.

О спутнике моем, кроме неприятного, я ничего не могу сообщить вам. С прошлого лета он страдает разными недугами и потому уехал в Енисейск с тем, чтобы в ожидании моего прибытия туда попользоваться советами врачей. Но отсутствие в Енисейске искусных врачей и недостаток врачебных средств принудили его ехать далее в Красноярск, из которого я недавно и получил от него письмо: он жалуется на усиление болезни и думает оставить и Красноярск. Не обозначая, куда отсюда поедет, он обещается, однако ж, в скором времени дать знать о себе. Впрочем, кажется, он не унывает. Тем не менее я не могу не беспокоиться за него. Теперь он, вероятно, ждет меня в Ачинске, что как нельзя кстати, потому что я решил не делать огромного крюка на Красноярск, а ехать в Минусинск прямо через Ачинск.

Мне крайне жаль, что на этот раз не могу послать вам что-нибудь занимательнее прилагаемого при сем тощего донесения. В голове бродит множество такого, что бы хоте-

лось передать вам, но у меня недостает необходимого для этого — душевного спокойствия.

Со временем, может быть, сообщу несколько заметок о Енисее, но пускаться в этнографические подробности не буду, потому что во время путешествия к Толстому Носу у меня набралось столько материалов, что их никак не втиснешь в узкие рамки путевого отчета.

VI

Лектору Коллану.
Енисейск, 22 марта (3 апреля) 1847 г.

Вот уже неделя, что я снова в Енисейске, но уже совсем уложился, чтобы, может быть, еще сегодня же отправиться в Минусинск. Из инструкции тебе известно, что в Минусинском уезде я должен буду изучать койбальский язык, составляющий теперь одно из тюркских наречий, списывать надписи со скал, раскапывать старые чудские могилы и собирать древности. Эти разнообразные занятия, вероятно, займут у меня большую часть лета, особенно если мне удастся добраться до желанной китайской границы. Из Минусинска я возвращусь в Красноярск, потом поеду в Иркутскую губернию, в которой также надеюсь пробраться к Китаю. Во время этого путешествия я буду заниматься калмашенильским, карагасским, сойотским и монгольским языками. Когда кончу все эти занятия, я, конечно, вперед определить не могу. Мне разрешено возвратиться в Петербург 10 марта 1848 года, но с нынешней почтой я послал запрос, можно ли мне рассчитывать на вспомоществование и далее этого срока. Я уверен, что мне не откажут в этом, потому что сумма, отпускаемая на мое путешествие, не превышает адъюнктского жалованья, которое мне предлагали в случае, если бы я захотел остаться при Академии. Для Академии, как мне кажется, будет гораздо выгоднее, а для меня приятнее, если я променяю петербургскую пустыню на сибирские. Несмотря на то, я охотно согласился бы оставить и обе пустыни, если бы только Академия назначила мне пособие на время, необходимое для обработки собранных мною материалов, и разрешила мне выбрать местопребывание по собственному моему благоусмотрению.

Если тебя только не слишком затруднит, то напиши мне при случае несколько строчек, ты можешь быть уверен, что сделаешь доброе дело, особенно при теперешних обстоятельствах, когда, вследствие болезни Бергстади, я принужден путешествовать один. В таком горестном положении добрые вести с родины — самое лучшее лекарство. Поклонись Шнельману, о котором я вспоминаю почти ежедневно, и прочим друзьям в Куопио.

VII

Асессору Раббе.
Енисейск, 22 марта (3 апреля) 1847г.

Приблизилось, наконец, время, когда быстро помчусь в Минусинск — страну очаровательных долин, исполинских гор, кипучих рек, сборное место бесчисленных народов, которые начертили свои подписи на крутых скалах и наметали высокие, как башни, курганы. Отдыхая под тенью кедра или купаясь в струях Абакана, как буду я жалеть о тебе и о других бедных людях, принужденных сидеть в холодном Гельзингфорсе. Гарцуя на татарском скакуне по беспредельным степям, я представляю себе, как ты тащишься по улицам Гельзингфорса на старых клячах, печально понуривших головы, не забывая, однако ж, что я ношусь по первобытной почве наших предков. Видишь — я рад, как дитя, и горд, как лев, хотя и не могу сказать, чтобы не было никаких неприятностей, но о них в другое время.

Ты все спрашиваешь, когда я возвращусь в Финляндию? На этот вопрос я уже отвечал, что срок моей академической службы кончится 10 марта 1848 года. Что касается до прочих планов моих на будущее время, то признаюсь — я нисколько не охотник до составления их. Всего приятнее было бы для меня поселиться частным человеком в каком-нибудь хорошеньком маленьком городке, жениться и работать, но ведь это чистая галиматья. Может быть, мне суждено быть новым изданием «Вечного жида» и провести весь свой век в странствованиях. Несомненно по крайней мере то, что жизнь становится мне тягостна, когда я принужден сидеть на одном месте, не имея другого утешения, кроме доставляемого мне наукой.

Не слыхал ли ты чего-нибудь о Бергстади? Может быть, он отправился в Финляндию, а может быть, поджидает меня где-нибудь по дороге. Мой маршрут ему известен.

Письма твои от 18 января и 1 февраля текущего года я получил исправно вместе с газетами. На письма Феликса и Европеуса не могу теперь отвечать, потому что почта сей час отходит. Кроме того, я и сам еду через несколько часов, и, как обыкновенно, в сопровождении казака. Золотопромышленники хотят удержать меня на святую неделю, но скоро наступит время распутицы, к тому же и бесконечные поцелуи мне нисколько не нравятся. В Академию я опять отправляю небольшое, может быть, слишком ученое и педантское донесение, которое Шёгрен, вероятно, доставит тебе в свое время.

VIII

Статскому советнику Шёгрену.
Минусинск, 20 апреля (2 мая) 1847г.

Я только что приехал сюда и спешу сообщить вам краткий отчет о моем последнем путешествии, насколько мне дозволяет мое болезненное состояние.

Из Енисейска я выехал вечером в день Пасхи и после четырехдневной езды по узкой и неровной лесной дороге прибыл в небольшой город Ачинск, лежащий на Московском тракте между губернскими городами Томском и Красноярском. Моя надежда собрать на этом пути какие-нибудь важные этнографические сведения обманула меня. Здешнее русское население до того поглощено торговыми делами, что ему некогда даже и христосоваться и меняться яйцами, не только что рассказывать о древней чуди. Кроме русских, по дороге в Ачинск, близ Чулыма и Кенчуга, есть и татары, но они стыдятся своего татарского происхождения. Следовательно, этнографу мало и от них поживы. Других же народов он не встречает здесь, хотя страна эта и богата названиями местностей, очевидно, финского и самоедского происхождения.

В Ачинске я отдохнул только один день и поехал дальше по минусинской дороге. Как приятно было бы для меня видеть прекрасные долины, по которым идет дорога в Ужур,

зеленеющими, оживленными кроткими лучами весеннего солнца; но в настоящее время, покрытые от дождя и оттепели отвратительной грязью, они имели вид топких болот. Постоянно пасмурное небо и беспрерывный дождь делали эту прекрасную страну еще непривлекательнее. Кроме того, благодаря дождю, вместо того чтобы ехать до Минусинска в санях, я еще в Ужуре должен был пересесть в крестьянскую телегу. Тут же оставил я большую дорогу и поворотил в татарские степи, где безостановочно в течение четырнадцати дней переезжал из долины в долину, из улуса в улус, посетил двух башлыков, трех князей и одного татарского магната — владельца 70 табунов (т.е. 3500 коней), который угостил меня кониной и чаем из китайских фарфоровых чашек. От Ужура я ехал прекраснейшей дорогой, идущей мимо Небесных озер к Кизильской управе, а отсюда до качинских форпостов вверх по Белому Юсу и потом снова повернул к Енисею, объездив, таким образом, большую часть кизильских и качинских степей, которые с своими бесчисленными, безлесными холмами и долинами казались мне морем, волны которого и по миновании бури не улеглись еще.

В степях я записал много часто, впрочем, противоречащих преданий о древней чуди. По одному весьма распространенному между татарами преданию, этот мифический народ, называемый многими стариками аккараком (белоглазым)[112], был первым обитателем этой страны, но оставил ее задолго еще до прибытия киргизов[113]; и все древнейшие, повсюду рассеянные по степям могильные курганы — его произведения. По этому преданию противоречат многие другие. Так, татары рассказывают, что во времена чуди в степях совсем не было березы; когда же береза, или «белый лес», стал, на них показываться (т.е. когда пришли русские и начали распахивать поля), чудь догадалась, что страной этой завладеет «Белый царь» и, убоясь его, убралась вся в курганы. Ясно, что первое предание смешивает чудь с киргизами и приписывает древнейшие курганы собственно сим последним. И действительно, есть много такого, что говорит в пользу их киргизского происхождения. Не ручаюсь за справедливость, но здешние жители рассказывали, что несколько казаков, раскопавши один из больших курганов, *нашли скелет и подле самого носа его каменную круж-*

ку с нюхательным табаком, довольно хорошо сохранившимся, и что, кроме того, находили еще разные другие вещи весьма позднего происхождения. Очень может быть, что все это открывали в новейших и именно в татарских курганах, во всяком, однако ж, случае не менее сомнительно и мнение, что древнейшие из них принадлежат чуди, т.е. финским народам. По крайней мере ни в Финляндии, ни в Лапландии, ни в Северной, населенной финским племенем России я не встречал ни одного подобного памятника. В особенности кажутся мне совершенно чуждыми этому племени четырехугольная форма могил, выведенные из сланца или из другого камня стены, разобщенные отделения могил и, наконец, колоссальные, часто кверху заостренные могильные камни, в которых я с первого же взгляда узнал изображения божеств сибирских народцев. Величина и все устройство этих могил в совокупности с преданием делает почти несомненным, что они семейные. Хотя Степанов и уверяет, будто в каждом кургане находится по одному покойнику, в раскопанном мною кургане я нашел четыре человеческих скелета. Черепа, из коих только один сохранился вполне, кажутся мне весьма отличными от тех, которые я находил в татарских курганах; решение, какого они происхождения, предоставляю физиологам.

Но хотя бы вышеупомянутые чудские могилы и были позднейшего монгольского или киргизского происхождения, чего доселе нельзя еще решить, предания и многие названия местностей, заимствованные из финских языков, доказывают, что финские народы во время оно проходили через эти степи. Еще более следов оставили здесь самоеды; к немалому моему изумлению, почти все родовые названия койбальских татар чисто самоедские: так, я встретил у них, между прочим, и название Бай, которое приводил так часто, говоря о енисейских самоедах. Койбальское[114] племя в настоящее время совершенно отатарилось, та же участь, как слышал, постигла и немногих уцелевших маторов[115], между которыми восемь лет тому назад была еще одна слепая старуха, говорившая на своем родном языке. Многие старые татары рассказывают, что маторы и койбалы составляли некогда один народ, говорили одним языком и находились в близких сношениях с сойотами[116], у которых даже и

в новейшие времена брали себе жен. Давно уже отатарившиеся арины в настоящее время составляют всего один улус из 60 человек, причисленный под названием Ара к Качинской управе. У татар сохранилось множество преданий о силе и богатстве древних аринов, о местах их жительства, об их битве со змеями и тому подобном. Пропускаю все это по необходимости ответить и на некоторые из вопросов, предложенных мне г. Кёппеном.

1. О запутанном и спорном отношении границ минусинских татар надеюсь сообщить точнейшие сведения впоследствии. Здесь упомяну только, что качинские татары соединились с красноярскими казаками, прогнали киргизов и заняли все их владения по обеим сторонам реки Юс. За сим переселенцы, переходившие сюда мало-помалу из Томской губернии, заняли плодоносные степи к северу от Белого Юса. Вследствие этого качинский род разделился на две ветви, из коих одна осталась на реке Каче и в ее окрестностях, другая же, оттесненная кизильдами, перебралась в бесплодную степь между Белым Юсом и Абаканом и даже на юг от Абакана в страну койбалов. Эта южная ветвь — наибольшая из всех татарских племен Сибири (до 9436 душ), северная же совершенно обрусела.

2. Кизильские татары[117] — смесь различных родов, из коих один даже калмыцкого происхождения, почему и называется Калмах. Другой именуется Камнар (по татарскому произношению Qamnar), а также и Камлар (Qamlar); это последнее название в инструкции г. Кёппена превращено по ошибке в Каплар. Оно напоминает русское выражение «язычники камларского толка», но выражение это относится не к одному Камларскому улусу, а как ко всем татарам, преданным шаманству, так и к другим соседним народцам, которые и доселе в официальных бумагах разделяются на христиан и шаманов, или камларов (Kamlar множ. число слова *Кам* — шаман).

3. Качинские татары, называющие себя Kaschlar (мн. чис. слова Kasch, Qasch), приняли и слили с собою, кроме вышеупомянутых аринов и разных остававшихся в этой стране киргизов, именем которых, на качинском языке, и теперь еще называется Тубинский улус. От этих киргизов происходят разные принадлежащие к Ужурской волости

полурусские, которых г. Кёппен называет «оседлыми нерусскими». Другие же происходят, напротив, от качинских и кизильских татар.

За сим скажу несколько слов о самом себе. Провалявшись несколько дней, я теперь снова на ногах, но все еще страдаю желудочным расстройством, кашляю, чувствую головные боли и лихорадочные припадки. Вспомнив слова Жан Поля, что человек бывает настолько болен, насколько это ему самому хочется, я вскочил в диком отчаянии с постели, решив не быть больным. Следуя пословице similia similibus curantur[118], постараюсь излечить приобретенные моими поездками болезни, и особенно гнусные туберкулы, поездкой за 25 верст в Качинскую управу. Там я располагаю приняться за обыкновенные свои занятия, и прежде всего за койбальское наречие. Определив его отношение к самоедскому, начну поездки вверх по рекам Абакану, Енисею, Тубе, Алыму и другим и, не покидая филологических исследований, примусь осматривать чудские могилы и другие памятники древности, собирать предания и все возможные материалы, необходимые для того, чтоб добраться до древнейших обитателей Минусинского округа.

Поручения — снабдить музей Академии древностями из Минусинского уезда — к сожалению, я не могу исполнить, потому что всякая, хотя бы самая незначительная, вещь, найденная в земле, отбирается начальством и отсылается к губернатору. Так как все доселе открытые редкости давно уже отправились этим путем, то для приобретения новых и не остается ничего, кроме раскапывания курганов, а для этого мои средства слишком недостаточны, потому что на каждый большой курган, или так называемый «маяк», потребуется от 50 до 100 рублей ассигнациями. Положим, что я велел бы разрыть хоть только десять курганов, у меня не хватило бы затем и на могилу для собственной своей особы. В этом случае ко мне весьма можно применить латинские изречение: ultra posse nullus obligatur[119]. Несмотря на то, я решил, однако ж, употребить на курганы сто рублей серебром и потому осмеливаюсь спросить: будет ли угодно Академии возвратить мне эту сумму, взамен чего я предоставляю ей все черепа и все, что будет вырыто. Я предлагаю этот вопрос отнюдь не из

корысти или жажды стяжания, но решительно вследствие крайнего истощения казны моей. Дороговизна в этом краю превосходит всякое вероятие. В Минусинске я заплатил за пуд пшеничной муки 25 рублей ассигнациями, за пуд сахару — 65 рублей, за фунт кофею — 3 руб. 50 коп., и т.д. А я, кроме самого себя, должен кормить еще казака, без которого путешествие по Восточной Сибири решительно невозможно. Ко всему этому и несчастная болезнь Бергстади обошлась мне недешево. В степях я надеюсь сделать некоторую экономию, но меня все-таки пугает мысль: чем-то придется существовать в Красноярске и Иркутске. Если Академия не согласится принять этой траты на себя, потому что собирание черепов не входило в состав возложенных на меня поручений, я буду смотреть на них как на мою собственность и постараюсь вознаградить убыток другим путем. Я получил уже из Гельзингфорса поручение выслать черепов в тамошний анатомический кабинет, не считаю, однако ж, себя вправе выполнить это поручение без разрешения Академии.

IX

Асессору Раббе.
Минусинск, 22 апреля (4 мая) 1847г.

Я нахожусь теперь в стране, где каждый встречный — и христианин, и язычник — спрашивает меня: «Ну, как вам нравится наша Италия?». Обращаюсь к тебе, изъездившему весь свет, скажи мне, сделай милость, окружали ли тебя в Италии нагие степи и песчаные пустыни, бывает ли и там в конце апреля снег, вьюга и такая стужа, что поневоле прибегаешь к шубе и теплым сапогам и все-таки простужаешься, сваливаешься в постель и подвергаешься опасности обратиться в труп? Так началось для меня пребывание в этой пресловутой Италии после того, как так счастливо отделался от всех опасностей, грозивших мне в пустынях Самоедии.

Но так как я теперь опять на ногах и притом горожанин, то и распорядился, чтобы сапоги мои чистили каждый день, и принимаю аристократию города. Сам же редко выхожу со двора, и то только к почетнейшим. Особенно в хороших отношениях нахожусь я с моим хозяином — весьма

рьяным христианином из Перми. Мы в тайне составили с ним план на погибель так называемых скопцов. Мой хозяин того мнения, что эту секту можно вполне искоренить устроением монастыря в Минусинске, и я поддерживаю это мнение, потому что в монастыре ученый путешественник всегда может отдохнуть и оправиться от дорожных неприятностей лучше, чем где-нибудь.

Совсем другого рода толки происходят у меня ежедневно с язычником-тюрком, или так обыкновенно называемым татарином. Многие поэты были несчастны в любви, и сей татарин, горько жалуясь на то, что его дражайшая убежала от него, упрашивает меня, чтобы я, как царский уполномоченный, силой возвратил неверную в его объятия. И я обещаю ему, потому что иначе он не хочет петь. Конечно, я еще не понимаю ни одного слова в тюркско-татарских песнях, но уже и в самих звуках языка, и в мелодии слышится задушевная мягкость, глубоко проникающая в сердце.

Здоровье мое во все это время плоше, чем когда. Кроме других недугов, в эту весну и грудь беспокоила меня более прежнего. Несмотря на то, я располагаю поездить это лето по татарским степям и, может быть, переберусь через Саянские горы в китайские владения, чтобы познакомиться с сойотами. В Китай я ни в коем случае не отправлюсь до начала июля и надеюсь до тех пор еще дать о себе весточку. До свидания.

Твой тюркский брат.

Путевой отчет

Агульск, 1 (13) декабря 1847г.

Город Минусинск расположен по рукаву Енисея, принимающему в себя маленькую речку *Минуса**, на песчаной степной долине, со всех сторон окруженной горами. Город и теперь то же, что был во времена Степанова ville

* О происхождении слова минуса татары рассказывают, что два брата древнего народа (чуди) заспорили о землях на берегу реки, и каждый восклицал при этом: «Min usa, min usa!». Выражение это, говорят, значило по-чудски *«моя часть»*, следовательно, сходство с финским minun osa.

champêtre[120], лучшее украшение которого составляет множество цветов на улицах, на площади и даже на крышах. Общественных строений почти нет, город состоит большей частью из маленьких, жалких домиков полутатарского стиля, с высокими кровлями и низкими стенами. В этих хижинах, за исключением немногих чиновников и нескольких купцов, живут бедные горожане, которые ни образованностью, ни образом жизни не отличаются нисколько от простых крестьян. Может быть, самое любопытное в Минусинске то, что в хороший, светлый день отсюда можно видеть и простым глазом снежные вершины Саянских гор.

Несколько верст ниже города в Енисей впадает с левой стороны значительная река Абакан. По обеим сторонам этой реки кочует множество татарских семейств, а близ самого устья находится улус, в котором посреди разнообразных берестяных юрт красуется препорядочный домик — дума старшины качинских татар. Кто любит красоты природы, тот охотно променяет со мной город Минусинск на этот улус, тем более что здесь в маленьком доме можно найти тихий и спокойный приют для ученых занятий. В этом улусе я прожил нынешней весной три недели и занимался изучением языка, обычаев, религиозных понятий татар и всего, что относится до ученой цели моего путешествия. Вместе с тем я старался, сколько можно было, воспользоваться и живительными лучами здешнего весеннего солнца для восстановления моих сил, истощенных болезнью и напряженными трудами.

Поправив несколько здоровье, я выехал из улуса в Духов день по дороге, ищущей вдоль левого берега Абакана через степи качинских и сагайских татар[121]. При самом выезде я увидел на противоположном берегу Абакана многочисленное собрание татар, ходивших взад и вперед вокруг костра, разложенного на вершине высокого холма. Ямщик объяснил мне, что это татары койбальского племени, собравшиеся для совершения поминок по одном из своих умерших родственников. Узнав это, я велел остановиться и отправился в сопровождении нескольких татар на койбальскую тризну. По дороге я начал расспрашивать моих спутников о похоронных обрядах как кобайлов, так и других татар, и вот что узнал от них. При известии о чьей-нибудь

смерти татары собираются во множестве копать могилу для покойника. Каждый татарин считает священной обязанностью почтить этим память усопшего, родственники его не должны принимать участия в этой работе. Нынешние татары хоронят своих мертвых всегда на возвышенных местах и стараются, чтоб на общих кладбищах могильные насыпи находились в одной линии, а сами могилы копались в одном направлении от востока к западу; что же касается до величины, то теперешние татарские могилы длиной от двух до четырех аршин и редко глубже аршина. Для взрослых людей в самой могиле делается род деревянного ящика, шаманов же кладут всегда прямо в землю, а детей — обвернув только берестой*. Самого покойника одевают по большей части в лучшие его платья и, сверх того, обвертывают шелковой или другой тонкой тканью; в могиле по теперешнему обычаю ему дают лежачее положение лицом вверх и с обращенными к востоку глазами. Для каждого мертвеца, за весьма редкими исключениями, вырывают особенную могилу. В ноги покойника кладут седло, ставят водку, творог, мясо, масло и т.п., как припасы в дорогу. Могилу засыпают, как обыкновенно, землей и сверх того наваливают на нее продолговатый бугор вышиной от одного до двух футов и покрывают его сверху камнями.

Схоронив таким образом покойника, присутствующие, большей частью родственники, устраивают на могиле пир, при чем не жалеют ни айрана[132], ни разных яств. Это пированиe продолжается обыкновенно три дня. На двадцатый день родственники вторично собираются на могиле и снова пируют в память покойника. То же повторяется и в сороковой день, и тут убивают любимую лошадь покойника, которая со дня смерти своего господина до этого дня пользуется совершенной свободой. Лошадь съедают, а голову ее надевают на палку, воткнутую на одном конце могилы. За сим празднуются еще поминки через сто дней, и именно на этито и попал я в этот раз.

Тут собралось около сорока человек. Каждый принес с собой айран, вареное и жареное мясо, сыр, молоко, масло и

* Многие татарские, самоедские и финские племена вешают своих мертвых, и особенно детей, на вершинах ветвистых и тенистых деревьев: обыкновенно для этого выбирается лиственница, которая у этих народов особенно чествуется и которой они приносят даже жертвы.

другие купанья. Но когда я подоспел, большая часть всего этого была уже уничтожена и многие из пировавших лежали уже пьяные. Те, которые были еще на ногах, курили трубки и печально потряхивали опорожненными бутылками айрана. На одной из могил, крайней в ряду, по правую сторону, сидели женщины и попеременно то ели, то пили, то курили, то плакали, то пели жалобные песни. Одна из них была, очевидно, вдова покойника, потому что, как бы припоминая прежние свои обязанности, укладывала могилу кусками сала и поливала ее айраном из больших чашек. Напротив ее, на левой стороне могилы, сидела одинехонька старая женщина, худая, с потускневшими глазами, с впалыми щеками, завернутая в совершенно черное рубище и с посохом в дрожащих руках. Это была мать покойника — 70-летняя старушка, схоронившая опору своей старости, своего единственного тридцатилетнего сына. Мудрено ли, что она сидело одиноко на могиле и с другими не пила и не ела. Она плакала, голосила, стучала своим посохом в могилу, спрашивала покойника, как у него достало сердца покинуть свою старую, беспомощную мать. Временами она вытягивала тощие руки, обнимала пустой воздух и поднимала дикий рев. Раз она упала даже без чувств на землю, и я обрадовался было, думая, что кончились ее страдания, но она вскоре вскочила, бросилась на могилу и начала сбрасывать с нее камни, как будто бы силой хотела вырвать своего милого сына из недр земли. Наконец один молодой татарин сжалился над несчастной, посадил ее в свою телегу и увез от могилы. Но долго еще и затем раздавались по степи стенания и жалобные вопли бедной матери.

Когда мало-помалу пировавшие разошлись, и я отправился к своему экипажу — татарской телеге, так скверно устроенной, что из нее я мог видеть только то, что было впереди. Рассматриваемая в этом направлении степь представлялась бесконечной плоскостью без малейшей неровности на ее зеленой поверхности: ни холма, ни куста, ни камня, ни одна даже травинка, казалось, не осмеливалась перевысить свою соседку. Но зато тем скорее бросалось в глаза все случайное, не составляющее ее сущности: здесь группа старых могил, обнесенных со всех сторон высокими каменными стенами; там татарская деревня, или так называ-

емый улус, состоящий из нескольких берестяных юрт. Вокруг юрт паслись многочисленные стада диких и ручных лошадей, коров, овец и коз, и все отдельными стадами, а лошади, сверх того, разделялись еще на табуны*. Пастухи разъезжали верхом по степи и удерживали стада в порядке каждый в своем участке.

Все это я без труда мог разглядеть из моего широкого тележного короба, но всякий раз, когда вылезал из него — по правую и по левую сторону дороги виднелось множество холмов и возвышенностей. И они были так же голы и безлесны, как сама степь, только на левом, низменном берегу Абакана и на бесчисленных островах, образуемых этой рекой, поднималась кое-где роща берез, тополей, ив, лиственниц и т.п. Хлебных полей нигде не видно, потому что, по бесплодию почвы, русские не селятся по Абакану, а качинские татары почти все без исключения пастухи. Последние из всех минусинских татар — самые богатые. «У них, — говорил мне один бедный койбал, — айран и кумыс водятся круглый год, а скот кишит вокруг их палаток, как муравей в муравейнике». В справедливости этих слов я мог убедиться в первый же день моего путешествия по степи, попав случайно к татарину, у которого, по его собственному показанию, было 6000 лошадей, 2000 коров, 1000 коз и овец да сверх того чистыми деньгами несколько сот тысяч рублей.

Хотя и миллионер, татарин этот в образе жизни ничем не отличался от своих соплеменников: седло его было даже далеко не так красиво и нарядно, как обыкновенно у всякого татарина. Как христианин, он не ел конины и не пил кумыса, но айран был его любимым напитком и единственным лекарством во всех болезнях. Он встретил меня в шелковой рубашке и бархатном кафтане, опушенном соболем, но только что мы познакомились поближе, последний тотчас же сменился старым козьим тулупом. Юрта его была больше других и отличалась круглым основанием и куполообразной крышей. У минусинских татар бывают и конусообразные юрты, совершенно сходные с горно-лопарскими и самоедскими, но в этих, перешедших, вероятно, от прежних обитателей страны, живут только бедные семейства. Впрочем, внутреннее устройство как в тех, так и в других

* В каждом табуне от 30 до 70 кобыл и один жеребец.

одинаково. И в тех, и в других вместо полу — голая земля, вместо трубы — отверстие в крыше, вместо печи — очаг из нескольких камней, сложенных на средине юрты в кружок. Дверь всегда на восток, и насупротив ее в каждой юрте диван из мягких войлоков — ложе хозяина и хозяйки. Направо от входа женское, а налево — мужское отделение. Кругом по стенам поделаны полки, уставленные на мужской половине ящиками и сундуками, на женской — котлами, чашками, самоварами и другой хозяйственной утварью.

Но возвратимся к татарскому миллионеру. Нельзя не заметить, что в выборе жены он был необыкновенно счастлив: она молода, хороша собой, предана мужу и мастерица приготовлять айран. Когда я спросил его, где отыскал он такое совершенство, он ответил мне татарской пословицей: «Увидел хорошую дичь — стреляй ее; встретил красивую девушку — бери ее». Пословица эта, очевидно, сложилась в те времена, когда татары как на охоте, так и при сватовстве руководствовались одним законом — правом сильного. Этот закон и доселе уважается еще бедными татарами, но вообще на сватовство такого рода теперь смотрят уже как на воровство, и татарский миллионер, приведший с таким самодовольствием эту пословицу, самой собой разумеется, нисколько не следовал ей. Напротив, он сознался затем, что ухаживал за своей молодой женой целых два года, три раза в год ездил к ближайшим ее родственникам, возя с собой айран, мясо, масло, сыр, дорогие ткани, прекрасных лошадей — словом, обычный калым. Калым, по теперешним понятиям, составляет важную статью в татарских брачных условиях; он не требуется только тогда, когда невеста вдова, когда или убежала от первого мужа, или прогнана им. Существует еще между татарами обычай, по которому никто не может жениться в своем племени, как бы родство ни было отдаленно, тогда как и ближайшее не препятствует браку, если невеста из другого племени[12]. Таким образом и наш хозяин женился на дочери своей родной сестры, следуя в этом случае своей татарской, а не христианской совести. Но таковое нарушение Моисеева закона не обошлось, однако ж, ему даром, потому недавно избранный новый племенной старшина выступил против него с требованием ста хороших быков как очистительной жертвы. Это требо-

вание заставило моего татарина хлопотать о смене этого старшины. Рассчитывая на мой совет и на мое содействие, он, не сказав мне ни слова, созвал в продолжение ночи, пока я преспокойно спал, всех князей и влиятельных членов племени. Проснувшись поутру, я тотчас догадался, что готовится пир: резали баранов, пекли яйца, хлеб, наливали молоко в большие сосуды. На огне стоял большой котел с заквашенным молоком. Его накрыли деревянной створчатой крышкой с отверстием на боку. В это отверстие вставили деревянную дугообразно согнутую трубочку, другой конец которой опустили в железную кружку, стоявшую в ведре, наполненном горячей водой. Все отверстия и щели в крышке котла и около трубочки тщательно замазали глиной. Когда молоко в котле закипело, через деревянную трубочку потек в железную кружку нектар-айран*. Остатки кислого молока в котле были затем обращены в сыр.

Пока шли приготовления к пиру, собралось до двадцати человек гостей. Вошедши в юрту, они уселись вокруг очага и, скрестив руки и ноги, курили свои трубки в таинственном молчании. Взгляды их были так же мрачны, как их лица, волосы и одежда. Я с нетерпением ожидал, что возвестят, наконец, эти советники. Между тем солнце поднялось так уже высоко, что лучи его пробрались сквозь дымовое отверстие и осветили омраченные лица татар, сидевших в юрте. Вскоре за сим котел с айраном был снят с огня, айран разлит в бутылки, и хозяин вынул из сундука довольно большой старинный серебряный кубок. Тут в безмолвном и неподвижном совещательном собрании обнаружилось, наконец, некоторое движение: члены его начали выбивать пепел из трубок, покашливать, помешивать огонь, каждый старался чем-нибудь заявить свое присутствие. Серебряный кубок пошел кругом, бутылка за бутылкой опоражнивалась, вместе с тем исчезали и жирная баранина, и сыр, и яйца, запеченные до твердости камня. Но так как присутствующие были большей частью князья, то и сохраняли некоторое достоинство и не пили айрана через меру.

По окончании трапезы, которая у татар составляет первый акт всякого предприятия, присутствующие вышли из

* Айран и кумыс приготовляются одинаковым образом: первый из коровьего, второй из кобылього молока.

юрты для предварительного совещания, оставив меня одного *за столом, уставленным сыром, яйцами и другими яствами*. Через несколько времени некоторые из заговорщиков вошли опять в юрту и начали мне жаловаться на несправедливости, оказываемые племенным старшиной как им самим, так и другим татарам. Вследствие этого они решили подать просьбу о смене его и просили моего содействия и ходатайства в этом деле, намекая, что вознаградят меня за труды парой отличных лошадей. С своей стороны и племенной старшина, несчастный предмет этих козней, просил меня за несколько дней перед этим помочь ему в том же деле, обещая подарить казанский тарантас. Таким образом, я *легко мог* добыть *себе* и *лошадей*, и *тарантас*, но *предпочел* отказаться и продолжать путешествие на наемных лошадях и в наемном экипаже.

Был уже полдень, когда я расстался с татарскими аристократами и пустился снова в степь. Солнце жгло, термометр показывал +27°, несмотря на то, что в Саянских горах лежали еще огромные массы снега; воздух был полон душных паров, развивавшихся, вероятно, из упомянутых снежных масс, хотя татары и уверяли, что они порождаются криком кукушки. Степь, с виду гладкая, местами поросла пикульником (род ириса), езда по которому, благодаря толстоте стеблей его, *соединена с весьма неприятными толчками*. Как обыкновенно, на степи виднелось много юрт, пасущихся стад и пастухов. Нередко попадались и пьяные от айрана татары, потевшие под бременем овчинных тулупов, и молодые девушки, которые сидели на траве и шили.

Между тем как я погружался в эти созерцания, меня вскоре догнали четыре татарских князька на быстрых скакунах своих. Они мелькнули мимо, не сказав ни слова, и мой возчик поехал следом за ними. По уменьшению толчков я не мог догадаться, что князьки, заметив, вероятно, из юрты, что данный мне возница не умеет ездить по степи и *избегать кустов пикульника, явились, чтоб показывать ему* дорогу. Вглядываясь в них, пока они ехали впереди меня, я убедился, что татарин держится на спине лошади далеко лучше, чем на своих собственных ногах, что, впрочем, замечал не раз и прежде. Он ходит тяжело, переваливаясь, на седле же сидит так ловко, как будто бы это было естествен-

ное его положение. Трезвый, пьяный, бодрый, сонный — верхом на лошади он равно безопасен от всякого несчастия. Это зависит отчасти от привычки, отчасти и от нежных, дружественных отношений между конем и всадником. Почти у каждого зажиточного татарина есть любимая лошадь, которая ему дороже жены и всего на свете, которую он ежедневно гладит и ласкает, и бережет, как зеницу ока. Со своей стороны и лошадь охраняет всячески своего господина, и именно в минуты слабости. Так, все татары единодушно уверяли меня, что хорошая лошадь никогда не отойдет от своего хозяина, если он ото сна или спьяну свалится с нее и заснет — случай чрезвычайно, впрочем, редкий. Многие убеждены даже, что верховая лошадь знает мысли, намерения и желания своего ездока и делит с ним радости, печали и заботы. В старинных богатырских песнях конь часто является в минуту опасности на помощь своему господину, и если господин погибает, то и он гибнет вместе с ним. Поэтому у татар лошадь отнюдь не вьючное животное, а лучший друг и сопутник во всех похождениях.

Четыре всадника, давшие повод к этому замечанию, провожали меня около десяти верст до маленькой речки Уйбат. Вместо того, чтоб переправиться через речку и ехать по обыкновенной дороге, я своротил направо и отправился отыскивать древние надписи, которые, по указанию Спасского, находятся на некоторых намогильных камнях верстах в пятнадцати выше истоков Уйбата. Я ездил из улуса в улус, расспрашивал и старого, и малого, но никто ничего не мог сказать об этих надписях. Между тем солнце закатилось уже за горы, и мне пришлось остановиться на ночь в улусе, в котором жили три богатых брата и несколько бедных семейств. Три брата были женаты, и каждый жил в особой юрте, потому что по татарскому обычаю каждое семейство должно иметь свое отдельное жилище. Женится один из сыновей — он тотчас же оставляет юрту отца, точно так же и женатые братья не могут жить под одной кровлей; во времена же многоженства даже и каждая жена имела свою юрту. Несмотря на то, все члены семьи живут обыкновенно дружно и согласно, не делят имущество, едят за одним столом и ведут одно хозяйство. Всеми семейными делами заведывает отец, а по смерти его — старший брат.

Так и в этом улусе старший из трех братьев заступил место отца, и хотя ему было только 22 года, но вся семья, и особенно женщины, уважали его, как патриарха. В его присутствии даже и жены двух других братьев не смели выйти из кухонного отделения, и по одному его мановению все женщины выбегали из юрты. Несколько большей свободой пользовалась одна только его жена, шестнадцатилетний ребенок. Она лежала за занавеской на диване и, посматривая на меня украдкой, строила разные детские гримасы. Лежа подле огня, я долго забавлялся ее проделками. Наконец догорело и последнее полено, и молодая шалунья заснула близ своего супруга, давно уже храпевшего.

И мои глаза начинали уже смыкаться, как вдруг совсем неожиданно раздался барабанный бой, через минуту дверь юрты отворилась, и в нее кто-то крикнул, что в улусе умирает ребенок и что его хотят возвратить к жизни помощью шамана. Я изъявил желание присутствовать при этом лечении, но получил отказ. Посланный сообщил мне, однако ж, что шаман в своем обыкновенном чародейческом наряде* скачет и прыгает вокруг колыбели, бьет в барабан и призывает подчиненных ему духов. Часто можно было слышать, что он выходит из юрты и, несмотря на темь, бегает по степи, барабаня, свистя, крича и воя, как безумный. Вскоре к его неистовым крикам присоединился и страшный лай встревоженных им собак, и рев коров, и громоподобный топот диких табунов, в испуге рыскавших по степи. Эта отвратительная серенада, начавшаяся только что стемнело, продолжалась до полуночи**.

На другой день рано утром я снова отправился в степь отыскивать вышеупомянутые надписи. В этот раз я нашел на одном намогильном камне несколько вырезанных фигур, но решительно отличных от приводимых Спасским, которые едва ли и отыщутся, потому что, по всей вероятности, курганы разрывали уже и при этом засыпали камни землей. Отрывать же их — потратить и времени, и денег

* Чародейческий наряд этот состоит из остроконечной шапки, закрывающей глаза и большую часть лица, и из широкой длинной мантии с висящими суконными лоскутами, обозначающими подвластных шаману духов, так называемых айна[18].

** Чародейственные церемонии эти у татар совершаются только в ночное время.

больше, чем я могу, а потому я и повернул назад, на обыкновенную дорогу через Уйбат.

Перебравшись вброд через эту маленькую речку, я заметил, что степь начинала мало-помалу подыматься над уровнем Абакана. Скоро я въехал на небольшую гору Ю-таг (Yy-tag), с которой открывался обширный вид на новую степь. Между множеством предметов, которые я на ней увидел, следует особенно упомянуть об одном улусе, который значительно отличался от всех, доселе мною виденных. Вместо обыкновенных берестяных юрт здесь были войлочные и несколько небольших избушек, построенных на манер русских. Кроме того, виднелось множество загородей для скота, маленьких амбаров, больших стогов сена и т.д. Удивленный такой роскошью, я начал расспрашивать моего возчика, который и сообщил мне, что этот улус — татарское зимовье, что качинские татары меняют свои жилища обыкновенно по три раза в год: весной, летом и осенью; что имеющие большие стада принуждены даже и летом несколько раз перекочевывать, тогда как бедные семейства остаются целое лето на одном месте, что многие не имеют даже и особенных весенних становищ, которые, впрочем, ничем не отличаются от летних. Как для летних, так и для весенних становищ избираются по преимуществу места с хорошими пастбищами; для зимовьев же — лесистые, близ реки или озера. Зимнее становище — как бы главная резиденция татарина: тут он живет в избе или по крайней мере в войлочной юрте; тут у него луга, иногда и пашни; тут он строит не только амбары для запасов, но и загороди для скота. В этих загородях он держит, однако ж, скот не всю зиму, а только в дурную погоду или когда выпадет слишком много снегу. Диких лошадей никогда не загоняют в загороди, они устраиваются только для одомашненных лошадей, коров, овец и коз. Рогатый скот для обезопасения от хищных зверей запирают в загороди каждую ночь.

Как я въехал в замеченное мною с горы зимовье, скот загоняли уже в загороди. Пожилой татарин пустил меня к себе на ночлег, но заснуть не было никакой возможности. Там, где собраны сотни коров, овец и коз, неизбежна музыка, от которой, как говорит Вайнемойнен, «лопаются перепонки уха, и сон бежит прочь на целые недели». По счас-

тью, мой хозяин был из рода певцов и почти всю ночь занимал меня древними сказаниями о богатырях. Сказания эти обыкновенно поются под звуки двухструнной балалайки, но так как при такой передаче певец почти никогда не успевает докончить в одну ночь* и одной богатырской песни, то я и упросил старика просто рассказать мне вкратце содержание его лучших песен.

Татарские богатырские песни изображают смелыми чертами деяния какого-нибудь преславного витязя, заставляют его побеждать не только людей, но и богов, и заключаются обыкновенно тем, что непобедимый герой добывает, наконец, себе жену и спокойно доживает с нею до глубокой старости. Сравнение татарских богатырских песен с финскими и самоедскими показывает замечательное сходство их с сими последними как в целом, так и в частностях. Колоссальное в представлении — главная характеристическая черта, общая всем им, потому что воспеваемая финскими песнями природа, богатая серебром и золотом, деревья, касающиеся макушкой неба, животные, покрывающие собой целые моря и земли, богатыри, от одного голоса которых моря волнуются, земля дрожит и горы расседаются, — все это и многое другое почти слово в слово находится и в татарских богатырских песнях, и, несколько только в грубейшей форме, в самоедских. Большое сродство между ними обнаруживает далее и та внутренняя жизнь, которую песни этих народов придают всему существующему в природе: каждая рыба, птица, куст, камень, каждое бревно одарены чувством и радуются, и горюют. Много сходного и в чародейственных представлениях. В этом отношении и у татар сила магии, т.е. мудрость, ставится выше силы меча; так, герои их отправляются в далекие земли за мудрым советом, и не один непобедимый побеждается слабой женщиной только силой мудрости. Замечу здесь, кстати, что по понятиям татар, песнь — высшее выражение мудрости и нет в природе существа, которое бы могло противостоять ей. С благоговением рассказывали мне татары, как семь Кудаев[125] сидят на вершине облака и слушают прекрасные песни, сопровождаемые звуками арфы. Даже Айна выходит из земли по пояс, чтоб послушать звуки арфы и песнь,

* *Как шаманы, так и певцы сообщают свою премудрость только ночью.*

которой увлекаются и птицы воздушные, и рыбы водные, и звери степные, и даже сами скалы и горы. Как не вспомнить при этом песни Вайнемойнена, когда он в первый раз дотронулся до струн своей арфы из щучьих ребер!

Татарские богатырские песни имеют, кажется, и некоторую историческую важность*, но главное их достоинство то, что они — сокровищница мифологической мудрости. Из этих песней, между прочим, видно, что в древности татары поклонялись высшему божеству под именами Кудая, Джиите Кудая (Djiite Kudai — семь Кудаев), Тоогос Кудая (девять Кудаев) и Тоогос Тйейен (девять Тйейенов). Кудай, по их представлению, живет над облаками и, по одной сказке, сидит в шатре за занавесью и вписывает в большую книгу рождающихся и умирающих. Кудаю много хлопот с землей, управление которой он вверил храбрым богатырям-ханам. Над ними он поставил так называемого Улу-хана — «Большого хана»**, который возвещает волю Кудая на земле из писаной книги. В одной песне говорится о таком Улу-хане, что он родился в одно время с светом, что смерть и болезни над ним не властны, и что возраст его меняется, как четверти месяца. Эта песня упоминает еще о многих других богатырях, которых Кудай одарил также бессмертием, но потом, когда они возмутились против него, в наказание за их дерзость обратил в камни. Поэтому и теперь сохранилось еще мнение, что все каменные изображения, которые во множестве встречаются на Саянской степи, в свое время были знаменитые герои и героини.

Кудай представляет в татарской мифологии доброе начало, все же злые, враждебные Кудаю существа называются айна. Эти живут под землей и подчинены наибольшему, именуемому Ирле-ханом[129]. Как богатыри пользуются покровительством Кудая, так шаманы находятся в дружественных отношениях с Ирле-ханом, и каждый имеет в услугах по нескольку айн, присутствующих и помогающих им при заклинаниях. По существу своему айны, собственно, незри-

* Замечу здесь мимоходом, что почти в каждой богатырской татарской песне упоминается о том, что люди, т.е. татары, первоначально жили в одном из углов земли — на берегу Белого моря, у подошвы высокой горы.

** Так называют татары китайского императора, русского же называют Ak-kan — «Белый хан».

мые духи, но часто принимают образы людей, змей, собак, птиц и т.д. Значение айн имеют, как мы выше заметили, и все пришитые к одежде шамана суконные лоскутья, колокольчики, бубенчики и железные бляшки.

Поклонялись в старину также и высоким скалам, святость которых обозначалась намалеванными или высеченными фигурами[127], и могильным курганам, и вышеупомянутым каменным истуканам*. Из деревьев чествуется у татар лиственница, как у финнов рябина. Вместе со многими народами они чтут змею и медведя, почитают также священными и разных птиц, и из них больше всех лебедя. Следующий, всюду распространенный обычай показывает уважение их к этой птице. Как скоро татарин застрелил лебедя, он отправляется с ним к соседу и по предварительном угощении айраном дарит его ему, за что сосед непременно должен одарить лучшей своей лошадью. Новый владелец лебедя в свою очередь отправляется с ним к своему ближайшему соседу и обменивает его так же выгодно. Таким образом лебедь переходит из юрты в юрту, пока придется, наконец, кому-нибудь поплатиться лучшим конем за полусгнившую птицу.

Не вдаваясь, однако ж, слишком уже глубоко в религиозные таинства татар, воспользуемся утренней прохладой и отправимся далее в степь. Четыре дикие лошади, запряженные в наш тарантас, мчат нас во весь опор. Два возчика, управляющие ими, сидя на них верхом, напрягают последние силы, чтобы хоть несколько сдержать бег их, но сколько они ни дергают, ни натягивают поводья (узда у татар — роскошь), кони несутся с быстротой, от которой кружится голова. Степь, конечно, ровна и гладка, но как легко при такой бешеной езде сломаться оси, соскочить колесу. Довольно и одного слишком крутого поворота дороги, чтоб опрокинуться, а попадись на пути курган — искать другой могилы, вероятно, нам уже не привелось бы. В таких приятных размышлениях я зажмурил глаза, ухватился крепко за тарантас и с тоской ждал, чем все это кончится. А лошади, не обращая внимания ни на усилия верховых, ни на брань и проклятия моего казака, мчались все

* Рассказывают, что многие татарские племена и теперь еще собираются у подошвы такой расписанной скалы или вокруг каменного истукана для совершения празднеств. О поклонении огню, воде и солнцу поговорим *ниже*.

так же. Наконец они остановились сами собой, я открыл глаза и увидел, что мы на берегу реки Аскис, составляющей границу между Качинской и Сагайской степями.

При впадении этой реки стояло несколько ветхих избушек, в одной из них помещалась канцелярия сагайского управления. Таких канцелярий, или управлений, в Минусинском округе три: Качинское, Койбальское и Сагайское. Каждое состоит под начальством старшины племени, который наблюдает за порядком, судит и наказывает незначительные проступки и равняется «голове» русской волости. При племенном старшине два чиновника, называемых заседателями, и один писарь, или секретарь, который обязан находиться в канцелярии безотлучно. Кроме того, к татарскому чиновному персоналу принадлежат еще: 1) князья, соответствующие русским старостам: они собирают подати и наблюдают за порядком в каждом отдельном улусе; 2) казначей, 3) оспопрививатель и 4) неопределенное число писарей в улусах. Все эти чиновники должны быть из природных татар, за исключением писарей и оспопрививателя, которые обыкновенно русские и одни получают жалованье. Все чиновники избираются народом на неопределенное время. Только одна должность племенного старшины наследственна, но и он может быть сменен, и тогда татары имеют право избрать себе нового.

В ведомстве каждого управления находится несколько деревень, населенных разными, частью родственными, частью совершенно чуждыми друг другу родами. Значительнейшие роды из принадлежащих к Сагайскому управлению — Сагай и Белтир[128]. Эти считают себя первобытными жителями страны и уверяют, что прежде жили по рекам Абакану и Юсе. Все остальные роды: Том, Сор, Кей, Кизилкая, Карга, Коби и Тайас — переселились в недавнем времени из Кузнецкого округа Томской губернии[129]. Все сагайские татары уверяют, что они чистые тюрки, но это по многим причинам весьма сомнительно.

Подведомственные Качинскому управлению татары жили прежде по реке Каче близ Красноярска, где и доселе существуют еще немногие остатки их. Во время покорения Сибири качинские татары примкнули к казакам, помогли им прогнать своих соплеменников киргизов* и сделались затем

* Эти в одной царской грамоте именуются кайтышинскими татарами.

единственными обладателями так теперь называемой Качинской степи. Еще во время жительства своего по реке Каче эти татары приняли и поглотили в себе аринов* — племя, сродственное с енисейскими остяками, которое и теперь еще называет себя ара, хотя в официальных бумагах и именуется Татешевским улусом. По переходе в минусинскую страну качинское племя умножилось присоединением к нему больших киргизских семейств и других иноплеменных родов, каковы: Тин, Джастек, Джарен, Джильтаг, Сукарлар и Тубалар, или Тубинцы[136]. Эти роды уверяют, что они первобытные жители страны и что из них роды Тин, Джарек и Джильтаг до новейших времен всегда принадлежали к Койбальскому управлению. Что касается до происхождения этих родов, то Тин и Дъястег (остяк?) утверждают, что они сродственны аринам и койбалам, которые, несомненно, происходят от остяков. Все остальные, без всякого сомнения, самоедского происхождения. Касательно так называемых тубуляров следует, однако ж, заметить, что это название обозначает в настоящее время не какой-либо определенный род, а все пле-

* До переселения в минусинскую страну арины перебирались каждое лето на один из островов Енисея, называемый Татешевским; зиму же жили вместе с качинскими татарами близ Качи, около горы Кумтигей. По рассказам, племя их, прежде весьма многочисленное, было почти совершенно уничтожено в одной несчастной битве с туземцами. Об этой битве сохранилось еще следующее предание: один молодой арин увидел на поле змею и разрубил ее пополам. Не убитая еще этим, змея уползла к царю змей и пожаловалась на арина. Разгневанный царь змей собрал всех подвластных ему малых змей и отправился мстить за нанесенную им обиду. Было лето, и арины жили, как обыкновенно, на острове. Добравшись до противолежащего острову берега Енисея, змеи начали плесть лодку. Один старый арин, услыхав шум и воображая, что это кричат люди, поспешил к ним с лодкой. Каково же было его удивление, когда, переехав через реку, увидал, что весь берег кишит змеями. Все они были сильно раздражены и разгневаны, особенно малые. Каждая из них хотела говорить, но царь змей велел им молчать, посажал их в лодку столько, сколько могло в ней поместиться, и заставил старика перевезти их на остров в несколько раз. Когда все малые змеи были перевезены на остров, царь змей влез и сам в лодку и велел перевезти и себя туда же. Во время переезда он сказал старику: «Когда ты возвратишься домой, не забудь посыпать золы вокруг своей юрты и обвести ее пестрой веревкой, свитой из белых и черных конских волос». Старик не забыл этих слов; возвратясь домой, он сделал так, как говорил царь змей, и лег спать. Когда же поутру проснулся, то увидел, что весь улус разорен и все жители перебиты. Одно только семейство старика было пощажено, и от него-то и происходят все теперь существующие арины.

мена частью самоедского, частью остяцкого происхождения, кочевавшие некогда по реке Тубе. Придавая этому названию такое обширное значение, трудно, разумеется, дознать, на сколько качинские тубинцы остяцкого, на сколько самоедского происхождения. Во всяком, однако ж, случае по обыкновенному и первоначальному значению слово тубулар — общее название самоедов, в языке которых и слово tuba, или чаще tebe, употребляется как нарицательное имя в значении человека и самоеда. Возьмем еще при этом в расчет, что маторы, которые и доныне в китайских владениях называют себя тубуларами, жили издревле в речной области Тубы, то, кажется, можно будет безошибочно предположить, что качинские тубинцы — ветвь маторов. Это подтверждается еще тем обстоятельством, что из 400 маторов*, кочевавших прежде по правой стороне Енисея, в настоящее время осталось только восемь податных душ.

Что же касается, наконец, до койбалов, о которых так много спорили, то они считают себя вместе с облеченной в мифической мрак чудью древнейшими обитателями этой страны. Их составляют восемь следующих родов: большой и малый Байгадо (Бай), Канг, Тараджак, Тёода, Мадор, Кёль, Ингара, Бёгёдьи, Ирген, Артьи, Кёйек и Кайденг. В отношении к своему происхождению эти роды, теперь совершенно отатарившиеся, распадаются на самоедов и енисейских остяков. Остяцкого происхождения только большой и малый Байгадо и Кайденг, все же остальные — самоедского. Степанов с полною уверенностью и с видом полного знания дела выдает всех койбалов за природных татар, тогда как каждый из них скажет вам, что его предки были совсем другого племени и говорили своим собственным языком. Есть еще несколько престарелых койбалов, которые помнят несколько слов своего прежнего языка, и на этих-то словах и основал я в этом случае, как и во многих других, мое мнение о происхождении койбалов.

В Сагайском управлении я употребил целую неделю на раскапывание древних могильных курганов, которых здесь множество. Кончив эту работу, я перебрался через реку Абакан и начал новый ряд поездок по Койбальской степи. Степь

* Из них двести семейств, по преданию, переселились в Китай и живут там доселе под именем маттаров.

эта распространяется вдоль правого берега Абакана, между Енисеем и впадающим в Абакан Табатом. Как племя бедное и угнетенное, койбалы не могли воспрепятствовать переходу на свою плодоносную степь значительного числа качинских и сагайских татар. Кроме того, к ним ежедневно переселяются и русские, выстроившие уже большие деревни по небольшим речкам. Следуя их примеру, несколько бедных койбальских семейств построили себе также маленькие хижины по берегу ручья Ут, от которого эта койбальская деревенька и получила впоследствии свое название.

В этой деревне я прожил почти три недели и ежедневно был в обществе койбалов, которые оказывали мне особенное расположение. Они считали особенною для них честью, что я занимаюсь их языком и расспрашиваю о их старине. Один старый койбал сказал мне, что все приезжающие из Петербурга обращают внимание на койбалов, вероятно, потому, что белый хан дорожит ими больше, чем всеми другими татарами. Многие старики помнили еще Палласову экспедицию, но она сохранилась в их памяти как весьма печальная эпоха. «Она не принесла нам ничего, кроме горя, — говорил мне один из них, — потому что вскоре затем вторглись к нам *поселенцы, и чума уничтожила наши стада!*». *На мое замечание*, что ни Паллас, ни его спутники нисколько не виновны в этом, койбал возразил мне вопросом: «Так разве они только для одного удовольствия проживали целые недели в дремучих лесах далеко от людей?». Скотский падёж, по мнению многих койбалов и некоторых русских поселенцев, был вызван Палласом не чародейством, а раскапыванием древних могильных курганов. Несмотря на то, мне не мешали разрывать их, хотя немало было об этом самых разнообразнейших толков. Говорили, между прочим, что из древних чудских черепов я умею приготовить декокт, который действительнее *сассапарили и всех возможных лекарств*.

Живя в деревне *Ут*, я ездил и в соседние улусы. Везде бедность и нищета; но бедняки показались мне гораздо лучше, нежели как говорят о них. Койбалов обвиняют во многих дурных качествах, особенно в воровстве; но последнее, при совершенном господствующем в степи бесправии, в народе страшно во всем нуждающемся, почти неизбежно. Кстати, расскажу здесь случай, несколько объясняющий это.

Один бедный койбал получил в наследство от отца барана, которого берег так, что ночью спал в поле, каждый раз обматывая около руки веревку, другой конец которой был завязан на шее животного, в полной уверенности, что таким образом совершенно обезопасил себя от всякого хищника. На беду баран его приглянулся одному ссыльному негодяю, и вот, как только стемнело и простодушный койбал заснул преспокойно, бездельник подкрался к спящему, перерезал веревку и увел барана. Можно себе представить удивление и ужас бедняка, когда, проснувшись поутру, он увидел, что лишился последнего достояния своего. Урок этот не пропал, однако ж, даром: узнав легкий способ живиться чужим добром, и он начал также пользоваться темнотой ночи.

Разъезжая по Койбальской степи, попал я однажды поздно вечером в один бедный улус; темнота и собиравшийся дождь принудили меня остановиться на ночь в одной из юрт его. Несмотря на то, что я выбрал самую лучшую, она была страшно грязна и так ветха, что ветер и дождь свободно проникали сквозь бересту. Когда я вошел, все взрослое ее население, за исключением хозяйки, лежало на полу совершенно опьяненное айраном. Подле огня ползали несколько голых ребятишек и, плача от голода, протягивали ручонки к котлу, над ним висевшему. Вокруг него похаживали и собаки, сильно виляя хвостами, вероятно, в надежде, что из него выпадет что-нибудь и на их долю. И телята, и овцы, испуганные грозой, просовывали свои головы в дверь так часто, просились в юрту так жалобно, что хозяйка, сначала желавшая избавить меня от такой компании, была, наконец, вынуждена отвести и для них угол.

Наконец котел снят с огня, хозяйка растолкала не совсем учтивым образом пьяных и поставила перед ними корытце с мясом. Заметив, что прежде, чем началась трапеза, хозяйка бросила кусок мяса в огонь, я спросил ее, что это значит, на что она отвечала: «И огонь ведь бог». Кроме того, она сообщила мне, что такое же значение имеет и вода, вследствие чего первые куски некоторых купаньев татары обыкновенно бросают в реку или в озеро, что следовало бы приносить первый кусок всякого купанья в жертву и востоку или восходящему солнцу, но что это выходит уже из обыкновения. Все эти жертвоприношения составляют, по ее словам,

обязанность хозяйки, которая за неисполнение их подвергается опасности попасть в царство Ирле-хана и терпеть такое же наказание, как и работающие после захождения солнца, подающие гостям молоко, разбавленное водой, и т.д.

Во время моего разговора с хозяйкой в юрту вошел койбал, весь оборванный, и тотчас же объявил, что его прозвище Собакин и что он верен своему прозвищу. Затем он начал рассказывать свои подвиги, хвастаться наглейшим образом пьянством, буйством, показывал знаки побоев на своем теле и гордился ими, как воин; не скрывал даже и краж, в особенности же тешился множеством судебных дел, порожденных его проделками. Между прочим, указывая на трех женщин, бывших в юрте, он сказала с величайшим самодовольством: «Все эти твари были прежде моими женами, но я их вытолкал за дверь одну за другой»*. За сим, как бы несколько образумившись, он пробормотал про себя: «А широкоплечую-то можно было бы и оставить», — и, подсев к ней, спросил двухструнную балалайку и запел песню следующего содержания:

«Был один татарин по имени Тьенар-кус, и было у него много юрт, много народу и много скота. И было ему немало уже лет, когда он взял себе жену молодую и прекрасную. Тьенар-кус любил ее, но она, казалось ему, не любила его, а потому он и решился испытать ее. Вот он однажды и отправился в степь, будто бы осматривать скот свой, и, отъехав немного от юрты, свалился нарочно с седла и лежит себе, как мертвый. Пастухи его, видя, что господин их лежит на земле неподвижно, бросились в юрту и рассказали о случившемся домашним. Услышав это, жена его вскочила тотчас же на лошадь и, прискакав к лежащему, начала над ним плакать. Но Тьенар-кус не доверял слезам своей жены и все лежал неподвижно. В отчаянии жена выхватила кинжал из ножен и сказала: «Не встанешь ты, Тьенар-кус, и я не хочу больше жить на земле. Никогда не скажут люди, что жена Тьенар-куса рыскала вдовою, отыскивая себе другого мужа. Нет, не расстанусь я с тобой, мой супруг и владыка!». Тьенар-кус и тут не поднялся, и она, вонзив кинжал себе в грудь, упала подле него мертвая. И стало жаль Тьенар-кусу, что он подозревал ее в холодности, и всю жизнь свою оплакивал он затем верную жену свою».

* Что мужья выгоняют своих жен, это у татар столь же обыкновенно, как и то, что жены убегают от своих мужей.

Простимся, однако ж, с презираемыми койбалами и поспешим через их степь в Азначеное — последнее в русских пределах селение на Енисее. Отсюда считается от 40 до 50 верст до саянских таскилов, но летом эта дорога непроездна, потому что река слишком быстра, а берега ее, как и вся окрестная страна, гористы. Таким образом, не имея возможности подняться вверх по реке, пришлось решительно против желания ехать вниз по течению. Я проплыл около ста верст в несколько часов, которые хотелось бы превратить в дни, но река мчит здесь так быстро, что едва успеваешь заметить и острова, выступающие из воды роскошными цветниками. Так же быстро мелькают и скалы, круто спускающиеся в реку и бросающие темную тень на гладкую водную поверхность. Было время, когда народы, говорившие различными языками, собирались здесь для празднования весны и у подошвы громадных скал сожигали богатые жертвы. Это время исчезло почти из памяти, но и доселе эти скалы изумляют еще всякого. Поражая своим величием, они, сверх того, заинтересовывают путешественника и множеством начертанных на них фигур. В этих фигурах нетрудно распознать тотчас же следы различных народов, которых уже не встретишь в этой стране, по крайней мере под их собственными именами. Нет никакого сомнения, что одним из этих народов были киргизы, которым и приписываем все высеченное на скалах. Это большей частью изображения животных, естественных предметов и различных орудий; много и людей, которые, как и все прочее, представлены в весьма уменьшенном размере. Человеческие фигуры на скалах — иногда одинокие, иногда по две вместе, иногда соединенные в большие группы, — представлены или стоящими, или идущими, или верхом на лошади, или стреляющими из лука в спасающегося зверя и т.д. Из четвероногих животных, кроме лошадей, можно легко распознать коров, баранов, диких и одомашненных коз, оленей, лосей, зайцев, лисиц, волков, медведей, верблюдов и т.д. Кое-где попадаются и змеи, разные птицы, деревья и т.д. Из орудий я видел только луки и стрелы, меч и нагайку. Похожие же на буквы высеченные фигуры и знаки на скалах весьма редки, гораздо чаще находят их на могильных камнях*

* Именно это обстоятельство и дает право считать все высеченные фигуры киргизскими, потому что много весьма важных причин заставляют полагать, что сами могилы непременно киргизского происхождения.

или разбросанными по всему камню, или в непрерывном порядке. Многие из этих татары почитают древними письменами, что весьма вероятно. Не вдаваясь в подробное обозначение всех мест, где есть киргизские надписи, скажу только, что высеченные фигуры всех возможных родов встречаются на пространстве от Азначеного до Абаканска как по самому Енисею, так еще даже более и влево от него, на скалах и на могильных камнях*. Несколько ниже Абаканска на енисейских скалах начинают попадаться фигуры, нарисованные красной краской, эти гораздо многочисленнее, грубой работы и представляют, кроме лошадей, коз и многих других изображений, также и людей, едущих верхом на оленях[121]. Так как этот способ езды и доселе в употреблении у сойотов, камассинцев[122], карагасов[123] и соплеменников их, и так как эти племена жили и в тех местах, где встречаются эти изображения, то происхождение сих последних и не подлежит никакому почти сомнению. Гораздо труднее сказать что-либо положительное о фигурах, начертанных черной краской на одной скале неподалеку от Абаканска. Эти, весьма вероятно, настоящие письмена, но, к сожалению, от них остались теперь лишь незначительные отрывки. Большую их часть уничтожило время, а в двух местах они вырублены и увезены губернатором Степановым. Предположения, которые во мне возбудили немногие уцелевшие остатки их, я выскажу в другом месте.

Теперь мы оставим енисейские берега и поворотим к востоку, по дороге, идущей из Минусинска вверх по реке Тубе. Тут нам попадаются местности и ландшафты, нисколько не похожие на виденные нами в речной области Абакана. Ровные, безлесные степи, по крайней мере по правой стороне, весьма редки и невелики. Всюду тянутся возвышенности, разделенные одна от другой более или менее широкими долинами. Как на горах, так и в долинах виднеются прекрасные небольшие рощи берез, тополей, осины, ив и кое-где лиственницы. Роскошные луга, редкие в речной области Абакана, стелются от Тубы почти непрерывно. Травы великолепные, особенно на горах, которые в минусинском краю вообще плодороднее равнин. Это от того, что обычная здесь в летние месяцы засуха действует несравненно сильнее на пос-

* В этих же пределах находится и большая часть могильных холмов, а тут-то именно и жили прежде киргизы.

ледние, нежели на первые, в которых трава и деревья сохраняют свою свежесть даже и в это время года. Кроме того, равнинам минусинского края вредят много и ночные морозы, начинающиеся обыкновенно еще в августе. По двум этим причинам поселенцы пашут землю по преимуществу на горах, которые так плодородны, что одно и то же поле без всякого искусственного удобрения засевается в течение более двадцати лет сряду и ежегодно дает обильную жатву. Не менее плодородны и бесчисленные острова на Тубе, Енисее и Абакане, но для земледелия они не так удобны, потому что часто заливаются и нередко, через несколько лет, и совершенно сносятся весенним половодьем.

Прекрасной и плодоносной страной, прорезываемой Тубой, владели некогда дикие звероловческие племена, бродившие по лесам с своими оленьими стадами. Что киргизы распространились вправо от Енисея весьма в незначительном числе — это доказывается не только историей и преданиями, но и чрезвычайно малым числом могильных курганов. Как народ пастушеский, киргизы, естественно, должны были предпочесть левую сторону Енисея, на голых степях которой им легче было пасти бесчисленные стада свои, чем в тубинских лесах. По сим последним, как мы выше уже заметили, скитались частью самоеды, частью остяки. Из них в позднейшие времена многие перебрались в Китай, на Качинскую и Койбальскую степи, оставшиеся же приняли язык и обычаи сперва татар, а потом русских. Из ототарившихся существуют еще доселе, кроме упоминутых восьми маторов, два небольших остяцких рода, из коих один (малый Байгадо) живет по Салье, а другой (Кайдеиг) по самой Тубе. За сим все население по Тубе состоит из туземцев, ссыльных и обруселых племен; вследствие плодородия почвы оно довольно здесь велико, тогда как берега больших притоков ее Амыла, Кизира и Зизима почти совсем еще не возделаны. Самое верхнее поселение во всей этой речной области — Шадатский казачий форпост, находящийся при большой, впадающей в Амыл, реке Каратус. Несколько верст выше его прекращается проезжая дорога, и лишь узкая тропинка ведет путешественника вверх по Амылу в Саянские горы.

По этой-то дороге начал я 5 июля мое путешествие к сойотам в сообществе золотопромышленников, священни-

ков, чиновников и казаков, которые все ехали к амыльским золотопромывальням, каждый по своему делу. Как ни разнообразны были мои спутники по званию и состоянию, тут трудно было, однако ж, отличить слугу от барина, священника от пономаря, русского от татарина. Священник снял свою рясу, чиновник свой фрак, золотопромышленник свое пальто — все были в одинаковом лесном костюме, т.е. в киргизском плаще из верблюжьей шерсти, в сетке из конских волос, которую надевают на голову для защиты от *комарей, в круглой татарской шапке с широкими полями*, и т.д. Кроме того, все казаки и некоторые из золотопромышленников были вооружены ружьями и пистолетами и по временам стреляли из них для удержания волков и медведей в почтительном расстоянии.

Все общество подвигалось вперед длинной вереницей, потому что дорога была так узка, что и двум верховым невозможно было ехать рядом. Все хранили глубочайшее молчание, каждый был совершенно поглощен заботой о собственном своем самосохранении, и эта забота нисколько не была излишней, потому что опасность в Саянских горах *встречается почти на каждом шагу. Здесь едешь по дороге*, которая летом до того топка, что лошадь уходит чуть не по брюхо. Хорошо еще, если ноги ее доберутся до твердой почвы, тогда всадник вне опасности и отделывается только тем, что страшно загрязнится. Но часто случается, что лошадь, увязив одну из передних ног, никак не может вытащить ее. Смирная и не делает тут никаких усилий, а ложится тотчас же на бок, причем всадник легко может поплатиться ногой, остающейся в стремени. Горячая же лошадь напрягает все свои силы, чтобы высвободить передние ноги: бьет и бросается задом из стороны в сторону, подвергая, таким образом, всадника опасности не только переломать руки и ноги о деревья, но и разбить голову о нависшие сучья. За сим на алымской дороге много еще страшно крутых подъемов и спусков. Тут все зависит от лошади: если она хоть мало-мальски не тверда на ногах — падение неизбежно. Надобно, однако ж, заметить, что подобные случаи чрезвычайно редки, потому что жизнь не менее дорога и для лошади, и она избегает опасности с невероятной ловкостью и сметливостью. Так, я видел не раз, что при слишком

крутом спуске, если она не вполне доверяет своим ногам, она ложится на брюхо и последними ногами сдвигает себя и всадника мало-помалу вниз. В подобных случаях, конечно, всего лучше отдаться на волю лошади, но есть много и таких, в которых спасение от не меньшей опасности зависит решительно только от ловкости и находчивости самого всадника. Из множества опасностей, которым подвергали меня на этом пути моя неосмотрительность и неумение ездить верхом, расскажу только один случай. Дорога шла густым лесом и в одном месте была преграждена сломленным деревом, которое перекинулось через нее, но так высоко от земли, что ехавший впереди меня пригнулся только к лошади и проехал благополучно. Следуя его примеру, и я пригнулся, но так, что грудь моя пришлась к самой седельной луке, но несчастью моя лошадь была гораздо выше, и меня, разумеется, придавило грудью к седлу. Какие-нибудь полдюйма еще — и я поплатился бы жизнью, во всяком случае и это прижатие едва ли обойдется без неприятных последствий.

Как ни беспокойно, ни опасно, ни многотрудно это путешествие, но в нем есть и свои светлые стороны. Вот наступившая темь заставляет наш караван остановиться в пустынном лесу. Лошадей расседлывают, разводят огонь, развешивают над ним горшки и чайники, расстилают на землю попоны и ковры и размещают вокруг них седла, заменяющие стулья. На накрытый таким образом стол каждый выкладывает свои съестные припасы, из которых самые лучшие принадлежат, разумеется, священнику и золотопромышленнику, а самые худшие — ученому. За сим все садятся друг подле друга на седла, и начинается настоящая лесная трапеза. Сыр, водка, пироги, чай, бульон, мадера, рыба, мясо, шампанское, икра — все поглощается как попало и с одинаковым аппетитом, потому что это и завтрак, и обед, и ужин. Насытившись, старики остаются за столом и пьют, да не так, как в наше время, а как пивали в старину. Морщины чела разглаживаются, щеки румянятся ярким пламенем большого костра. Между тем некоторые из молодых, покинувших шумную беседу, затягивают какую-нибудь песню. Старики подхватывают, и лес оглашается вскоре громким и веселым хором. Еще несколько стаканов,

и один за другим склоняет голову на кочку или к древесному пню и засыпает на сырой земле так крепко, что не почувствует даже и дождя, льющего всю ночь, как из ведра.

Такая ночь выдалась нам, если память меня не обманывает, через два дня после нашего отъезда из Шадатска. На третий день мы продолжали наш путь в дождь и непогоду лесом, называемым по преимуществу черным. Вообще туземцы Сибири разделяют все леса на белые и черные, точно так же делят они и земли, и птиц, и рыб, и воды, и все, что существует в природе. Деление это основывается не на одном цвете или внешнем виде, но и на внутренних свойствах, вследствие чего и людей, и богов они разделяют также на белых и черных. *Черными* лесами называются все хвойные, *белыми* — березовые и все лиственные. Прилагательное «черный» не совсем, конечно, идет к зеленому лесу, но лес, по которому мы ехали, вполне заслуживал это название, хотя и состоял из белой, или серебряной, ели (пихты). Очень, впрочем, возможно, что мрачность его происходила отчасти и от густого тумана, который, как дым, поднимался с гор и затемнял всю атмосферу. Мрак усиливался еще и тем, что вместо просек он прорезывался только весьма немногими узенькими тропинками, осененными густыми деревьями. Местами сии последние стесняли так проезд, что некоторые из путешественников, отличавшихся излишней тучностью, должны были слезать с лошадей и идти пешком. Утомленный трудной верховой ездой, я также попробовал пройтись пешком, но оказалось, что колена мои так одеревенели, что я не мог сделать и шагу. Пока я взбирался опять на седло, караван скрылся из виду. К довершению несчастья и узкая тропинка, по которой я ехал, вдруг исчезла. Изумленная этой нечаянностью, лошадь моя понеслась, как безумная, целиком. Колена мои испытали уже крепость саянских елей, а тут я подвергался опасности размозжить о них и все члены мои. Чтоб спасти хоть глаза, я закрыл их правой рукой, а левой, что было мочи, старался сдержать лошадь. Весьма вероятно, что все мои усилия остались бы тщетны, если б не помогла большая лужа, перед которой моя лошадь остановилась так неожиданно, что я перелетел через ее голову прямо в грязь. Но и за сим, только что я опять вскарабкался на седло, лошадь вдруг

заржала и снова понеслась по чаще так же шибко, но по другому уже направлению. По счастью, это продолжалось недолго, вскоре она приостановила свой бег, я взглянул и увидел перед собой часть нашего каравана, а в некотором расстоянии две небольшие золотопромывальни.

Все духовные и большая часть светских путешественников остались здесь врачевать свои ушибы. А так как мои оказались по надлежащем осмотре нисколько не опасными, то, просушив мое платье в продолжение ночи, я и отправился в следующее же утро далее вместе с несколькими казаками и золотопромышленниками. Дорога шла сначала через гору Чокур, далеко известную своими ужасными пропастями. Миновав их без всяких особенных приключений, мы добрались к вечеру до реки Амыла и продолжали наше путешествие вверх по этой реке. Здесь нам не мешали ни ели, ни горы, но, несмотря на то, золотопромышленники считали эту часть дороги самой трудной, потому что приходилось перебираться через груды камней, имея постоянно в виду весьма легкую возможность скатиться в реку. Как ни пустынен этот берег, в некоторых местах я замечал, однако ж, как мне казалось, следы старой дороги, проложенной, вероятно, маторами, потому что, по преданию, по Амылу жили некогда многочисленные семьи маторов, занимавшихся звероловством в горах и рыболовством в реках. Племя это исчезло, и путешественник встречает теперь по Амылу только редкие шалаши из сена или бересты, которые осенью дают приют русским рыболовам, летом же стоят пустые, а весной по большей части сносятся полою водой. На этот раз три из них были, однако ж, заняты казаками, расположенными по Амылу для ловли многочисленных беглецов с золотопромывален.

Перебравшись через гору Чокур, мы вскоре добрались до одного из этих казацких балаганов. Здесь, по обыкновению, вечером устроилась серенада, с рассветом же мы снова оседлали лошадей и двинулись далее. По множеству крестных знамений, которые православные спутники мои делали перед отъездом, я заключил, что нам предстоял трудный день, может быть, вследствие бывшего дождя и дурной дороги, а может быть, и потому, что нам два раза приходилось переезжать через Амыл, а переправа эта считалась весь-

ма опасной как по быстроте, так и по глубине его. При первом же броде на некоторых золотопромышленников нашел такой страх, что они предпочли сделать небольшой крюк и переправиться через реку в лодке. Между тем один из моих спутников смело въехал в реку, я последовал за ним, и мы достигли благополучно противоположного берега. Таким образом, *я отделился от каравана золотопромышленников* и продолжал путешествие один с двумя казаками, которые с самого начала были даны мне в телохранители. Смелые и ловкие, они ехали и по крутым скалам и косогорам так быстро, как бы по гладкому полю. Конечно, и они падали так же часто, как я, но при этих падениях страдали больше лошади, чем всадники. Ушибы, достававшиеся на мою долю, были, впрочем, для меня гораздо сноснее холодного северного ветра и сильного дождя. Именно эта-то непогодь и заставляла так спешить казаков, не желавших, разумеется, ночевать под открытым небом. Мы еще до сумерек добрались до Николаевска — одной из главных золотопромывален в речной области Амыла.

В Николаевске я располагал только ночевать, но на деле вышло не так: золотопромышленники наотрез отказали мне в лошадях под тем предлогом, что до ученых путешественников им нет никакого дела. Таким образом, не имея возможности ехать далее, я поневоле оставался здесь до прибытия оставшегося каравана, в котором ехало несколько значительных лиц и в том числе минусинский исправник. Благодаря ему мне удалось, наконец, после трехдневного *ожидания достать необходимое число лошадей* и проводника-татарина, который уверял, что большую часть жизни провел с сойотами. Я доверился этому человеку и поехал вверх по Амылу, местами страшно дикими, почти непроездными и совершенно безлюдными. Через день мы прибыли к устью реки Иртсук, находящемуся только в трех днях пути от Черного озера (Kara kol), из которого вытекает Амыл. Оставив Амыл вправе, мы поехали вверх по Иртсуку местностью еще более непроездной. Тут не было уже никаких признаков дороги, беспрестанно попадались топи, а лес был так част, что приходилось то прорубать себе путь топором, то ехать самой рекой, дно которой было страшно каменисто. Несмотря на множество неприятностей, испытанных

нами в продолжение этого дня, к вечеру мы все-таки взобрались целы и невредимы на вершину Саянских гор, или так называемого Урала[134].

Отсюда, куда ни взглянешь, всюду виднеется дикая лесная страна, прорезанная множеством рек, сопровождаемых большими отрогами Саянского хребта, который и сам близ Черного озера разделяется на две ветви, или на два Урала. Одна из них, и, кажется, бо́льшая, тянется на восток и на запад, другая же перегибается близ Черного озера к северу и затем также поворачивает на восток. Мы находимся теперь на сей последней, и почти подле нас подымается уходящий в облака, покрытый снегом Кадер-таскыль[135]. В некотором отдалении виднеются другие так же высокие и так же покрытые большими массами снега горные вершины, или таскыли: Кором-таскыль, Кырки-таскыль, Кодур-таскыль, Ала-таскыль и мн. др. Наш проводник-татарин знает почти о каждой из них какое-нибудь древнее предание. Здесь мы приведем только его рассказ об Торос-таскыле, имеющий, без сомнения, историческое основание.

«Торосом назывался сойот, живший за 200 лет и плативший дань китайскому императору. Чтоб избавиться от этой дани, Торос бежал в Сибирь со всем своим родом, состоявшим из 35 человек. Рассерженные этим, сойоты пустились за ним в погоню. Когда Торос заметил, что за ним гонятся по пятам, он бросился к горе, прозванной его именем, и наскоро проложил себе дорогу на вершину ее. Эта дорога, как говорят, видна доселе и называется у татар дорогой Тороса. Взобравшись на самую крутую скалу, Торос подкатил несколько древесных пней к самому краю ее и, укрепив их тут веревками, навалил на них кучу камней. Когда преследовавшие подошли к подошве скалы, Торос вдруг перерезал все веревки, сдерживавшие пни и камни, и они полетели на стоявших внизу и перебили всех до последнего, а Торос с родом своим продолжал свой путь и добрался благополучно до реки Амыла, где и стал жить с маторами в мире и согласии».

Слушая рассказы татарина, я и не заметил, как над нами собрались густые тучи. Вдруг раздался такой страшный удар грома, что, казалось, и самая громадная гора зашаталась под нашими ногами. В испуге все вскочили на лошадей и помчались вниз по Уралу в китайские владения.

Письма

I

Статскому советнику Шёгрену.
Шуша, 15 (27) июня 1847 г.

Возвратившись из Койбальской степи к Енисею, я получил в Саянском форпосте три письма ваши, Казембекову тюркскую грамматику, свое жалованье от Академии за пятое полугодие и проч. Таким образом, я всячески снабжен к продолжению путешествия между койбалами и родственными им племенами. Хорошо, если бы Господь так же позаботился о моем здоровье, как вы позаботились о всем прочем.

Не могу не признать справедливости вашего замечания, что мое пребывание между енисейскими остяками было несколько коротковато, но я все-таки вполне убежден, что поспешный отъезд мой был необходим не только для моего весьма шаткого здоровья, но и для самих ученых исследований. Вы сами неоднократно и совершенно справедливо напоминали мне о необходимости заняться во время путешествия по Минусинскому округу и археологией. Археологические же занятия возможны, разумеется, только летом, отправься я из Енисейска во время весенней распутицы — у меня осталось бы слишком мало летнего времени для археологических и связанных с ними филологических исследований в Минусинске. К этому следует еще присоединить и то весьма важное обстоятельство, что, когда я выезжал из Енисейска, все остяки потянулись уже в леса, а отнимать у них силой время драгоценной для них охоты было бы величайшей несправедливостью. Впрочем, я уехал от остяков не с пустыми руками: с помощью Бергстади я собрал материалы для краткой этимологии и для подробной этнографии. Если вы найдете, что этого недостаточно, то я могу на возвратном пути из Иркутска сделать небольшой крюк на Енисейск и проездом пополнить мои исследования об остяках. Но в таком случае мне придется отправиться в обратный путь еще в начале января, потому что позже, зимой, остяки недоступны уже. Прошу вас сообщить мне касательно этого ваше мнение. Вместе с тем для меня весьма важно было бы знать — могу ли я ожидать от Академии пособия на обратный путь.

После отправления моего последнего к вам письма я изъездил в разных направлениях находящуюся на левой стороне Енисея часть Койбальской степи и с неделю тому назад возвратился в Азначеную деревню на Енисее, верстах в сорока от высшей точки Саянского хребта. Теперь я нахожусь в деревне Шуше, от которой до Азначеной считают 48, а до Минусинска 57 верст. Отсюда я думаю отправиться к койбальским и маторским племенам, живущим на правой стороне Енисея по рекам Тубе, Салбе, Амылу и т.д. Мне хотелось бы также посетить и сойотов, но не могу наверное сказать, удастся ли мне это. Во время моего пребывания в Койбальской степи я написал длинный отчет о своем путешествии, но, к несчастью, несколько дней тому назад ветер унес его в окно, и он, вероятно, попал в Енисей. Написать его снова я не успел еще и потому сообщу вам несколько отрывочных замечаний о предметах, занимавших меня в продолжение лета.

В филологическом отношении прежде всего я должен упомянуть, что койбалы говорят теперь почти тем же тюркским наречием, как и качинские татары. Но встречаются еще старики, которые помнят несколько слов своего древнего языка, и слова эти ясно показывают, что кобайлы самоедского происхождения. Язык их распался на несколько наречий, из коих кистимское, или кольское, и кондаковское исчезли в недавнем времени. Последнее, говорят, сохранилось еще у камассинцев. Весьма близкий к койбальскому маторский язык исчез совершенно, по крайней мере по сю сторону Алтая. Уверяют, впрочем, что во время определения китайской границы 200 маторов перебрались в Китай, где они, вероятно, слились с сойотами, которые, как слышно, также утратили свой язык и говорят испорченным тюркским наречием. Самоедское племя, известное прежде под именем тубинцев, принято качинскими татарами и составляет теперь так называемый Тубинский улус, к которому принадлежат также несколько киргизских семейств и одно самоедское племя, перекочевавшее из Томской губернии. Об аринах я сообщил уже прежде все, что было нужно.

Что же касается до моих антикварных занятий, то я доселе обращал особенное внимание на курганы и из них раскопал 10 древнейших и 4 позднейших. В старых курганах я находил обыкновенно множество остовов людей и животных, более или менее истлевших, различные медные

вещи и разбитые глиняные сосуды. Человеческие скелеты лежали или на спине, или на боку в деревянных или каменных гробах. В каждом гробе я находил по большей части два скелета (мужа и жены), из коих один иногда оказывался совсем разрушившимся. Скелеты в гробах находятся обыкновенно на аршин ниже поверхности земли. Но, кроме этих, находят часто человеческие скелеты и в самих курганах тотчас под верхним слоем земли. Эти весьма недавнего происхождения, потому что у татар есть обычай хоронить мертвых в старых курганах, если нет поблизости возвышенностей. Это напомнило предание, существующее в Томской губернии, о том, что чудские надгробные холмы от того так необыкновенно высоки, что мертвых хоронили одного над другим. Таким образом, охотник до преданий и здесь может сослаться на латинское двустишие:

Non est de nihilo, quod publica fama susurrat,
Et partem veri fabula semper habet.[136]

Позднейшие курганы принадлежат теперешним татарам. Об этих могилах и об отношении их к старинным я надеюсь сообщить подробнее в одном из моих следующих отчетов.

В Сагайской степи я срисовал несколько человеческих лиц, высеченных на камне. Кроме того, в разных местах я обращал особенное внимание на группы людей, зверей и различных предметов, которые для забавы высекала древняя чудь на гладких поверхностях сланцевых скал. Так и в настоящее время я занят разбором камня, покрытого фигурами, весьма похожими на буквы. К сожалению, фигуры эти во многих местах так выветрились, что трудно и различить их. Ссыльный инженерный офицер помогает мне срисовать. Досадно только, что предложенный Академией метод тут неприменим. По моему мнению, надпись эта так замечательна, что ее стоило бы выписать для этнографического музея и в оригинале.

Вот все, что на этот раз я могу сообщить. Прибавлю, что мое здоровье в стране, где почти каждый страдает господствующими перемежающимися и катаральными лихорадками, не может, разумеется, быть в цветущем состоянии. При раскапывании одного из курганов в Койбальской степи я добыл себе жестокой катар, промучивший меня целую неде-

лю. Теперь я почитаю себя почти выздоровевшим, хотя по временам все еще кашляю, да и голова побаливает.

P.S. 17 (29) июня. Проработав целую неделю, я срисовал вышеупомянутую надпись как нельзя вернее. Способ, при этом мною употребленный, кажется, лучший для здешних надписей. Я обвожу каждую фигуру черной краской, а остальные части камня покрываю белой краской и снимаю надпись на прозрачную бумагу.

II

Асессору Раббе.
Деревня Шуша, 29 июня (н. ст.) 1847 г.

У подошвы Саянских гор 20 июня я, наконец, имел редкое удовольствие получить четыре письма твоей руки вместе с газетами. На письмах выставлены числа: 18 и 31 марта и 10 и 26 апреля. По прерванному порядку нумеров газет я заключаю, что некоторые из них попали в Туруханск, откуда их в свое время, без сомнения, перешлют в Минусинск. Благодарю как за полученное, так и за неполученное.

По отсылке последнего письма моего к тебе я странствовал по степи и жил в ладах с тюрками и разными язычниками, которые оказывали мне по крайней мере столько же почестей, сколько мог бы ожидать турецкий паша. Не довольствуясь тем, что они даром кормили и содержали меня, этот услужливый народ предлагал мне иногда даже подарки или, другими словами, взятки. Само собой разумеется, что последние я отклонял от себя, но уже никоим образом не мог воспротивиться принесению в жертву нескольких баранов. Впрочем, несколько баранов и не важное дело для минусинского татарина, потому что некоторые из них имеют от 5 до 6000 лошадей. Жениться на турчанке, право, несравненно выгоднее рассчитывания на Киндес, Меримаску и Пунгалайцио. Если, однако ж, во время моего отсутствия в самом деле очистится который-нибудь из упомянутых пасторатов, то не забудь, пожалуйста, включить в мой послужной список и то, что я три месяца исправлял в Минусинском уезде должность могильщика, о чем может засвидетельствовать С.-Петербургская Академия, куда в скором времени явится множество вырытых мною черепов.

Постарайся устроить, чтобы Лённрота пригласили на новую кафедру финского языка. Для Финляндии будет вечным позором, если она допустит этого человека умереть отставным уездным врачом в Каяне. Я же соглашусь скорее прожить весь свой век беднейшим бобылем в какой бы то ни было стране, нежели занять кафедру, на которую он имеет неотъемлемое право. Ты весьма ошибаешься, полагая, что я трушу будущности. При всей своей скромности и сам Лённрот не может не знать, что он единственный человек, достойный занять профессуру финского языка.

Поклонись другу моему Европеусу и попроси у него извинения, что я до сих пор еще не успел ничего написать для помещения в «Suometar». Академия навадила на меня тысячу поручений, и мне, право, не до частных дел. Притом же я еще не получал окончания статьи о первобытных финнах, а ведь именно об этом-то предмете он и просил меня написать. Пусть до поры до времени он считает меня своим должником. Кто же не понимает, что юношество должно идти вперед и что в этом стремлении следует поощрять его всеми мерами*. О Бергстади я еще не имею никаких известий. Вероятно, он теперь в Финляндии и занят поправлением своего здоровья. Дай Бог, чтобы недуг его не имел опасных последствий.

При разрытии одного из курганов я промочил ноги и добыл через то кашель, насморк и зубную боль, результатом которой была утрата одного из лучших зубов моих. Теперь мне лучше. Я ем, пью и живу, как и все другие люди. Некая г-жа Кутузова кормит меня каждый день жареными цыплятами. Что касается до моего адреса, то я, кажется, могу надеяться получить ответ на это письмо еще в Минусинске, где полагаю пробыть до начала сентября. О задуманном мною путешествии к сойотам до сих пор не могу сказать ничего положительного.

P.S. Минусинск 18 (30) июня. Совершенно против воли я принужден был заехать мимоездом в дрянной городишко Минусинск, чтобы запастись китайской бумагой для снимания надписей. Но этот крюк вознагражден тем, что я получил твое письмо от 15 мая несколькими днями ранее.

* Ср. письмо к Европеусу. Иркутск 27 февраля (10 марта) 1848.

Ответа теперь писать не могу, потому что через час отправляюсь в степь. Откровенно говоря, мне уже начинают надоедать эти вечные разъезды и эта кочевая жизнь. Через год, может быть, я возвращусь в Финляндию.

III

Статскому советнику Шёгрену.
Форпост Шалатск, 5 (17) июля 1847 г.

Наконец я принял твердое намерение побывать в Китайской империи, чтоб познакомиться с сойотами. Этой поездки в данной мне инструкции, конечно, не значится, да, сверх того, она, кажется, даже и воспрещается китайским пограничным уставом, но уже и одна мысль отложить разыскание о происхождении сойотов для меня невыносимее самого плена у китайцев. На существование сойотов в Иркутской губернии я никак не могу рассчитывать, потому что для меня почти решенное дело, что они шли тем же путем, как и койбалы, маторы, арины, ассаны и др. Здесь утверждают даже, что и китайские сойоты теперь совершенные татары, но мнения в этом отношении спорны и неопределенны. Чтоб добыть положительные и верные сведения об этом предмете, столь важном для этнографии и истории, я нынче же пускаюсь во имя Бога и науки в путь к китайской границе. До находящихся в Амыльской речной области золотых приисков надо ехать верхом пять суток по узкой, страшно дурной дороге, а отсюда придется перебираться через вершины и пропасти Саянских гор уже и без всякой дороги. Татары сильно жалуются на трудности этого пути, я же повторяю слова одного лопарского вожака: «где пробирались другие — там и я проберусь с Божьей помощью». Меня больше озабочивает то, что в последнее время минусинские татары грабили и разбойничали в земле сойотов. Нисколько не думая, чтобы сойоты вздумали вымещать на мне разбои татар, я все-таки могу ожидать не совсем-то ласкового приема. Сего ради я располагаю скрыть свое настоящее звание и явиться к ним звероловом или искателем золотых приисков. По совету татар я запасся даже мехами, чтоб одарить сойотов за гостеприимство. За сим я вполне полагаюсь на моего будущего толмача и путеводителя-койбала, живущего на одном из амыльских золотых приисков.

По всей вероятности, через месяц я возвращусь в Шадатск. Не будет от меня никаких вестей более месяца — это знак, что я схвачен и отправлен к китайскому императору. Как ни интересно путешествие в Пекин, но на этот раз я охотно отложил бы его до другого времени. Лошади уже готовы, все уложено, спутники торопят, и я поневоле кончаю это письмо.

IV

Статскому советнику Шёгрену.
Деревня Тес на Туве, 5 (17) августа 1847 г.

На днях я покончил мое, полное приключений, путешествие через Саянские горы в Небесную империю его китайского величества. Об этом путешествии можно бы рассказать многое, но приходится отложить до другого времени, потому что и до сих пор не оправился еще от карабканья по узкой тропе, ведущей из Сибири в китайское небо. Почти целый месяц с восхода и до заката солнца я не слезал с лошади, а когда саянский июльский день казался мне слишком уже коротким, я удлинял его иногда и прекрасным месячным вечером. Я ехал по пустынным и непроезжим степям, через крутые скалы и досягающие до неба горы, через реки и болота, чащами и дремучими лесами. За исключением нескольких золотых приисков я не встретил ни одного человеческого жилья, а потому и в ясную, и в дождливую погоду, и в зной, и в холод, и в бурю, и в непогодь должен был останавливаться под открытым небом или под парусинной палаткой. Питался я, когда посчастливится, коровьим, овечьим и козьим молоком, иногда одними кореньями (кандык и сарана), по большей же части чаем и хлебом. Но самым худшим было частое спотыкание моей Россинанты, которое кончалось для меня почти так же неприятно, как и борьба знаменитого Ламанческого рыцаря с ветряными мельницами.

Естественно, что таковое путешествие богато по преимуществу воспоминаниями об ушибах, синяках, насморках, зубных болях и т.п., но стоит ли говорить о таких мелочах в деле, которое могло завершиться даже пленом у китайцев. Переход через китайскую границу без разрешения начальства для русского чиновника весьма опасен, и, кроме

ученого путешественника, едва ли кто и отважится на этот подвиг. Но зато наши золотопромышленники нередко сходятся с своими китайскими соседями по ту и по сю сторону границы, что и навело меня на мысль выдать себя у сойотов за золотопромышленника, который, долго блуждая в горах, решился, наконец, поискать гостеприимства в соседнем государстве. Сойотский дарга принял меня с отверстыми объятиями и тотчас же принялся расспрашивать о здоровье «Белого хана», о благосостоянии народа и скота в России, о процветании трав, о погоде и т.д. За сим он поведал мне, со своей стороны, что и «Великий хан», или его китайское величество, находится в вожделенном здравии, что все его подданные вполне счастливы и довольны, что скот множится, травы растут, солнце светит, что, одним словом, Далай-лама — Бог милосердный[37] ко всем и во всем. Обменявшись приветствиями, мы затянулись несколько раз из трубки дарги, понюхали из моей табакерки и сделались такими друзьями, что дарга тут же подарил мне козий мех, а я отдарил табакеркой. Все это произошло перед моей палаткой вскоре после моего прибытия в Китайскую империю. На следующий день я отправился к нему с визитом, но он уже забыл совершенно вчерашнюю нашу дружбу и грозил мне пленом, если я немедленно не возвращусь за границу. Что мне было тут делать? Я зазвал даргу к себе в палатку и подарил ему кусок красного сафьяна, за что и получил позволение помедлить в небесной области, покуда отдохнут мои люди и лошади. Еще до этого я нанял несколько бедняков, которые и день, и ночь были к моим услугам и охотно рассказывали все, что мне хотелось знать. Покончив с ними, я сел на лошадь и весело поехал назад через Саянские горы.

К путешествию в Китай меня побудило желание добыть какие-нибудь достоверные сведения о сойотах — народе, который Паллас, Клапрот и многие другие считали остатком далеко распространенного самоедского племени. К несчастью, это предположение, столь важное для исторического исследования, оставалось так долго одним только предположением, что сойоты и соплеменники их забыли, наконец, язык свой и совершенно утратили свою народность. Теперь все сойоты говорят почти тем же тюркским наречием, как и минусинские татары, и весьма вероятно, что и в

старину большая часть сойотов были чистые тюрки, или татары. К этому я должен еще заметить, что слово сойот, или, правильнее, соян (саян), имеющее у сойотов значение родового названия, у минусинских татар употребляется как собирательное и обозначает почти все племена, бродящие в Саянских горах. Что многие из этих племен самоедского происхождения — я надеюсь доказать впоследствии яснейшим образом, теперь же замечу только мимоходом: 1) что многие сойотские названия племен встречаются и у самоедов, 2) что сойотское племя маттар, по преданию, происходит от известных маторов, которые первоначально были, бессспорно, самоеды; 3) что другое племя, называемое тот, в старину говорило одним языком с койбальским племенем кёллэр, сохранившим и до сих пор несколько слов своего прежнего самоедского языка; 4) что и в самом сойотском языке встречается много самоедских слов и особенностей.

До сих пор я не сообщал вам о сделанном мною открытии, что некоторые койбальские племена одного происхождения с енисейскими остяками (см. выше). С одним из этих племен я встретился еще на Абакане, но тогда и не подозревал его остяцкого происхождения, тем более что оно носило самоедское название Бай, или Байгадо. Но на реке Тубе меня поразило племенное койбальское название Кайденг, корень которого, очевидно, остяцкий. Но у этого племени не осталось никаких воспоминаний о старине, потому что оно дважды утрачивало уже родной язык свой и затем обрусело совершенно. На реке Солбе я встретил, однако ж, наконец несколько человек племени Бай, помнивших еще кой-какие слова своего прежнего языка, и все эти слова были чисто остяцкие. Между тем и история, и предания свидетельствуют, что часть племени Кайденг платила дань Китаю; то же рассказывают и енисейские остяки о многих племенах, которые во время знаменитого прорыва Саянского хребта остались по ту сторону его. Но и эти племена отатарились, и между сойотами их даже труднее отыскать, чем самоедские. Между тем не подлежит никакому сомнению, что как самоеды, так и енисейские остяки вышли из упомянутой горной системы. Саянские таскили были, кажется, родиной даже и финского племени, если только таковой вывод позволителен из множества названий местностей. Из них я приведу только весьма замечательное название реки Маджар.

В антикварном отношении в последнее время я приобрел несколько важных сведений. Так, сойоты рассказывали мне, что их ламы и доселе еще делают на камнях надписи, подобные встречающимся в Минусинском округе; что чудские могилы принадлежат их древним героям. Последнее предание существует и у татар. Необыкновенные камни, называемые русскими *курганами* и *маяками*, а татарами *obalar* или *köösälar*, я давно уже принимал за языческие идолы, я в этом предположении я убедился вполне у сойотов, которые до сих пор преклоняют колена перед всяким большим камнем, перед всякой грудой камней. Мои археологические разыскания приводят меня все более и более к заключению, что древние памятники минусинского округа большей частью монгольского, киргизского и татарского происхождения и только весьма немногие — самоедского и остяцкого.

V

Асессору Раббе.
Деревня Тес, 5 (17) августа 1847 г.

На этот раз я хотел написать тебе порядочное письмо, но «злой рок или демон, который никогда не дремлет» устроил так, что едва я успел окончить письмо к Шёгрену, как ко мне вошел один из золотопромышленников. Этот господин откупорил для меня не одну бутылку шампанского, следовательно, имел право ожидать и с моей стороны приличного угощения, потому что в этой стране в страшном ходу финская пословица: «подарок за подарок, или давай мой подарок назад». Вот ради-то сего с этой почтой я могу послать тебе только письмо, назначенное Шёгрену.

С благодарностью уведомляю тебя, что все твои письма, программы и газеты дошли до меня более или менее благополучно. Последнее письмо твое от 28 июня, а я получил его только 13 августа, и неудивительно: ведь я в 7000 верстах от Гельзингфорса, на границе Небесной империи. Скоро отправлюсь еще дальше, на берега Байкала и в Иркутск. Я рассчитываю прибыть туда не ранее последних чисел ноября, потому что мне нужно еще пожить несколько времени у камассинцев и карагассов — двух племен, рассеянных между Красноярском и Иркутском. Письма ко мне адресуйте отныне в Красноярск.

Теперь я твердо решился начать мое возвратное путешествие 10 марта 1848 года, если только не встретится каких-нибудь непредвиденных препятствий. Постоянная хворость не позволяет мне долее оставаться в Сибири, хотя, с другой стороны, и возвращение в Финляндию без всяких видов на насущное пропитание также заставляет призадуматься. Конечно, на родине я мог бы найти кой-какие средства существования, но дело в том, что обработка и приведение в порядок накопившихся в семь лет заметок и записок займет все мое время по крайней мере на три года.

Более писать, право, некогда и потому остаюсь с чувством искренней дружбы твой китайский брат.

VI

Статскому советнику Шёгрену.
Минусинск, 5 (17) сентября 1847 г.

Письмо ваше от 5 июля я получил в татарской юрте на реке Юбат во время моих занятий отыскиванием надписей и других предметов, замечательных в антикварном отношении. Я только что возвратился в Минусинск и нынче же отправляюсь в Абаканск, чтобы срисовать некоторые из надписей, находящихся близ этой деревни. Охотно отложил бы я эту поездку до поздней осени, но небо день ото дня становится пасмурнее, а солнечный свет и ясная погода — необходимые условия для срисовывания. Кроме того, и рисовальщик, принятый мною в помощь, не соглашается ехать позже пятого сентября.

Хотя я и располагаю пробыть еще несколько недель в Минусинском округе, но в Минусинск из Абаканска я уже не возвращусь и потому пользуюсь это оказией, чтоб отправить в Академию несколько ящиков, которые только обременяли бы меня в дороге. Что еще добуду для Академии — отправлю позднее из Красноярска. Теперь же отправляю (под 7-ю номерами) следующее. В первом ящике четыре черепа, вынутые из четырех разных могил позднейшей эпохи, и все четыре — татарские. Во втором ящике: a) два черепа (номера 5 и 6), найденные в древнем кургане Качинской степи и лежавшие, против обыкновения, на боку; b) части черепа (№ 7) из того же кургана, c) верхняя часть черепа (№ 8) и несколько седельных украшений из латуни, отысканных в огромном кургане на правой

стороне Енисея; d) несколько заржавленных железных частиц, вероятно, от седла, найденных в последней татарской могиле; e) татарский музыкальный инструмент. В третьем ящике: a) четыре попорченных черепа (№№ 9—12) из одного древнего кургана, найденных в глубине значительно меньшей обыкновенного и потому, вероятно, позднейшего происхождения; b) череп (№ 13), найденный в другом кургане в глубине еще меньшей, c) детский череп (№ 14) из кургана на Сагайской степи. В четвертом ящике: пять черепов, три ножа, топор и различные седельные украшения из одного небольшого кургана на Сагайской степи. Черепа под №№ 20 и 21 найдены в рыхлой земле, а три остальных — в каменных гробах, в которых скелеты лежали на спине. В пятом ящике — два довольно полных черепа (№№ 22 и 23) и части двух других черепов (№№ 24 и 25) из двух курганов Койбальской степи; на дне того же ящика — часть одного из глиняных сосудов, каковые попадаются почти в каждом кургане. В шестом ящике: a) двадцать два железных острия от стрел десяти различных родов; b) узды, стремена и другие железные вещи; c) железный ковчежец, d) семь ножей, большая часть медных; e) три кинжала, f) два копья, g) железная лопата, h) две круглые медные пластинки, i) швальное медное кольцо, j) род медного топора, k) железное орудие, употреблявшееся, вероятно, для выравнивания кореньев *кандыка* и *сараны*; l) камень, похожий на печать, m) латунная человеческая фигурка, n) три медяшки, o) медное решето, p) медный гвоздь, q) остатки кольчуги, r) род медной секиры, s) части медного зеркала (?), t) часть костяшки, вероятно, висевшей у пояса. Все эти вещи найдены на обоих сторонах Енисея выше города Минусинска, и не в курганах, а при распахивании земли. В седьмом ящике — одежда татарского шамана, барабан его и две татарские трубки, длинные суконные лоскутки на одежде изображают духов (айна), служащих шаману; на барабане изображены солнце и луна, лук и стрелы, змеи, зайцы, разные деревья и т.д.

Некоторые из посылаемых черепов, к сожалению, так гнилы, что рассыпаются даже и в руках, и потому, вероятно, сильно попортятся от длинной дороги. Это тем прискорбнее для меня, что именно они-то и обошлись мне дороже всех прочих.

VII

Асессору Раббе.
Минусинск, 5 (17) сентября 1847 г.

После того, как я так счастливо высвободился из ежовых рук китайского дарги, я вел скучную жизнь кабинетного ученого, погруженный в размышления о длинном (breite) и коротком (schmale) *e* в тюркском языке, о курганах, чудских надписях, ржавых топорах, молотках, ножах и вилках. Надоедала мне уха в одной деревне — я отправлялся в другую и хлебал там пустую похлебку. В степь во все это время я ездил только один раз и без всяких особенных приключений. Самое важное происшествие заключалось в том, что, проголодав трое суток, я съехался с немцем-доктором, который подарил мне хлеб и велел сварить для меня горшок картофеля. На обратном пути из степи я поехал на деревню Шушу, где прошлым летом Катерина Петровна Кутузова, как ты еще, вероятно, помнишь, оказала мне такое радушное гостеприимство. И на этот раз я провел несколько приятных дней в ее доме, потому что Катерина Петровна не только отличная хозяйка, но и очень веселая дама.

Расставшись с Катериной Петровной, я прожил несколько грустных дней в Минусинске, провонявшем луком и водкой. К сожалению, меня задержат здесь еще несколько дней упаковывание и отправка в Академию черепов и разных древностей, добытых мною из так называемых чудских могил. Отсюда я отправлюсь далее вниз по Енисею и надеюсь в конце этого месяца быть в Красноярске. О дальнейших планах моих ничего еще не могу сказать тебе на этот раз.

На этом я остановился вчера. Между тем ночью пришла почта и привезла мне твои письма от 3 и 9 августа с приложением газет. Как бы там ни было, а отличное дело, что нам, бедным доцентам, соблаговолили удвоить срок. Теперь не хитрость попасть в Пунгалайцио, потому что твердо помню еще мои 15 псалмов и quatuor capita[138]. Шутки, однако ж, в сторону, во всяком случае ты можешь быть твердо уверен, что я лучше соглашусь жить в самом жалком чулане, чем пожертвую наукой. Жизнь человеческая так коротка, что и при самой строгой последовательности не много успеешь сделать. Мне весьма приятно было уз-

нать, что Бергстади благополучно возвратился в Финляндию. Спроси его, получил ли он четыре письма моих, адресованных в Енисейск, Екатеринбург и Казань.

VIII

Доктору Лёврогу.
Красноярск, 23 сентября (3 октября) 1847 г.

На возвратном пути из Китайской империи я получил в окрестностях Минусинска твое последнее письмо, за которое только теперь могу изъявить тебе искреннейшую мою благодарность. Причина, почему я не исполнил этого прежде, заключается в беспрестанных разъездах моих по татарским степям, где нет почтовых сообщений. Сегодня, прибыв в Красноярск, я первым долгом поставил себе отвечать на твое письмо, хотя и на этот раз не могу писать много.

Тебе, вероятно, небезызвестно, что в течение последнего полугода я находился в Минусинском уезде Енисейской губернии. Главным предметом моих занятий был койбальский язык. Это одно из тюркско-татарских наречий, и притом, без всякого сомнения, далеко чистейшее константинопольского. Изучение его было для меня в высшей степени интересно, потому что беспрестанно находил поразительнейшие аналогии между финским, тюркским и самоедским языками. Для койбальского языка у меня готов уже очерк этимологии и список слов, кроме того, я собрал множество богатырских песен, из которых, однако ж, только немногие записаны по-татарски.

Археологическими разысканиями я занимался не с таким усердием и почти только по предписанию, потому что разрытие курганов оказалось слишком дорогим, да притом, как мне кажется, и не входит в круг моих занятий, ибо так называемые чудские могилы отнюдь не финского происхождения. Несмотря на то, я разрыл, однако ж, до двадцати курганов и найденные в них черепа, топоры, ножи и проч. отправил в Петербург в Академию.

Наконец в Минусинском округе я скопировал множество надписей, из которых большая часть, по всей вероятности, простые начертания, и только весьма немногие, судя по виду, настоящие письмена. И эти памятники нисколько не финского происхождения.

Что касается до моего путешествия в Китай — целью его было отыскание следов происхождения сойотов, и оказалось, что, согласно с предположением Палласа, они действительно ототарившиеся самоеды и частью, может быть, даже и остяки. Койбалы Минусинского округа положительно потомки как самоедов, так и енисейских остяков. Маторы — ототарившиеся самоеды, арины — остяки, но что сталось с ассанами и коттами — не знаю.

Из Красноярска я выезжаю через день или через два далее внутрь края на поиск камассинцев, которые непременно должны оказаться где-нибудь в окрестностях Красноярска. Этим народом я буду заниматься всю осень в Красноярском и Канском уездах. Потом отправлюсь в Иркутск, куда думаю прибыть в конце ноября или в начале декабря (ст. ст.). К 10 марта, надеюсь, буду уже совершенно готовым к возвратному путешествию, потому что этим числом окончится срок моей академической службы. Впрочем, придется, может быть, остаться здесь еще и до лета, но во всяком случае мне было бы приятнее как можно скорее отделаться на некоторое время от странствований по Сибири и возвратиться в драгое отечество.

Там, как бы ни были недостаточны средства существования, все-таки с Божьей помощью можно как-нибудь пробиться тем или другим способом. Если бы предположение об учреждении финской профессуры и состоялось, то, самой собой разумеется, что профессуру эту следует предложить не мне, не Готланду и не Бекеру, а именно тебе. А потому твой совет, чтоб я искал ее, я и принимаю за чистую шутку. Вообще я не могу решиться ни на что относительно своей будущности, пока не сведу окончательных счетов с Академией наук. Все филологическое отделение ее единогласно обещало позаботиться о моей будущности, но дело в том, что я не хочу служить в самой Академии, а получить особое содержание с разрешением жить вне Академии едва ли удастся. Во всяком случае, однако ж, я полагаю твердую надежду на Петербургскую Академию наук.

Написав это, я целых два дня пробегал по городу, собирая сведения о местопребываниях камассинцев. На основании полученных мною сведений я должен теперь отправиться

в Канский уезд, а оттуда в Нижнеудинск, Иркутск, Тункинск и т.д. Адрес мой отныне прямо в Иркутск.

Здесь, в Красноярске, я познакомился с тремя братьями Латкиными — зырянами по происхождению; они занимаются золотыми промыслами. Один из них студент, и все трое весьма образованные люди. Они принимают меня, как родного, и я каждый день у них обедаю. Впрочем, старший брат — старый уже знакомый, я познакомился с ним в Колве — этот тот самый, который так много писал в русских газетах о моих похождениях в Ижме и Устьцыльмске.

Письма

I

Статскому советнику Шёгрену.
Андша, 11 (23) октября 1847 г.

Прошел целый месяц с тех пор, как я сообщил вам кое-что о предполагаемых разысканиях в этой горной стране; в течение этого месяца не случилось ничего замечательного, кроме разве того, что я мало-помалу перебрался из Минусинского округа в Канский. Разные дорожные неудачи и постоянно противный ветер на Енисее замедлили мою езду так, что я попал в Красноярск только в конце сентября. Тут я сел в почтовую тележку и ехал по большой иркутской дороге, впрочем, один только день, до станции Рыбинск, откуда своротил к западу на проселочную дорогу, ведущую в камассинские леса, которая вскоре и привела меня в деревню Андша, находящуюся в 150 верстах от Канска. В этой деревне я поджидал целых десять дней камассинцев, которые в ту пору разбрелись на охоту. В ожидании их я занялся от нечего делать давно обещанным путевым отчетом, и он почти совсем готов, но по неверности здешней почты должен оставаться у меня до верной оказии.

Это же письмо я поручаю наудачу проезжему посланцу золотопромышленников, который взялся доставить его в канскую почтовую контору. Он сейчас уезжает, и потому ограничусь только одним замечанием, что так называемые камассинцы, судя по слухам, смесь трех по языку различ-

ных народов. Какие эти три народа — никто не мог мне сказать ничего положительного. Единственный камассинец, с которым до сих пор мне привелось встретиться, говорил чисто татарским языком качинского наречия и уверял меня, что весь его улус состоит из потомков татар, некогда живших на реке Каче. Настоящие камассинцы, составляющие Абалаковский улус, без всякого сомнения, самоеды. Что же касается до третьего народа, или двадцати податных душ, принадлежащих к Агульскому улусу, по моему мнению, это должны быть остатки енисейских остяков. Они и теперь еще называют себя канас-кет (канские люди) и хранят предание, что некоторые из их предков переселились из канской области, тогда как прочие остались там. Если это предание и мое, на нем основанное, предположение верны, то на эту осень будет достаточно работы. Только бы здоровье не изменило в жилище, в котором ветер свистит сквозь стены и воробьи свободно влетают в окна.

Так как мои занятия камассинцами не начались еще, то я, разумеется, и не могу сказать, как долго задержит меня этот тройственный народ в этой лесной стороне. А потому адресуйте покамест письма ко мне в Канск, хотя я и употреблю все возможные старания, чтобы выбраться из округа его как можно скорее. Теперь у меня одна забота: как бы покончить все возложенные на меня поручения к началу марта. И это не столько по экономическим расчетам, сколько по совету врачей отправиться из Иркутска в Петербург зимой. Они уверяют, что тележная тряска и летняя пыль вредны для моих легких, справедливость чего я не раз испытывал уже на самом деле. Скверно было бы кончить жизнь на большой дороге, счастливо отделавшись от всех опасностей пустынь.

Так как г. Фон-Френ интересуется минусинскими надписями, то я и препровождаю к нему при сем снимки с двух. Одна из них снята прежде бывшим инженерным офицером с знаменитой скалы близ Абаканска, другую снимал я сам с одного курганного камня Качинской степи. Снимок первый, к сожалению, не совсем полон, но нисколько не от вины снимавшего, а от того, что местами она совершенно выветрилась. В снимке же второй недостает нескольких фигур в начале и в конце, также совершенно сгладившихся.

II

Асессору Раббе.
Деревня Андша, 5 (17) ноября 1847 г.

Голова моя в эту минуту до того кружится, что все в ней путается. Вероятно, ты еще помнишь из моего последнего письма, что в начале сентября я отправился из Минусинских степей в Красноярск для отыскания народа, который русские называют камассинцами, камассами, калмашенилами. Степанов и другие писатели принимали этот народ за самоедов, но некоторые слухи, распространенные между минусинскими татарами, заставляли меня предполагать, что помянутые камассинцы, равно как и разные южные их соплеменники, частью уже обрусели, частью же отатарились. На этом-то предположении я и основывал выраженную в прежних письмах моих надежду еще в ноябре добраться до Иркутска, откуда около половины марта я хотел пуститься в обратный путь в Петербург. Даже и в случае, если бы камассинцы оказались самоедами, план моего путешествия не изменился бы, потому что, по приобретенным уже многосторонним сведениям в самоедском языке, какое-нибудь незначительное отклонение одного из его наречий нисколько не затруднило бы меня. Но случись на беду, что сто податных душ, составляющих весь камассинский народ, говорят на трех совершенно различных языках: 1) татарском, 2) самоедском и 3) коттском. Последний из поименованных языков давно уже считали исчезнувшим, погибшим для науки. Степанов, управлявший Енисейской губернией около десяти лет и изъездивший ее по всем направлениям, говорит в своей известной статистике, что о происхождении коттов теперь нельзя ничего сказать даже и предположительного. Несколько десятков этого народа сохранилось, однако ж, до настоящего времени. Правда, из них только четыре человека знают язык своих отцов, да и те заминаются на каждом третьем слове, не доверяя путем своему знанию. Тем необходимее, кажется мне, пока еще есть время, заняться этим языком, так неожиданно восставшим из гроба, и спасти из него все, что может быть спасено. Коттский язык — родной брат енисейско-остяцкому, но искажен уже до такой степени, что родство это явствует не

столько из вещественной его стороны, сколько из духа, которым все еще проникнут его высохший остов. Вот этим-то языком я и занимаюсь целый уже месяц, и очень возможно, что пройдет и другой, прежде чем я решусь приступить к составлению коттской грамматики. Затем мне предстоит еще изучение камассинского языка, которое также займет целый месяц и, наконец, карагасского, сойотского и монгольского. Все эти языки будут необходимы впоследствии, если я останусь верен пути, который предначертал себе в моих филологических занятиях. Имея в виду столь обширные и многосторонние занятия, я еще прежде задумывал уже просить С.-Петербургскую Академию наук о новом пособии. Я почти уверен, что Академия не откажет мне, и все-таки решаюсь на это не без некоторого треволнения. Прожить еще год в Сибири, по твоему рассуждению, конечно, вздор, но я держусь финской половицы: «Опытный все знает, а бедный все испытывает».

Кроме литературных забот, у меня есть еще другие заботы, которые, по всей справедливости, могут быть причислены к «заботам Марфы», потому что касаются только моей материальной особы. Дело в том, что я живу теперь в жалкой татарской лачуге и питаюсь только козлятиной да картофелем. Кто же не знает, что козлятина отвратительно вонючее мясо, а картофель — пища далеко не сытная. Как бы то ни было, вот уже целых 90 дней, что я довольствуюсь только двумя этими блюдами, начиная свой обед козлятиной и оканчивая его картофелем вместо десерта, или, наоборот, начиная картофелем и оканчивая козлятиной. По соседству есть, конечно, золотопромышленник, который, как говорят, отлично кормит гостей своих, но сибирские золотопромышленники составляют особую касту, от которой я совершенно отстранился...

Чуть было не забыл сказать тебе, что я живу теперь в Канском уезде Енисейской губернии, в 250 верстах к югу от Красноярска. В Иркутск я попаду не ранее последних чисел января или начала февраля и оттуда, не останавливаясь, переберусь за Байкал. Поэтому ты имеешь полное право отныне называть меня твоим забайкальским другом.

P.S. Пришли мне при первой возможности календарь на следующий год и манджурскую грамматику Габеленца или какого-нибудь другого автора, да, кстати, и газеты следующего года.

III

Статскому советнику Шёгрену.
Агульск, 1 (13) декабря 1847 г.

После двухмесячного пребывания в Канском округе сообщаю вам, наконец, несколько самых общих результатов, добытых по преимуществу лингвистическими разысканиями у так называемых камассинцев.

На основании кой-каких рассказов я сообщил вам в последнем письме мое предположение, что камассинцы — смесь трех различных народов. Это предположение вполне подтвердилось впоследствии разысканиями, и удивительно, как такое важное обстоятельство не было замечено ни Степановым, ни другими путешественниками. Или и они смотрели на рациональности так же, как один енисейский чиновник, который на вопрос о национальности самоедов, тунгусов, остяков и якутов отозвался так: «Да хоть бы они там и говорили себе разными языками, а все-таки все они — одна чудь!». Но что таковое возарение на камассинцев было далеко не общепринятое, доказывает даже и само разделение их на три улуса, из коих каждый совключает в себе свою особенную нацию. Названия этих улусов: 1) Угумаков, 2) Абалаков и 3) Агульский. Об этих-то улусах я и сообщу теперь несколько сведений, потому что для подробного отчета решительно не имею времени.

Что касается, во-первых, до Угумаковского улуса, то все его жители принадлежат к тюркскому, или татарскому, племени; это остаток народа, жившего некогда на берегах реки Качи близ города Красноярска. Как я упомянул уже выше, многие из этих татар помогали казакам против киргизов, за что и получили позволение занять оставленные киргизами земли между реками Юсом и Абаканом. Другие же не ходили против киргизов и остались на родине, где мало-помалу их одолели русские переселенцы; они слились с ними, хотя и доселе еще имеют свое особенное управление и некоторые права и преимущества, дарованные им с незапамятных времен. При учреждении Красноярской губернии многие из этих последних татар были переведены, по их желанию, из Красноярского в Канский округ и причислены к камассинцам под именем Угумаков-

ского улуса. Некоторые из них поселились на реке Мане, на ее притоке Колбе и на впадающих в Колбу речках Шинъяре и Шалбее; другие же расселились в канской речной области по Одъе, Рыбной и по многим небольшим речным рукавам. Все татары Канского округа называют себя Djasedjon (степной народ); лесные камассинцы называют их Nu (множ. Nusang), а русские — степными камассинцами. В отношении к образу жизни эти камассинцы распадаются на два рода: 1) хлебопашцев, имеющих постоянные жилища, и 2) пастухов, которые летом живут в переносных шатрах, а зимой в маленьких избушках. Первые совсем обрусели, вторые сохранили еще язык своих отцов, и доселе совершенно сходный с качинским наречием Минусинского округа. Они все крещены и, по свидетельству духовенства, даже те из них, которые сделали наименее успехов в христианстве, непременно хотя один раз в год ставят свечку перед иконой Николая Чудотворца.

Абалаковский улус совключает в себя лесных камассинцев, как называют их русские; сами же они называют себя Kagmashe (множ. Kagmashesang). Это название заимствовано у татар, которые как себя, так и всех других камассинцев называют иногда Kamgadje-djon (чародейственные люди). Прежде, кажется, и лесные камассинцы назывались калмашенилами; это название — очевидно, искажение Kagmasche и, сколько мне известно, употребляемо только грамотными. Лесные камассинцы — по происхождению самоеды, и единственная самоедская отрасль, доселе еще живущая в южной части Енисейской губернии. Хотя они весьма малочисленны, однако разделяются на 5 разных родов: 1) Njeg, 2) Mador, 3) Bögösha, 4) Baiga, 5) Sela. Родовые названия: Mador, Bogosha (Bögödji) и Baiga (Bai, Baigado) встречаются и у койбалов, и с несколько измененным выговором, по крайней мере два из них, — у туруханских самоедов. Уже и из одного этого можно заключить, что северо-восточные самоеды — колония, вышедшая из Саянских гор, но это доказывается гораздо положительнее близким сродством языков. Отделите от камассинского наречия все заимствованное от татар — не останется ни одного слова, ни одной грамматической формы, которых бы не нашли в наречии северо-восточных самоедов. Сродство это так велико, что и самые не-

значительные звукоизменения одинаковы в обоих наречиях. Но только языком и ограничивается сродство это. По религии лесные камассинцы — христиане, а в большей части других отношений — татары. Они носят татарское платье, держатся татарских обычаев и даже в чертах лица обнаруживают помесь с татарами. Самоедского в них осталось только то, что занимаются оленеводством и леса предпочитают степям. Летом они живут близ истоков рек Каны и Маны, где «Белые горы» доставляют их оленям не только прохладу, но и корм. Оставаясь все лето на одном месте, как только осенние ветры освежат воздух и прогонят комаров, лесные камассинцы снимают шатры свои и отправляются на охоту за дикими оленями, которые летом укрываются от комарей в недоступных чащах, осенью же возвращаются к прохладным горам. Ловля диких оленей производится и до снегов, но преимущественно по первому выпавшему снегу. Затем начинается ловля соболей и продолжается от половины сентября до ноября. В продолжение этого времени лесной камассинец перебирается в степь, потому что глубокие снега мешают ему охотиться в лесной стороне. Тут большую часть зимы он отдыхает или охотится поблизости за козами, белками, лосями и т.п. С началом весны он снова уходит в леса и преследует соболей, покуда держит его замерзшая снежная кора, но как только снега начнут таять, он снова возвращается на целое лето к своим любимым горам. Таков образ жизни лесного камассинца — бродячая, многотрудная жизнь звероловa, которая, несмотря на величайшие усилия, едва-едва прокармливает. Прежде лесные камассинцы были в целой Сибири самым счастливым звероловческим народом, но теперь даже и у богача редко более двадцати оленей, соболиный же промысел уменьшается и здесь, как и везде. Голод и болезни уменьшили это, некогда многочисленное, племя так, что теперь его составляют не более 150 душ мужского и женского пола.

Третий, или Агульский, улус составляли прежде два рода: Пантыковский на реках Акуле и Малой Кане, и Шалашкинский на реке Кунгузе, впадающей в Агул. В каждом роде считалось, как говорят, до 400 человек, но оспа и другие заразительные болезни действовали на них так смертоносно, что в настоящее время все это племя составляют 20 человек,

платящих подать, или всего на все — 76 душ. Из всех сведений, собранных мною об этих камассинцах, видно, что и они, как лесные камассинцы, в старину были зверолопы, но потом перебрались в степи и долгое время оставались на той же степени культуры, как и татары. Какие-нибудь десять лет тому назад они жили еще в юртах из коры и бродили по степи с своими небольшими стадами, состоявшими из лошадей, коров, овец и коз. В последние шесть лет оба улуса соединились и основали на реке Агуле деревню, которая теперь состоит из девяти дворов. Деревня эта прозывается Агульским улусом, или Агульской заимкой; жителей же ее русские крестьяне называют разно: и степными камассинцами, и степными татарами. Имея постоянные жилища, агульские камассинцы занимаются ныне земледелием. Они христиане и совершенно обрусели. Явится через несколько десятков лет новый Степанов с новой статистикой Енисейской губернии, и он обвинит во лжи всякого, кто только осмелится уверять, что агульские камассинцы были когда-то совсем не русские. Несмотря, однако ж, на опасность подвергнуться такому обвинению, ради истины я все-таки объявляю торжественно, что выше помянутые камассинцы не только не русские, но и не самоеды, и не татары, а остаток древних коттов. Доказательством этому служит: 1) что выше упомянутые камассинцы с незапамятных времен живут в той же области, как и котты; 2) что они называют себя *Kottu* (множ. *Kottuan*) и известны под этим названием не только лесным камассинцам, но и татарам; 3) что они говорят наречием языка енисейско-остяцкого. Последнее доказательство самое сильное; должно, однако ж, заметить для всех будущих статистиков, что в настоящее время только четыре или, вернее, шесть человек могут говорить друг с другом на языке своих отцов, но что даже и они в продолжение последних 20 лет едва ли пользовались этой возможностью.

Вот все, что я наскоро могу теперь сказать о камассинской тройственности. Что же касается до карагасов, то мне рассказывали, что они не все татары и говорят почти тем же тюркским наречием, как и качинские татары, язык которых, в свою очередь, во всем сходен с койбальским, который я подробно исследовал. Если это справедливо, то я могу покончить все возложенные на меня ученые поручения к

назначенному сроку. Если же, как уверяют многие ученые, карагасы — самоеды, то мне придется поневоле пробыть в Восточной Сибири до лета. В обоих случаях получавшегося до сих пор вспоможения никак не хватит на возвращение в Петербург. Ученые исследования заставили меня прожить почти два года в Енисейской губернии — для жизни, может быть, самой дорогой из всех стран света. Средства мои истощились здесь до того, что придется остаться в Сибири, если по вашему ходатайству Академия не поможет мне выбраться отсюда. Найдет Академия возможность назначить мне хотя только самое необходимое пособие — я обязуюсь на возвратном пути обращать внимание на все, что есть в Южной Сибири замечательного в антикварном, этнографическом и топографическом отношении. Главной же моей целью будет древнейшая этнография верхних областей речных систем Оби и Иртыша. Для этого было бы весьма не лишним разрыть все чудские могилы, но это так дорого, что я даже и не осмеливаюсь просить пособия и на сей предмет. Во всяком случае я соберу все возможные предания, займусь определением происхождения и этимологии названий местностей, сбором статистических сведений о туземцах и т.д. Может быть, мне удастся сделать и более этого, но честному человеку не подобает обещать более того, что он наверное может сдержать. Покажутся мои обещания Академии и вам слишком ничтожными, не заслуживающими пособия — я покорюсь судьбе спокойно и безропотно, и этому обещанию я не изменю уже ни в каком случае.

Перехожу от той меланхолической статьи к делам настоящего мгновения. По отправлении к вам моего последнего письма я пробыл несколько времени в Андше и окрестных деревнях. Теперь я живу в вышеупомянутом Агульском улусе и оканчиваю мои разыскания относительно котского языка. Через неделю думаю съездить в Канск за деньгами, высланными мне Академией. Кроме того, необходимо поторопиться к карагасам, которые к этому времени собираются около Нижнеудинска и через неделю разойдутся по недоступным лесам. Чтоб попасть к ним впору, я работал с камассинцами день и ночь, не обращая внимания на здоровье, которое от этих чрезмерных усилий не совсем вожделенно. Если по дороге в Удинск я услышу что-нибудь об

асанах, то мне будет необходимо по окончании моих занятий с кыргасами возвратиться к Усолке и Оне; впрочем, по весьма достоверным известиям, асаны подверглись точно такой же участи, как койбалы и арины. Здесь, в деревне, есть один котт, который жил некоторое время в окрестностях Усолки и не слыхивал об асанах. Вероятно, что они давно уже исчезли, иначе котты что-нибудь да знали бы о них, как знают многое о енисейских остяках.

Отчет о минусинском путешествии я посылаю прямо к вам, потому что не имею времени писать к секретарю. Человек, который повезет этот пакет в Канск, впился в меня, как клещ — торопит меня немилосердно.

IV

Статскому советнику Шёгрену.
Нижнеудинск, 14 (26) января 1848 г.

Это письмо я должен начать неприятным уведомлением, что, приехав в Нижнеудинск, я заболел ревматической лихорадкой, которая в продолжение трех недель не выпускает меня из комнаты и доселе тревожит еще мои легкие. Болезнь эту я захватил от ночной езды в холода и непогоду на пути из Канского в Нижнеудинский округ. Переезд этот, совершаемый многими в 24 часа, взял у меня почти целую неделю, потому что, смотря по обстоятельствам, я сворачивал с большой дороги в разные стороны. Прочитав у Клапрота, что асаны живут по рекам Ане (Она) и Усолке, я решился съездить из Канска в Устьянскую волость, которая обнимает часть двух упомянутых речных областей. Объездив эту обширную область, я нашел нужным продолжить поездку вдоль Усолки до Тасеевской волости. Доехав до устья Усолки, я поворотил назад, но не прямо в Канск — я разъезжал еще несколько времени по Устьянской волости и затем уже по узкой, почти непроездной тропинке выбрался опять на большую дорогу.

Во время этих разъездов я осведомлялся в каждой деревне об асанах и других туземцах, но почти без всякого успеха. По Усолке живут одни русские, которые, как ни мало знают о своей стране, никак, однако ж, не допускают, чтобы предки их были асаны, и выдают себя за потомков

ссыльных и казаков. Никто не запомнит, чтобы когда-нибудь показывались здесь какие-нибудь туземцы, кроме везде бродящих тунгусов; если же в незапамятные времена и были здесь какие-либо другие туземцы, то они или вымерли, или перекочевали к другим рекам, но никак не обрусели. Таким образом, даже и по Усолке память об асанах совершенно исчезла, точно так же и по низовьям Аны, принадлежащим к Устьянской волости. Здесь я встретил, впрочем, два русских семейства, про которые говорили, что они потомки коренных обитателей страны, но они, без сомнения, тунгусского происхождения, хотя и уверяли сами, что не помнят своих предков.

Что касается до верхней части Аны, обыкновенно называемой Бирюзою, то и по ней в настоящее время нет туземцев остяцкого племени, но, как совершенно справедливо замечает Клапрот, в недавнем еще времени в этой речной области жили котты, близкие соплеменники асанов, получившие потом приказание переселиться на реку Уду, где они и живут ныне вместе с бурятами в деревне Бадарановке, в 30 верстах ниже Нижнеудинска. Еще живучи на Бирюзе, котты променяли свой родной язык, не слишком, кажется, отклонявшийся от агульского наречия, на бурятский. Теперь они, как и сами нижнеудинские буряты, — полурусские, полумонголы. Всех этих коттов в настоящее время только 11 податных душ; они называют себя по-русски котовцами, а по-бурятски — котоп. Карагасы же зовут их кодеглар — татарским названием канских коттов и еще одного сойотского племени в Китае.

Необходимо еще заметить, что несколько обрусевших коттов я встретил около Канска: в деревнях Анзире, Барнауле и Еланске. Эти котты выдавали себя за остатки так называемого Багиновского улуса, некогда находившегося на реке Пойме, впадающей в Ану. О них упоминает и Клапрот (Asia Polyglotta, стр. 169) и при этом говорит еще о других коттах, называвшихся конгроичами. Сии последние, вероятно, слились с койбалами и отатарились. Что же касается до названия конгроичи или контороичи, то им обозначается, собственно, не само коттское разветвление, а вообще все татары, платящие подать в Красноярске, который по-татарски называется Конгорой, то есть место, в котором звонят в колокола.

Вот все существенное, что я узнал об асанах и коттах на пути в Нижнеудинск. В самом Нижнеудинске я, сколько могу, занимаюсь монгольским и карагасским языками. Монгольский язык мне необходим для разузнания помесей, происшедших от столкновения бурят с самоедскими и остяцкими племенами. Ограничение известным сроком, вероятно, не дозволит мне проследить это так, как бы мне хотелось, во всяком, однако ж, случае постараюсь разузнать, действительно ли здешние кодеглары, как говорят, настоящие буряты и не обнаружится ли какими-нибудь особенностями языка их настоящее происхождение. С той же целью займусь несколько времени и двумя другими бурятскими родами, живущими в Нижнеудинском округе: родом Карагас, или Мальдьер (Maldjer), и родом Улькогут (Ul)ugût), о которых все говорят, что прежде они были карагасы, что отчасти очевидно уже и *из названия первого. Именно ради этих-то исследований я и* начал заниматься монгольским языком, который в будущем будет мне полезен во многих отношениях. Бурятским же займусь с упомянутыми родами, как только кончу с карагасами, которым теперь посвящаю все свое время, потому что они скоро разбредутся по лесам.

О карагасах с давних пор господствует мнение, что они самоедского происхождения и находятся в близком сродстве с своими соседями — лесными камассинцами. Еще в недавнем времени это мнение было высказано г. Баером, который по физиологическому исследованию одного карагасского черепа открыл в нем самоедский тип. В самом деле, даже и при поверхностном взгляде замечаются в некоторых карагасах черты, свидетельствующие самоедское их происхождение, но, если не ошибаюсь, у большей части как физиономия, так и телосложение совершенно татарские. Татарского же происхождения и большая часть обычаев и нравов карагасов: их шаманство и религиозные понятия, и многое в образе жизни, в одежде и проч. Но в то же время во всем этом замечается и такое, что, несомненно, составляет наследие от самоедов. К последнему относится, между прочим, и общеупотребительное обыкновение в зимнее время ставить покойников в грубо сколоченных гробах поверх земли. Приводимое и усомненное г. Баером свидетельство Георги, что карагасы зарывают покойников в землю, отно-

сится только к летним похоронам: летом вообще и все самоеды хоронят своих покойников в землю, зимой же они этого не делают просто по неимению орудий для раскапывания замерзшей земли. В доказательство самоедского происхождения карагасов можно привести также и то, что они звероловы и занимаются оленеводством, а такого образа жизни не ведет, сколько мне известно, ни одно чистое, не смешанное татарское племя; что у них так же, как и у самоедов, зимние юрты из оленьих шкур, а летние из бересты и, как самоедские, остроконечной формы, и т.д. Кроме того, в языке карагасов попадаются самоедские слова, и даже некоторые рода их обозначаются самоедскими названиями, как, например: 1) *Irga*, койбальск. *Yrgen*, сойотск. *Irgit*; 2) *Tarak*, кобайльск. *Taradjak*, сойотск. *Taremdjak* (прозвище); 3) *Tjogde*, койбальск. *Tjoda*, сойотск. *Tjode*; 3) *Bogosche*, койбальск. *Bögödji*, камасс. *Bögösha*, карасс. *Mogadji* или *Mungandji*. Впрочем, последний род карагасы не признают своим и говорят, что он вместе с двумя другими родами: *Tulaj* и *Tjeptej* — выселился из Тункинской области. То же рассказывают буряты о двух меньших родах: *Tjogde* и *Kara Tjogde*, которые, по их мнению, произошли от двух сойотов, переселившихся вместе с несколькими монголами.

Эти переселения, как очевидно уже и из преданий, произошли в весьма поздние времена. В раннейшие же времена как карагасы, так и койбалы были, по всей вероятности, только сойотские выселенцы. Доказательством этому могут служить весьма многие предания, разные родовые названия, общие всем трем названным народам и Nomen gentile, которое у одной части койбалов было, а у сойотов и теперь еще — *Туба*, у карагасцев же *Туфа*. Ко всему этому присоединяется еще и сходство языка. Определяя теперешний язык и национальность карагасов по некоторым только вероятностям, действительно легко принять их за монголов, так как они живут в ближайшем соседстве с бурятами и до позднейших времен находились под бурятским господством. И в самом деле, многие из них свободно говорят по-монгольски, но настоящий язык их — тюркский, того самого наречия, к которому, кроме карагасского, можно причислить и качинское, и койбальское, и сойотское. Между карагасским и сойотским сродство так велико, что их можно принять за одну разность

(Varietat). Затем карагасское примыкает ближе к койбальскому и отклоняется наиболее, хотя и не существенно, от качинского.

Я сейчас сказал, что сродство языка — доказательство одного общего происхождения карагасов, койбалов и сойотов. Но, сказав это, я разумею никак не более того, что три поименованных народа преобразовывали свою национальность под одним общим влиянием и что это преобразование происходило отчасти в то время, когда койбалы и карагасы жили еще в близких сношениях с сойотами. Иначе невозможно объяснить упомянутого выше сродства в языке, особенно касательно карагасов, которые со времени переселения их в Нижнеудинский округ не были ни в каких сношениях с татарскими племенами. А так как, тем не менее, они татары и говорят тем самым тюркским наречием, которым говорят сойоты, то из этого и следует прямо, что в старину они жили в близких связях с сойотами или, по крайней мере, тогда уже заимствовали язык их. То же самое должно сказать о койбалах; так как известно, что многие роды их говорили по-тюркски задолго еще до того времени, когда пришедшие от Красноярска татары сделались их соседями. Несмотря на то, нельзя, однако ж, не допустить, что большая часть койбалов отатарилась на теперешних своих жилищах, между тем как почти все карагасские роды были уже татарами и во время своего переселения.

Так как койбальская, карагасская и сойотская диалектная разность примыкает все более к качинскому наречию, то и нельзя не предположить, что именно качинские татары и уничтожили небольшие самоедские и остяцкие народцы, известные под именами койбалов, карагасов и сойотов. Предположив это, можно предположить, что и качинские татары также вышли из Монголии и еще там начали ту самую роль антропофагов, которую играли до новейших времен. Предположение это оправдывается многими важными доводами, но я ограничусь здесь только говорящими в его пользу сходными названиями. Известно, что качинские татары называют себя *Kasch*; так называют их и все другие татарские племена. У карагасов *Kasch* встречается как родовое название, и мне рассказывали, что в Тункинском округе есть татарский народец (вероятно, сойоты), ко-

торый здешние буряты называют *Kasch*. Далее карагасского рода *Kasch* существует еще значительная ветвь, которая называет себя *Sarey-Kasch* — желтым кашем; другие же племена называют ее Kara-Kasch — черным кашем, и это название русские перенесли на все племя *Tufa*. Наконец, именем *Kargas* (сокращение *Karahas*, или *Kara-hasch*) называется один сойотский род, кочующий в пределах Китая по левую сторону Улу-кема. Все эти желтые, черные и бесцветные роды каш, вероятно, малые остатки главного качинского рода.

Как скоро здоровье мое поправится и мои занятия в Нижнеудинске кончатся, я отправлюсь в Тункинск. Но перед тем заверну на несколько дней в Иркутск за необходимыми документами, которые и здесь, в Нижнеудинске, весьма были бы мне нужны, и чтоб посоветоваться с докторами насчет моего здоровья. Начну ли я мое возвратное путешествие из Тункинска или проберусь дальше в Забайкалье — зависит от обстоятельств, которых теперь нельзя предвидеть. Верно только то, что не окончу возложенного на меня поручения за предписанный срок. Время пребывания моего в Сибири совершенно зависит от ответа на мою просьбу о пособии. Если б я получил ваше письмо от 4 октября вовремя, я попросил бы продолжить получаемое мною вспоможение еще на полгода, не обращая внимания на грудь, которая летом и не подвергается особенным неприятностям, потому что нередко приходится ехать вдоль рек, больших переездов не делаю и часто останавливаюсь.

P.S. Нижнеудинск, 20 января (1 февраля) 1848 г. Хворь моя еще продолжается, но занятия идут своим чередом. Теперь я занимаюсь коттами. Они, конечно, буряты, но язык их, как и язык здешних бурят, так сильно уклоняется от монгольского, что я не могу оставить его без исследования.

V

Асессору Раббе.
Нижнеудинск, 6 (18) января 1848 г.

Теперь следует другая глава, которую стоило бы обвести черной каемкой, потому что она содержит в себе историю теперешней моей болезни. На пути из Канска в Ниж-

неудинск я своротил в сторону с большой иркутской дороги на поиск пропавшего племени асанов. Но, чтобы поспеть вовремя к собравшимся в Нижнеудинске карагасам, я должен был торопиться и потому ехал день и ночь в сильнейшие зимние холода. Следствием этой чрезмерной торопливости была простуда, которая свалила меня вскоре по прибытии в Нижнеудинск в постель, которой я не покидаю целых четырнадцать дней. Меня лечит фельдшер, не знающий никаких лекарств, кроме камфары и ялапы — пачкун, который, вероятно, давно уже отправил бы меня на тот свет, если бы я исполнял все его предписания, как, например, пить кислое молоко, есть кислый солдатский хлеб и т.п. При осторожном употреблении его средств я все-таки надеюсь, однако ж, скоро оправиться и тогда снова примусь за обыкновенные свои занятия.

Впрочем, и в продолжение болезни я занимался, сколько позволяли силы, карагасским и бурятским языками, из коих первый — тюркское, а последний — монгольское наречие. Вместе с тем за неимением другого чтения я ежедневно читал монгольские книги и воссылал молитвы на монгольском языке к «наисвятейше-совершеннейшему Будде». Это занятие при всей недостаточности убедило, однако ж, меня достаточно, что между финским и монгольским языками есть родственное отношение, хотя и довольно дальнее. Гораздо значительнее сродство монгольского языка с тюркским, а в бурятском я тотчас открыл много точек соприкосновения с самоедским. Хотя и трудно сказать вперед, к каким результатам может привести исследование этих языков, однако ж я считаю весьма вероятным, что тюркские, финские и самоедские народы составляют посредствующее звено, или, пожалуй, посредствующую расу, между монгольской и кавказской. С мнением же некоторых физиологов, принимающих гиперборейскую, или полярную, расу, нельзя согласиться с историческо-филологической точки зрения, потому что как финское, так и самоедское племя не сходили с ледяных гор Урала, а переселились и то, и другое из степей Средней Азии. Сверх того, ни в каком уже случае нельзя причислить к гиперборейской[138] расе тюрков, а они, если принять свидетельство языка, в весьма близком сродстве как с финнами, так и с самоедами.

От этого ученого отступления возвращаюсь опять к моим частным делам. Если здоровье мое скоро поправится и занятия мои кончатся, как хотелось бы, я отправлюсь еще до истечения этого месяца в пресловутый город Иркутск, до которого отсюда считают не более 500 верст. На этом пути я не предвижу никаких занятий, которые могли бы задержать меня в дороге более двух недель. Таким образом, я надеюсь отпраздновать в Иркутске лишний день високосного года, в который, по прошлогоднему календарю, как раз приходятся мои именины. Но так как собственно в городе мне нечего делать, то я думаю тотчас же продолжать путешествие к китайской границе. Посмотрим, поспею ли я еще вовремя к знаменитой чайной ярмарке в Кяхту, где желал бы побывать не ради чая, а для того, чтобы присутствовать при многочисленных празднествах, бывающих у китайцев во время этой ярмарки.

Насчет возвращения моего я все еще не знаю ничего положительного. Академию я просил не о продолжении выдаваемого мне пособия, а только о деньгах на проезд до Петербурга, причем обязался продолжать на обратном пути свои разыскания по мере средств, которые ассигнует мне Академия. Частным образом я узнал, что члены Академии были бы не прочь оставить меня в Сибири до будущей осени, но так как я не изъявлял на это своего согласия, то она и не назначит мне ничего или, много-много, прогонные и суточные деньги от Иркутска до С.-Петербурга, т.е. всего каких-нибудь 300 рублей серебром. В последнем случае я выеду из Иркутска не позже мая, но если, сверх ожидания, мне назначат значительнейшее пособие, то я сочту своею обязанностью остаться в Сибири до осени.

Мой запас истощен, остается только пожелать тебе всякого благополучия.

Твой друг, поклонник Будды.

P.S. Нижнеудинск, 20 января (1 февраля) 1848 г. Болезнь и труды не по силам довели меня в последнее время до такого плачевного состояния, что я до сих пор не мог отправить к тебе этого письма. Впрочем, не имею сообщить тебе ничего нового, кроме того, что я углубился теперь сажен на пятнадцать в монгольскую премудрость.

VI

Статскому советнику Шётрему.
Иркутск, 1 (13) марта 1848 г.

Полубольной, полуздоровый, выехал я в начале февраля из Нижнеудинска и через несколько дней прибыл в Иркутск. Несколько освежившись этим путешествием, я не счел нужным оставаться для лечения в Иркутске и поспешил в Тункинскую слободу, т.е. верст за 200 от Иркутска. По приезде в Тунку я тотчас же начал заниматься тамошними сойотами, которых теперь всего один род *Иркит*, состоящий из 57 податных душ. По преданию, эти сойоты жили некогда в Верхнеудинском округе на реке Сикир, откуда перешли в Тунку и здесь разделились на две ветви, из которых одна жила в горной стороне по рекам *Оке*, *Гаргане*, *Хальби* и *Хонщуне* (Honschun); другая же — на равнине в бурятском улусе Буха-Горхон. Так как тункинские сойоты составляли только один род, то они и принуждены были брать себе бурятских жен и через то усвоили себе нравы и образ жизни бурятов. Степные сойоты в настоящее время чистые буряты, горные же сохранили еще кое-что из нравов и обычаев отцов своих. Все сойоты теперь поклонники ламы и говорят по-бурятски. Уверяют, однако ж, что горные сойоты в недавнем еще времени говорили тем же самым тюркским наречием, которым говорят карагасы, но теперь то наречие в Тункинской области не существует уже. Вместе с языком сойоты утратили почти и всякую память о старине своей. Но как здесь, так и в Нижнеудинском округе все знают, что сойоты — древнейшие обитатели страны и одного происхождения с карагасами, что прежде они платили дань Китаю и что некоторые роды их пришли в Нижнеудинский округ и соединились с карагасами. О самоедском же происхождении их не помнит никто, и хотя оно несомненно, но для подтверждения его я мало нашел нового в Тункинской области.

Окончив свои дела в Тунке, я хотел объехать Байкал, побывать в Кяхте и потом возвратиться в Иркутск через Селенгинск. Но, сообразив трудности этого путешествия и мое расстроенное здоровье, я передумал и возвратился в Иркутск, где и живу теперь уже два дня, приготовляясь к

переезду через Байкал. Эту поездку я почитаю решительно необходимой для моих ученых целей, хотя данная мне инструкция и не обязывает меня к этому.

По прибытии в Иркутск я получил ваше письмо с известием, что Академия назначила мне 500 рублей серебром. Сумма эта, как вам известно, превзошла все мои ожидания, и, следовательно, тем более чувствую я себя обязанным как в отношении к Академии, так и в отношении к вам за это пособие и употреблю все, чтоб эти деньги пошли на пользу науки. Деньги эти можно пока и не высылать или переслать в Омск — главную станцию на моем обратном пути. Весьма вероятно, что я не миную Томска и Красноярска, хотя и хотелось бы добраться кратчайшим путем до Кузнецка и Барнаула, которые весьма интересны в антикварном отношении. Говорят, что в Кузнецком уезде есть даже какие-то особенные чудские могилы, но едва ли я решусь разрывать их, потому что это сопряжено с такими расходами, которых Академия, вероятно, не примет на себя, тем более что нет надежды найти в этих могилах что-нибудь, кроме черепов. Само собой разумеется, что я не пожалею на *это* своих собственных средств, но на них многого не сделаешь, особенно при здешней дороговизне. В летнее время поденщик стоит здесь 2 р. 50 к. асс.

С отходящей почтой посылаю в Академию два ящика и три тюка, всего пять нумеров, из коих № 1 принадлежит Академии, а остальные — моя собственность: в них мои собрания. Поверить сибирской почте плоды семилетних трудов, конечно, не совсем-то безопасно, но и нанять подводу нелегко. В ящике, принадлежащем Академии, два костюма, общие бурятам, татарам, карагасам и сойотам. Мех дикой козы, из которого сделаны шубы и одна шапка, употребляется всеми этими народами. Кроме этих костюмов, в нем же несколько старинных вещей из Минусинского округа, и в том числе отломок огромного лома, вероятно, употреблявшегося для ломки курганных камней.

Ко всему вышесказанном мне остается прибавить только то, что всю зиму я постоянно хворал. Кроме лихорадочных припадков, и кашель усиливался, и горло часто болело. Несмотря на то, я не унываю и занимаюсь своим делом как обыкновенно. С Божьей помощью удастся, может быть, перенести и весну, которая всего опаснее.

VII

Асессору Раббе.
Иркутск, 27 февраля (10 марта) 1848 г.

Сообщаю тебе только, что я второй уже раз нахожусь в Иркутске, что путешествие в Тункинские горы благополучно окончено и что теперь я помышляю о поездке в Кяхту и другие места по ту сторону Байкала. Может быть, тебе уже известно, что С.-Петербургская Академия назначила мне еще 500 рублей серебром на продолжение моего путешествия. Несмотря на то, я в мае же оставляю Иркутскую губернию, потому что Западная Сибирь представляет гораздо обильнейшее поле для моих исследований. Здесь мне, собственно, остается только изучение манджурского языка, к которому давно и приступил бы, если бы только получил ожидаемую из С.-Петербурга грамматику Габеленца.

Иркутск, сколько я его до сих пор видел, весьма приличный город и, без всякого сравнения, лучший из всех сибирских городов. Высоких домов нет, но строения вообще довольно красивы, и во многих я видел окна из зеркальных стекол. Роскошь в одежде и экипажах доходит до невероятного. Шампанское льется рекой. По вечерам почти во всех домах играют в преферанс. Костюмы, моды, фасоны — все это à la Pétersbourg. Но как вообще в Сибири, так и в Иркутске, люди такого свойства, что их, по всей справедливости, можно было бы причислить к особой расе, отличающейся холодной кровью, узкостью сердца и т.п. По этой причине я скучаю в самом Иркутске и рвусь в какой-нибудь бурятский или тунгусский улус. К счастью еще, я встретил здесь барона Сильфергельма — земляка, который заботится о моем материальном благосостоянии, но ведь человеку для жизни недостаточно одного насущного хлеба, да притом же и здоровье мое теперь так расстроено, что мне по-настоящему следовало бы питаться одним овсяным супом.

Все твои письма и посылки, отправленные до 16 января, исправно получены мною в Иркутске. На будущее время мне трудно назначить какой-нибудь определенный адрес, но так как на обратном пути мне нельзя будет миновать Омск, то я полагаю, что всего вернее было бы посылать письма ко мне в этот город. В «Morgenblad» я читал, что у финского литературного общества есть Видеманнова чере-

мисская грамматика. Постарайся непременно переслать эту книгу в Омск, потому что летом я имею намерение заняться черемисским языком.

«Русский Инвалид» сообщает совершенно свежую новость, что Рокоссовский назначен финляндским генерал-губернатором. В России он известен за весьма дельного человека, да и в Сибири имя его повсюду произносится с величайшим уважением. В последнее время он служил начальником-топографом в Екатеринбурге.

VIII

Студенту Европеусу*.
Иркутск, 27 февраля (10 марта) 1848 г.

Прежде нежели приступлю к ответам на каждый из твоих вопросов поодиночке, скажу тебе несколько слов о газете «Suometar». Нельзя не сознаться, что эта газета по усердию к делу, основательности и последовательности убеждений, ясности изложения и чистоте языка была одной из лучших, когда-либо издававшихся в Финляндии на отечественном языке. Издаваясь самыми юными и самыми жаркими приверженцами так называемой финномании, она не обнаружила, однако ж, никакой мании, постоянно сохраняла надлежащее спокойствие и тем пристыжала издававшихся над отечественным. Если можно в чем-нибудь упрекнуть эту газету, то разве только в том, что руководящие статьи были слишком однообразны, слишком переполнены филологией, что в языке иногда было заметно гоняние за классичностью, необыкновенными словами, формами слов и оборотами, от которых слог становился тяжел и натянут.

За сим отступлением возвращаюсь к твоим вопросам и постараюсь отвечать по крайней мере на важнейшие из них.

1) «Где древнейшая родина финнов?». Этот вопрос, собственно, не входит в область моих исследований, потому что деятельность моя с самого начала была направлена только на то, чтобы проследить переселения финских племен до Алтайских гор и при этом дознать родственные отношения между финскими и алтайскими народами. Вместе с тем я отыскивал, как в России, так в Сибири древние памятники,

* Один из издателей финской еженедельной газеты «Suometar».

собирал предания, названия местностей и все то, что могло служить к объяснению истории переселения финских племен. Вот несколько общих и неопровержимых результатов исследований, произведенных мною до сего времени.

a. Финские языки более или менее сродны с языками всех народов, живущих в Алтайских горах или отсюда вышедших. Наш язык походит ближе всего к самоедскому и тюркскому, но вместе с тем обнаруживает и решительное сродство с языками монгольским и тунгусским.

b. Из этого сродства языков можно вывести положительное заключение, что финны некогда жили на Алтае. То же самое подтверждается и настоящим распространением финского племени, равно как и многими встречающимися у Алтая названиями местностей явно финского происхождения. Сверх того, у сибирских татар есть много преданий о «белоглазой» чуди; трудно только решить — коренные ли это предания или заимствованные от русских. Многочисленные памятники, встречаемые в южной части Сибири, по всей вероятности, не финского происхождения.

c. Как, в отношении языка, финны всего ближе подходят к народам Западной Сибири, так к востоку от Енисея все прочие следы становятся все реже и реже. Я имею полное основание предполагать, что самые многочисленные свидетельства о финнах в Сибири находятся в пределах Верхнеиртышской области, но исследования по этому предмету я отложил до своего возвращения, потому что намерен держаться как можно ближе к сибирской границе, по крайней мере в пределах Тобольской губернии.

d. Во внутренней части России, как ты уже, вероятно, заметил, есть много названий местностей, заимствованных из финского и других одинакового с ним происхождения языков. Карты же, вопреки твоему ожиданию, будут для тебя в этом отношении весьма недостаточным руководством, потому что большая часть названий деревень и других местностей в России изменена в новейшее время. Прекрасным пособием для таких исследований могут служить несколько старинных межевых книг (Grundbücher), недавно напечатанных в Москве. У меня есть почти полное издание этого труда.

2) «Нет ли в настоящее время финских племен во Внутренней Азии?». На этот вопрос можно с полной уверенно-

тью ответить: *нет*. Тебе, вероятно, небезынтересно, что венгерец Csoma de Körös долгое время жил в Тибете и других азиатских странах с целью отыскать родственные венгерцам племена, но нашел решительно не то, чего искал, хотя разыскания его, вероятно, были небесплодны для науки.

Путевой отчет

Иркутск, 10 (22) августа 1848 г.

Солнце бросало последние лучи на золотые главы церквей Иркутска, когда я (1 марта 1848) на тройке лихих лошадей, запряженных в сани, выехал из этого города. У байкальской заставы часовые продержали меня целых полчаса. Между тем смеркалось, и когда я наконец добрался до Ангары, невозможно уже было ничего различить, кроме темных очерков гористых берегов ее. Лишенный, таким образом, возможности делать какие-нибудь путевые наблюдения во время езды по Ангаре, я слушал веселые песни и беседы с самим собою моего ямщика. Вскоре мы приехали на ближайшую станцию и задолго еще до полуночи были уже у Байкала, находящегося в шестидесяти верстах от Иркутска.

Хотя на обыкновенных почтовых станциях редко можно рассчитывать на спокойный ночлег, я остался, однако ж, здесь до рассвета, рассчитав, что гораздо благоразумнее пуститься на Байкальское море* утром. Какой-то господин, выдававший себя за военного, был так любезен, что большую часть ночи занимал меня правдивыми рассказами о своих дуэлях и других событиях своей жизни; эта любезность заключилась, однако ж, просьбой денежного вознаграждения. Что он действительно нуждался в пособии, об этом достаточно свидетельствовала его оборванная одежда, и все-таки просьба его подействовала на меня так неприятно, что я тотчас же приказал закладывать лошадей и выехал еще до восхождения солнца.

* Байкал обыкновенно называется морем, по-бурятски *talai*. Слово «Байкал» монгольского происхождения и значит, собственно, «богатая река». Если это производство правильно, то в основании его два монгольских слова: bajan — богатый и ghool — река. У Вананг Бетзева в «Истории восточных монголов», стр. 56, и других местах озеро это называется baighal muren (поток).

Сумрак и густой туман покрывали Байкал и Ангару. Утро вначале было тихо, но с восходом солнца подул сильный восточный ветер и закрутил снег по всему узкому морю. Напрасно напрягал я зрение, чтобы измерить высоту гор, которые, как мне сказывали, идут по обеим сторонам моря; от сильной метели едва виднелась даже и крутая скалистая стена, вдоль которой шла дорога. Ямщик рассказывал, между тем, что в хороший ясный день отовсюду видны горы, висящие на северной и на южной сторонах Байкала, но что к востоку ничто не останавливает взора. О самих же берегах говорил, что их везде составляют бесплодные скалы, отчего русские переселенцы, не имея возможности здесь основаться, и предоставили их бурятам и диким тунгусским племенам. И действительно, берега Байкала до того непроездны, что и до сих пор не могли проложить летней дороги от Иркутска до Кяхты и Верхнеудинска. Поэтому и почта, и все проезжающие, не решающиеся летом довериться бурному морю, должны целые семь станций ехать верхом; зимой же нельзя и придумать дороги лучшей той, которая идет от Иркутска через Байкал в Верхнеудинск. Беспрестанные бури сметают с моря почти весь снег и по гладкому льду едешь удивительно быстро. Хотя непогода несколько и задержала нас, через четыре часа мы были уже на другом берегу, все же байкальское путешествие (около 130 верст) взяло не более десяти часов.

Как скоро Байкал остался у меня назади, местоположение сделалось несравненно приятнее. Горы не исчезли еще, но они были не так мрачны и обрывисты, как на берегах Байкала. Кроме того, везде виднелись и большие, и малые долины и на них множество деревень, которые своим цветущим видом свидетельствовали о плодородии почвы. По большой дороге жители все русские, но по сторонам, говорят, преобладает бурятское население. Тунгусов и сойотов в этих местах нет.

О древнейших, исчезнувших народах изустных преданий нет, из письменных же памятников видно, что монголы, хотя и живут здесь с незапамятных времен, нисколько, однако ж, не древнейшие обитатели байкальской страны. Рассказывают, что первое монгольское переселение пришло под предводительством Бурте Чино к «великой байкальской реке» и нашло поблизости ее народ, называвшийся *бите*. Об том народе

я не узнал никаких дальнейших подробностей, но многие ученые и неученые буряты высказывали мне предположение, что народ *бите* были киргизы, т.е. тюркское племя*. Название *бите* уже исчезло из памяти народной, но что киргизы жили в этой стране до пришествия монголов, об этом есть по крайней мере предание, весьма распространенное по реке Селенге. Многочисленные каменные холмы, или курганы, встречающиеся на Селенгинской степи, приписываются именно киргизам и на самом месте, особенно на западе от Селенги, называются Kirgit-ür, т.е. киргизское жилище. Если даже эти остатки и не киргиз-ского происхождения, все же упомянутое предание подкрепляется множеством местных названий, взятых из тюркского языка, как, например, *Куда*, *Кудай*, *Кударей* (от *Кудай* — бог), *Тура* — название многих гор и рек — явно тюркского происхождения, и т.д.

Недостаток места не позволяет мне передать все изустные и письменные сведения, сообщенные мне бурятами для объяснения бывших некогда в байкальской стороне передвижений народов. Замечу только мимоходом, что у бурят нет своих преданий о чуди, все их рассказы об этом знаменитом народе древности заимствованы от русских поселенцев. Вообще в байкальском краю трудно указать следы какого-нибудь другого народа, кроме тюрков, монголов и тунгусов. Множество названий местностей как бы намекает, однако ж, что в глубокой древности здесь жили финские и самоедские племена. Хотя эти названия не всегда означают что-либо, но как сами звуки, так и нахождение их в то же время в странах, обитаемых финскими и самоедскими племенами, дают мне право приписывать им финско-самоедское происхождение. Таковы, между прочими, названия *Уда* (самоед. рука), *Ут*, *Конда*, *Бахта* или *Бохта*, *Хазун* (самоед. сухой), *Нарым* (ост. болото), *Пурья*, *Ага*, *Селенга*, *Каренга*, *Янга*, *Карга* и т.д.

После этого краткого отступления возвратимся снова к моему путешествию. От берегов Байкала я ехал, не останавливаясь, до Верхнеудинска и оттуда вверх по Селенге до городка Селенгинска. Близ последнего 4 марта совершенно неожиданно я был изумлен обнаженной землей и пыльными дорогами.

* Это название, которое читается также *бида*, относили к монголам (*См.*: Клапрот. Asia polyglotta. С. 258 и след. *Кастрен.* Сравни. — Заванг Зетзен и примечание I.1. Шмидта.

Скотина паслась по степи, пастухи разъезжали верхом, наблюдая за порядком в своем четвероногом войске, состоявшем из коров, лошадей, овец, коз и верблюдов. Все это имело весенний вид, но трава была еще сера, стекла в окнах замерзлые и Реомюров термометр показывал -20°. Ясно, что поля обнажились не от чрезмерного тепла, а от недостатка снега; недостаток же его происходит, как уверяют, частью от солончакового свойства степи, частью от безлесности и незащищенности ее от бурных ветров. По этим же причинам снега не бывает даже и зимой в Кяхте и во многих других местах Забайкалья, где морозы нередко доходят до 30 и даже до 40° Реом. Земледел весьма рад этому, потому что возможность круглый год пасти стада на степи избавляет его от тягостной необходимости больших запасов сена, но всякому другому, конечно, приятнее были бы поля, покрытые снегом, нежели эти пепельно-серые степи с их бурными ветрами, поднимающими облака песка и пыли. По крайней мере для меня продолжение от Селенгинска моего путешествия в летнем экипаже было до того неприятно, что я почел за величайшее счастье, когда, проехав верст 30, Гусиноозерский бурятский храм дал мне предлог остановиться здесь на несколько дней. Так как этот храм, или датзанг, состоит под ведением бурятского первосвященника (Бандида-Хамба), то мне и казалось нелишним обратить на него особенное внимание.

Гусиноозерский датзанг помещен весьма выгодно на берегу большого озера (Гусиного озера) в степи, окруженной красивыми возвышенностями. Храм составляет довольно большое деревянное строение с двумя пристройками с боков, как у наших крестовидных церквей. Спереди и сзади храма — по небольшому выступу, в переднем — притвор, в заднем — само святилище. Перед притвором находится еще навес, утвержденный на множестве столбов и с бесчисленными украшениями в азиатском вкусе. Этот навес соединяется с крышей храма, выгибающейся над различными отделами его почти волнообразно. Она весьма высока, тогда как стены скорее низки. На самом верхе крыши возвышается множество больших и маленьких башенок, обитых жестью, отчего при солнечном свете датзанг блестит и сияет. Крыша выступает далеко за стены и поддерживается рядом столбов, опирающихся на дощатый помост, идущий снаружи вокруг всего храма вровень с его фундаментом. По

словам провожавшего нас ламы, по этому помосту процессии жрецов тихо обходят храм, читая молитвы.

Подле самого датзанга находится не менее 16 маленьких часовен (Sume), стесненных в небольшую группу. Некоторые из них четырех-, других восьмиугольные, но все с небольшой острой башенкой и окружены, как и датзанг, деревянным палисадом. В этих часовнях богослужение происходит в особенные праздничные дни. В часовнях сохраняются книги, писаные и литые образа, или бурханы, принесенные жертвы и различная утварь, необходимая для буддистского богослужения, и т.п. В одной из этих часовен показывали мне колесницу, запряженную деревянными конями, предназначенную для приема мессии, или Майтрейя (Maitreja), который должен прийти после Шигимуна (Cákjamuni).

Обозрев вскользь многочисленные принадлежащие храму здания, взойдем с позволения хамба-ламы в сам храм. Не пугайтесь разверстых пастей и воинственного вида двух львов, стерегущих вход; наш лама уверяет, что «они из глины и не сделают нам никакого вреда». В первом отделении храма, то есть в притворе, стены увешаны мечами и панцирями, львиными, медвежьими, волчьими и росомашьими шкурами, принесенными в жертву бурханам. По средине находится ковчег, устроенный так, что может вертеться, причем раздается звон привешенных к нему колокольчиков. Ковчег этот называется у бурят *курда* и наполнен *мани** и другими молитвами, которые тысячи и тысячи раз написаны и переписаны. Всякий, кто входит в храм, повертывает *курду*, прочитывая свою *мани*; этим душа его, как уверяют жрецы, очищается от греха.

Из притвора узкий проход проводит нас через весь настоящий храм. По обеим сторонам прохода тянутся ряды скамей параллельно длине храма. Впереди каждого ряда стоят несколько стульев, покрытых красным сукном для хамба-ламы, ширету и других важных духовных особ; скамьи же во время богослужения занимаются низшим духовенством**. Внутри храма много колонн, а с потолка висит бесчисленное множество белых и желтых шелковых полосок, на стенах много картин, изображающих разных бурханов; у двух передних

* Здесь разумеется известная формула: Om mani padme hum.

** Миряне присутствуют при богослужении, стоя у дверей храма, частью внутри его, частью и наружи.

рядов скамей на полу и на самих скамьях лежат трубы, литавры, дудки, флейты, кимвалы и другие громко звучащие инструменты. В храме и в ясный день постоянный полумрак, потому что окна малы, да, сверх того, и столбы, и множество шелковых полосок мешают проникновению света.

Когда мы вошли в храм, около 40 жрецов занимали два передних ряда скамей по обеим сторонам прохода. Они сидели, сложив накрест руки и ноги, в ярко-красных и желтых одеждах, так же неподвижно, как сами бурханы, которых они прославляли песней далеко не благозвучною, но все-таки полной глубоко религиозного чувства. Судя по мелодии, пение это способно отнюдь не к умиротворению и вознесению души из земной юдоли, а только к наполнению сердца грешника тоской и страхом. Мы высказываем этим, разумеется, не наше собственное чувство, но вот у дверей стоит бедный бурят, он дрожит всем телом, слушая это пение. Вдруг раздается звук труб, и все дудки, литавры, барабаны и кимвалы поднимают такой шум, как будто настал последний день. Бедный бурят падает ниц лицом, и все показывает, что его состояние нисколько не притворное, что сердце действительно глубоко потрясено мощным гласом вседержителя

Войдем теперь через отверстый вход в само святилище. Взоры наши поражаются здесь ослепительным блеском. Здесь не только стены увешаны писаными бурханами, но в глубине находится еще алтарь, уставленный блестящими латунными, отчасти вызолоченными. Посредине на алтаре сидит высокий покровитель жрецов (лама Чодбо) и наслаждается куреньями, в честь его сожигаемыми. Направо от него находится небольшое изображение Майтрейя (Maitreja), а подле этого целый дворец, в котором, как объяснили мне, заключен бурхан Аръябала (Arjabala). На левой стороне алтаря стоят точно такие же литые изображения шестнадцати Найденгов, Сакъямуни и других великих бурханов. Перед этим сонмом божеств находится зеркало и множество латунных блестящих сосудов, наполненных священной водой, хлебным зерном и другими жертвоприношениями. Кроме того, на алтарном ковре лежат еще различные жертвы, состоящие по большей части из масла и других съестных припасов. Перед бурханами горит множество лампад, и облака фимиама подымаются из курильниц.

Подробное описание храма ламы требовало бы изложения буддистских религиозных учений, а потому из боязни слишком большого отступления оставим храм и пойдем за нашим проводником к хамба-ламе, жилище которого находится за длинным деревянным палисадом, отделяющим все храмовые строения от жилищ жрецов. Эти жилища большей частью бедные, низенькие лачуги, построенные в бурятском стиле. Жилище хамба-ламы составляет, однако ж, блестящее исключение: оно выстроено гораздо лучше и двухэтажное. Хамба-лама живет в нижнем этаже, и кабинет его — храм в миниатюре. И здесь есть алтарь, уставленный точно так же, как в святилище, и здесь перед алтарем горит множество ламп, и присутствующие жрецы низшего разряда время от времени жгут курения перед бурханами.

Хамба-лама, как подобает, занимает в комнате главное место. На нем красная мантия, он сидит на кресле, обтянутом красной шелковой тканью, и поглядывает вокруг себя так гордо, как будто бы он — само божество. В почтительном отдалении стоят разные низшие жрецы и внимательно слушают веления главы своего. Хамба-лама не слишком силен в русском языке и потому говорил со мной через переводчика, которым служил один из жрецов. Разговор шел о превосходстве буддисткой религии перед всеми другими. Превосходство это хамба-лама основывал на глубокой древности буддизма, на богатой литературе и на строгой нравственности поклонников этого учения. С жаром и весьма велеречиво доказывал он, что по крайней мере бурятам, живущим по ту сторону Байкала, христианство в настоящее время нисколько не полезно, потому что по незнанию языка они никаким образом не могут понять христианского учения, тогда как единоверцы его в точности исполняют предписания религии и питают глубокое отвращение к греху. Да и самые жрецы буддистские, по его мнению, далеко превосходят христианских как познаниями, так и религиозной жизнью. «От христианского священника, — говорил он, — требуется только поверхностное знание немногих Евангелий и посланий, нескольких псалмов и молитв, монгольский же лама должен знать Ганджур, Данджур и многие другие книги, что вместе составляет сотни томов*. Книги эти читаются у нас

* Уже и два собрания — Ганджур и Данджур — содержат в себе более 330 томов.

на тибетском языке, и все, что на них нужно для богослужения, наш жрец должен знать наизусть, ибо при богослужении не употребляют книг. Кроме того, буддистский жрец необходимо должен еще знать астрономию, медицину, каллиграфию, книгопечатание, приготовление жертв и т.д., при всем этом каждый желающий поступить в духовное звание должен поклясться перед жрецами, что день и ночь будет мыслить о боге, читать мани, поститься, молиться и исполнять все заповеди, коих для высших духовных лиц 253».

Так распространялся хамба-лама большую часть вечера о превосходствах своего сакъямунского учения, но только одних внешних его предписаний, старательно избегая всего, касающегося основных положений. Ту же осторожность соблюдал он, когда заходила речь об астрономии и медицине. Об исторических же предметах говорил весьма свободно: рассказал много чудес о Чингисхане, поведал и о камне китайского императора, который предсказал, что «Белый хан» завоюет Китайское царство до Пекина, и т.д. Когда случайно разговор коснулся до Тибета, хамба-лама приказал отыскать старинную рукопись одного бурятского богомольца, который ходил на поклонение к Далай-ламе около 1770-х года. Из этой рукописи хамба сообщил мне следующие сведения:

«В Тибете два духовных набольших: Далай-лама и Богдо Банчин, из коих первый живет в земле *Дуйба*, последний — в Сзиба. Прежде Далай-лама имел высшую как духовную, так и светскую власть над целым Тибетом, но с 1713 года, когда это государство сделалось подвластным Китаю, Далай-лама почти совершенно утратил свою светскую власть и даже в церковном отношении подчинен Богдо Банчину*. Несмотря на то, он пользуется в Тибете величайшим уважением как величайший святой церкви. Далай-лама живет во дворце, в котором 999 комнат и который построен из камня горы Будалы. В полуверсте от дворца возвышается знаменитый храм Джу (Dschou), откуда распространилось буддистское учение на весь Тибет. В Новый год в этот храм собираются жрецы из всех других храмов и молятся здесь в продолжение двадцати одного дня и ночи. Их собирается иногда четырнадцать, иногда

* Это показание противоречит всему, что я знаю из других источников, повествующих, что далай-лама глава как церкви, так и государства, хотя в политическом отношении и руководствуется двумя китайскими генералами.

шестнадцать и даже восемнадцать тысяч, и все они во все это время содержатся на счет Далай-ламы, под ведомством которого находится храм Джу. В десяти днях пути от Джу есть другой значительный храм, в котором постоянно служат 3000 жрецов. Этот храм — под ведением Богдо Банчина. Кроме того, есть много еще и других больших и великолепных храмов. Один из них называется Балдан-Брайбуун и при нем 7000 жрецов. При другом, называющемся Сире, — 5000 жрецов, при третьем (Кеган) — 3500. Наконец, есть еще значительный храм, который древнее всех вышепоименованных; при нем 2500 жрецов, и храм этот называется Сампо.

Услышав с удивлением слово, которое в финских рунах имеет такое важное значение, я прервал чтение рукописи и спросил жрецов, не могут ли они сказать мне что-нибудь о происхождении и этимологии этого слова. Мне ответили, что слово *Сампо*, как его произносят монголы, произносится тибетянами *Сангфу*[140] и означает «тайный источник» (всякого благополучия), от слова sangwa — «тайный» (в финском sala) и fu — «источник, начало» (в финском paa). Это изъяснение увеличило еще более мое удивление, ибо в «Калевале» *Сампо*[141] воспевается именно как неисчерпаемый источник благоденствия:

Там пашут и сеют,
Там всяческое произрастание,
Там неизменное благоденствие...

— поет Вайнемойнен в «Калевале»* о финском *Сампо*.

Если принять к этому в соображение, что Пойола (Pohjola) финского мифа по местности совпадает, как и доказывали уже, с городом Холмогоры, то весьма вероятно и предположение, что Сампо «Калевалы» — также храм, и именно храм Юмалы, воспеваемый исландскими сагами. Как ни кажется мне это предположение вероятным, далее я, однако ж, о нем не распространяюсь, потому что без исторических разысканий это совершенно бесполезно.

Да и пора уж нам проститься с хамба-ламою и с его ученым духовным синклитом при Гусином озере. Отсюда через

* Руна XX. V. 223. след.
Sün'on kynie, süna kylwo,
Süna keswo kaikenlainen.
Sünapa ikninen onni.

небольшую степь мы заехали по дороге к далеко знаменитому буряту Ньендак Банпилову. Из автобиографии, сочиненной самим Ньендаком, явствует, что он в седьмом колене происходит *от знаменитого монгольского владельца Барас Багатур Тайдша* Тзакира, что он чиновник 12-го класса, глава всех бурят Селенгинского округа и корреспондент Казанского университета, что он на свой собственный счет построил великолепный датзанг, что за многочисленные его заслуги отечеству вообще и бурятам в особенности он удостоен золотой медали и других наград, исчисление которых занимает целый лист. Все это можно узнать только из бумаг, потому что сам Ньендак — олицетворенная бурятская скромность. Он не гордится своими семью предками, своими семнадцатью титулами, не величается своими заслугами, занимаясь весьма серьезно упрочением своего хозяйства и бдительным надзором за табунами. Как и все другие буряты[142], он ходил в овчинной шубе и только по праздникам и в торжественных случаях надевал на нее шелковый халат. Жилище его то шатер, то обыкновенная бурятская хижина, но для приема знатных гостей рядом с своей низенькой хижиной он построил красивое здание. Вполне преданный обычаям и вере своих отцов, Ньендак хорошо знаком с монгольской литературой, составил себе отличное собрание монгольских религиозных сочинений, и собрание это доступно всякому любителю словесности.

Я пользовался этими литературными сокровищами целые две недели и затем снова отправился в однообразные степи. До Кяхты оставалось только несколько станций, но дорога эта по страшной безлюдности показалась мне довольно длинной. Изредка попадались бурятские улусы, но такого рода, что вид их нисколько не радовал взора. Буряты жили еще в своих зимних жилищах, у более зажиточных были маленькие русские избы, у бедных же большей частью войлочные юрты, сходные с татарскими*. Кроме того, у менее зажиточных я заметил деревянные постройки, составлявшие нечто среднее между юртой и избой. Это осьмиугольные юрты с низкими стенами и высокой крышей. Как у юрт, крыша и в

* Здесь следует заметить, что войлочная юрта — обыкновенное жилище татарина зимой, заменяемое летом берестяной. Буряты же, напротив, и летом живут в войлочных юртах, поднимая только войлоки внизу *на вершок, чтобы дать свободный доступ воздуху.*

этих постройках утверждается на четырех столбах, печи нет, огонь разводится посредине, а дым выходит в отверстие в крыше, которое служит вместе и окном. По обеим сторонам места для огня лежат несколько досок, представляющих пол. Напротив двери — скамья или диван и перед ним собрание бурханов. Налево от входа обыкновенно скамейки, сундуки или ларцы, направо же почти всегда полки с чашками, котлами, берестяными плетушками и т.п. Как в войлочных юртах, так и в этих постройках живут по большей части летом, зимой же они служат кухней. Впрочем, слишком уже бедные семейства и зимой живут в них или даже и в шалашах из бересты, хвороста и сена. Для скота строится иногда особая закута, но обыкновенно ограничиваются простой непокрытой загородью. Для съестных припасов строются нередко небольшие амбары из досок и на колесах, они так легки, что во время перекочевок пара волов везет их совершенно свободно. Некоторые из этих подвижных амбариков служат маленькими часовнями и наполняются бурханами, священными книгами и т.п.

Хотя буряты и научились уже теперь возводить жилища разного рода, но войлочные юрты все-таки по-прежнему остаются их любимым жилищем. В них устраиваются они с большим вкусом и большим изяществом, нежели в зимних избах и в летних юртах. У богатого бурята вся левая сторона от входа уставлена драгоценными, стоящими друг на друге сундуками, в которых хранятся соболи, дорогие ткани, праздничные платья и т.п. На правой стороне пестрых сундуков гораздо меньше, здесь ближайшая к двери часть стены занята полками, уставленными блестящими самоварами, кастрюлями, кофейниками и другой кухонной посудой, которая стоит тут только для показа. Против дверей — диван из мягких войлоков, покрытый красным сукном или другой богатой материей. Перед диваном красуется сонм буддистских божеств с достодолжными трубами и литаврами. По обеим же сторонам дивана я видал иногда седла, украшенные серебром, старые ружья с обитыми серебром прикладами, мечи с серебряными рукоятками, серебряные кружки, изукрашенные луки и стрелы, панцири и т.п. В некоторых юртах я замечал, к немалому удивлению, что столбы, поддерживающие крышу и ежедневно покрывающиеся копотью от дыма во время топки, выкрашены синей краской и, сверх того, убраны тонкой серебряной работой.

Само собой разумеется, что буряты, которые так заботятся о своих жилищах, не пренебрегают и одеждой. В будни и богатый, и бедный довольствуются козьим или бараньим тулупом, но в торжественных случаях едва ли на ком увидишь такой черный соболь и такую богатую шелковую материю, как на грубом буряте. В женском наряде в особенности поражает множество разноцветных камней, жемчуга, золотых и серебряных украшений, которые не только покрывают шею и руки, но и висят во множестве везде, где только можно прицепить их, и затем весьма широкое, доходящее до пят платье из шелковой или другой какой дорогой китайской материи. Платье это не опоясывается и не зашнуровывается, а застегивается спереди. Иногда, особенно при верховой езде, на это платье надевается плотно обхватывающий шпензер без рукавов. На голове и мужчины, и женщины носят острую шелковую шапку с собольей опушкой и с красным шелковым кружком на макушке. На пальцах блестят золотые и серебряные кольца, на поясе висят длинные ножи в блестящих ножнах, но китайская медная трубка — nec plus ultra убранства.

Так и у бурят: богатый окружает себя блеском и великолепием, тогда как бедный влачит бремя жизни в трудах и заботах со слезами и воздыханиями. Бедный бурят живет обыкновенно в дымной дырявой войлочной юрте, плохо защищающей его от зимних непогод. В этой юрте движимое имущество его составляют несколько черных деревянных сундуков, горшков, кадок, берестяных плетушек, ветхих войлоков и т.п. Но и у самого бедного почти всегда есть несколько коров и овец, потому что без них ему нечего было бы есть, не во что одеться, и ему пришлось бы идти в ненавистное для него батрачество. Точно так же и верховая лошадь считается важным домашним животным, но без нее все-таки можно обойтись; в случае неимения ее бурят или ходит пешком, или садится на вола, на долгоногого верблюда. Что же касается до одежды, то бедный бурят ограничивается и зимой и летом, и в жар и в холод, и в дождь и в ясную погоду одним овчинным тулупом. Если жар слишком уже сильно печет, бурят, как и татарин, снимает тулуп и предает голое тело свое в жертву комарам, мухам, оводам и осам.

Достойно замечания, что пища и приготовление ее как у богатых, так и бедных бурят почти совершенно одинаковы.

Главную их пищу составляет монгольский (кирпичный) чай, вскипяченный на молоке и приправленный маслом. Это блюдо получило право гражданства и у живущих здесь русских; они говорят, что его питательная сила исцеляет болезни легких. После чая у бурят молоко занимает первое место. Затем идут сыр, масло и летом айран, или молочная водка. Хотя многие буряты занимаются хлебопашеством, но редко едят хлеб, даже мясо не составляет ежедневного блюда, а рыба — почти никогда. Словом, чай — единственное круглый год ежедневное кушанье, и это равно как у бедных, так и у богатых.

Этим чаем потчевали и меня в каждом улусе, покуда я не добрался до большой дороги. По ней не было улусов, везде только голая степь, сосновые кустарники да ряды песчаных холмов. По счастью, она была не слишком длинна, и через несколько станций я приехал в знаменитый торговый городок Кяхту на китайской границе.

Кяхтой собственно называется маленькая речка, впадающая в Селенгу, но этим именем называют обыкновенно и русский город Троицкосавск с его предместьями: Торговой Слободой и Усть-Кяхтою и с китайским торговым местечком Маймачином. Все эти местечки сами по себе незначительны, но для русской торговли они имеют огромную важность. На всей сибирской границе Кяхта — единственная точка, на которой сходятся для торговли Россия и Китай. И торг идет здесь в колоссальных размерах, потому что в Кяхте Россия получает все свои чаи, а сама сбывает в Китай свои сукна и меха ежегодно на сумму до пятидесяти миллионов ассигнациями. Китайцы жалуются на высокую цену русских сукон и грозят ограничиться торговлей с англичанами, но кажется, что для северных областей Китая и Монголии торговля с Россией все-таки выгоднее.

Но предоставим это обсуждению статистиков и съездим лучше из Троицкосавска в китайский торговый городок. Проехав с версту, мы перед таможенной заставой торговой слободы. Шлагбаум опущен, и несколько русских чиновников принимаются суетливо осматривать наш экипаж и пропуска. За сим шлагбаум поднялся, и дрожки наши быстро пронеслись через торговую слободу к воротам китайского города. Здесь нет никаких караульных, и паспорта никто не спрашивает, но кучер все-таки остановился перед воротами, потому что по улицам Маймачина я обычае ходить пешком.

Ворота, ведущие в Небесный город, весьма узки, но зато весьма высоки, кроме того, что и сам свод довольно уже высок, с середины его поднимается еще высокая башня с колоссальными изваяниями святых по бокам. В городе, имеющем форму четырехугольника, таких ворот восемь, по два на каждой стороне. Сверх того, и каждая часть города соединяется с другой такими воротами, которые вечером всегда запираются, а утром снова отворяются. Эти ворота и деревянные заботы, обнимающие город со всех четырех сторон, придают ему вид крепости или тюрьмы.

Внутри города взор наш останавливается с удовольствием на прямых и чистых, хотя и слишком уже узких улицах. По обеим сторонам улицы тянутся строения, составляющие почти одну сплошную стену, прерываемую только воротами. Почти все строения, выходящие на улицу, — или амбары, или магазины, и они не выше двух сажен, обмазаны снаружи глиной, а вместо рам в окнах только железные решетки, что на европейца производит довольно неприятное впечатление. С первого взгляда видно, что китаец не любит улиц, и в Маймачине они совершенно безлюдны. Только по множеству лошадей и верблюдов, стоящих и вне города, и на улицах почти у каждых ворот, можно догадаться, что тут происходит обширная и деятельная торговля.

Но всего более на улицах Маймачина обращают на себя внимание любопытного путешественника великолепные галереи: высокие своды их покоятся на прекрасных столбах и сверху украшены множеством глиняных изображений, выкрашенных черной краской и представляющих, вероятно, китайских святых. Кроме того, под сводами находится целое собрание рисованных и вырезанных из дерева изображений, кои дают весьма выгодное понятие об искусстве китайцев. Наконец, на своде каждых ворот одна или несколько тщательно выведенных надписей; из них одни — простые обозначения владельцев, другие — изречения, избранные хозяевами домов, как, например, «спокойствие и согласие», «строжайшая честность», «честность — лучший источник богатства», «процветать наследственными добродетелями», «постоянный барыш от счастливых предприятий», «постоянная улыбка счастья». Через ворота вступаешь на двор, который, если судить по Маймачину, великолепнейшее китайского города. У

китайцев дверь отнюдь не место для саней, повозок, ушатов и других домашних принадлежностей; напротив, это место для прогулки, или, вернее, гостиная. Частью он открыт, частью же защищен высоким сводом, который в зной доставляет приятную и прохладную тень. С трех сторон двор ограничивается сплошными строениями, составляющими жилые покои и амбары. Перед ними вокруг всего двора тянется ряд столбов, выкрашенных дорогими красками. Выходящие на двор стены большей частью покрыты лаком и, сверх того, украшены живописью, надписями, резьбой и т.п.

В жилых комнатах еще больше чистоты и изящества, нежели на дворе. Стены красуются прекрасными обоями и картинами. Вся передняя часть каждой комнаты занята широким диваном, покрытым драгоценными коврами. Затем вдоль всех стен стоят полированные столы, стулья, комоды и другая мебель, по большей части русского изделия. Печей не видно, потому что топка производится снизу; окна — или со стеклами, или с бумагой вместо стекол — всегда очень малы, отчего в комнате довольно темно. Почти каждая комната имеет свой особый вход со двора, а кухня всегда отделена от жилых покоев.

О домашней жизни китайцев нельзя получить в Маймачине настоящего понятия, потому что большая часть жителей живет здесь по-дорожному и холостяками*. А потому, не распространяясь об этом предмете, упомяну только о необыкновенном гостеприимстве, с которым китайцы принимают здесь всякого посещающего их иностранца. Кроме праздников Нового года, когда оно достигает своей апогеи, вас примут чрезвычайно ласково и во всякое другое время, угостят чаем, табаком, китайскими плодами и сластями, и т.д. Как бы ни был занят китаец, он все-таки примет и угостит незваных гостей, хотя бы они пришли к нему из одного любопытства. При всей своей национальной гордости он вежлив с иностранными посетителями и никак не дает им заметить убеждения в своем мнимом превосходстве, но зато и с их стороны он требует, и весьма справедливо, точно такой же вежливости. Если же многие путешественники и жалуются на грубость маймачинских китайцев, то можно предположить почти наверное, что они вызвали

* Говорят, что в Китае есть закон, по которому ни одна женщина не должна переступать через границу империи, даже в Монголию, которая состоит под китайским владычеством.

ее собственной своей невежливостью. Что касается до меня, то я могу жаловаться разве только на излишнюю уже вежливость.

Заключительное примечание. Что эти заметки, писанные во время жестокой перемежающейся лихорадки, кончаются почти тем же, где начались, — это недостаток, или, вернее, достоинство, которое следует приписать не мне, но моему врачу, который почитает нужным, чтобы я впредь до разрешения воздерживался от всякого занятия, напрягающего голову. Иркутск, 10 (22) августа 1848.

Письма

I

Асессору Раббе.
Кяхта, 22 марта (3 апреля) 1848 г.

Вот я снова в пределах Китая, но уже не как перебежчик, а с надлежащим видом от троицесавского таможенного начальника. Дня два бродил я по улицам торгового китайского города Маймачина и глазел то на то, то на сё, а когда мне то надоедало, пользовался приглашением какого-нибудь китайца выпить у него чашу чая, рюмку вина, выкурить трубку табаку и т.д. и сидел гостем то у знатного купця из Пекина, то у варвара из Ханзи, то у многоопытного доктора медицины, то у столяра, кузнеца, башмачника и т.д. Везде встречал я веселые лица и радушный прием. Никто не справлялся ни о чине, ни о доходах моих, я вполне пользовался моими человеческими правами, и в маленьком китайском городке мне было необыкновенно привольно. Если бы дорога была открыта, как охотно прогулялся бы я в Пекин, до которого от южной границы Сибири всего несколько дней езды. Но так как это было решительно невозможно, то и пришлось довольствоваться гостеприимством сибирских бурят. Это, если и уступает в материальном отношении китайскому, все-таки гораздо лучше, нежели я воображал. Чашка кирпичного чаю на молоке, нога жареной баранины, сыр и молоко готовы для всякого в каждой юрте. Можно рассчитывать и на еще лучшее угощение у лам, а ламы встречаются здесь на всех углах и перекрестках. Вычислено, что из селенгинских бурят почти четвертый чело-

век духовного звания. Можно было бы, пожалуй, сказать, что это уж и чересчур много, но пока образованность будет исключительной принадлежностью лам, почти нельзя не пожелать, чтоб и все были духовные. Скверно только то, что в таковом случае монгольское племя могло бы подвергнуться совершенному уничтожению, потому что Сакъямуни положительно воспрещает ламам брачное сожительство. Правда, что, несмотря на это, небо именно бурятских жрецов и благословляет многочисленным потомством, но при теперешних обстоятельствах им нетрудно сваливать вину этого на миряи. Когда же все буддисты сделаются жрецами, как знать, что станется с монголами, бурятами, тибетцами и их единоверцами.

Говоря о бурятских жрецах, не могу умолчать об их учености и сведениях. От хорошего буддистского жреца требуется, чтобы он был как бы дома в Гандджуре, и в Данджуре — двух книгах более чем в 200 томов, в которых излагается богословие, нравственное учение, философия, астрономия и многое другое*. Сверх того, бурятские жрецы имеют еще другие священные книги, преимущественно легенды о святых. У них есть и светские сочинения различного содержания, но любимейшее чтение их составляют исторические рассказы всякого рода, особенно жизнеописания знаменитых государей. В наибольшем ходу тибетские книги, потому что тибетский язык и доселе еще религиозный язык как здесь, так и в Монголии. Каждый лама обязан знать этот язык, а ученейшие, сверх того, и санскритский[143]. К такой многосторонней учености они присоединяют еще теоретические и практические сведения в медицине. Врачебную мудрость черпают они из тибетских источников, а лекарства выписывают из Пекина. Знаменитейшие из этих врачей имеют небольшие клиники, в которых преподают медицину ученикам своим. Как ни недостаточно это преподавание, бурятские врачи пользуются, однако ж, всеобщим доверием и к помощи их прибегают и образованные и необразованные, и русские и туземцы.

В состав образования лам входят, наконец, и некоторые искусства: каллиграфия, рисование и книгопечатание. В каллиграфическом отношении я никогда не видывал ничего

* О Гандджуре смотри весьма интересную статью барона Шилинга фон Канштадта в Bulletin hist. phil. T. IV. № 22, а о Данджуре — там же, №№ 18 и 19, статью «Über die logischen und grammatischen Werke in Tandjur».

прекраснее рукописей здешних лам, некоторые с золотыми и серебряными буквами ценятся в несколько тысяч рублей серебром. В книгопечатании ламы далеко не так искусны, но уже и само существование его в этой варварской земле весьма замечательно. Умение вырезывать деревянные доски, приготовлять краску для печатания и оттискивать вырезанное на досках — обязанность лам. Тем не менее, я полагаю, что напечатанные здесь книги — величайшая редкость.

С этой-то, по-своему образованной, жреческой кастой я намерен сблизиться, насколько это только возможно. Может статься, мне посчастливится найти у лам какую-нибудь драгоценную рукопись, а из разговоров почерпнуть какие-нибудь сведения о древних, темных временах Сибири. Во всяком случае я надеюсь на их пособие в изучении монгольского языка, решительно для меня необходимого.

Отправляясь на этих днях на восток от Кяхты, я думаю сначала ехать вдоль китайской границы и потом свернуть на большую дорогу, ведущую из Иркутска в Нерчинск. Еще не знаю, доеду ли я до Нерчинских рудников, далее же их не поеду. Возложенное на меня Академией поручение теперь буквально исполнено, и я жажду покончить мое семилетнее скитание. Твой друг забайкальский.

P.S. Во время моего пребывания в Забайкальском краю, вероятно, я не получу ни писем, ни посылок, потому что почта задерживается теперь распутицей. Здоровье мое плохо, но я надеюсь, что бурятские жрецы восстановят его своими небесными снадобьями.

II

Статскому советнику Шёгрену.
Главный Нерчинский рудник, 18 (30) мая 1848 г.

Когда в начале марта я отъезжал из Иркутска, то совсем не был намерен оставаться до лета в пограничной забайкальской стране; рассчитывал, напротив, возвратиться через Байкал еще зимним путем. Но вот рассказывают мне в разных местах, что в Селенгинской степи, невдалеке от крепости Харачайской живут десять сойотских племен, надо удостовериться в действительном существовании их. Приехавши в Селенгинск, узнаю, что из этих племен, известных у бурят под об-

щим названием *соис*, быть может, очень немногие происходят от сойотов, теперь же чистейшие буряты. Этим бы я покончил мои дела в Забайкалье, если бы дорогой не проведал, что забайкальская страна в особенности богата курганами и другими остатками древности, которые по данной мне инструкции я обязан был исследовать. Во время пребывания моего в Селенгинской степи мне посчастливилось быть свидетелем драгоценной находки, хозяин которой готов уступить ее Академии за дешевую цену. В надежде добыть что-нибудь для археологии и в то же время расширить мое этнографическое и лингвистическое изучение я решил проехать еще далее на восток, изъездить Забайкалье в различных направлениях.

С этой целью я выехал из Селенгинска в половине марта. Пробыв, благодаря радушному приему китайцев, несколько дней в Кяхте, из нее отправился я в Кударейскую степь, славящуюся множеством каменных холмов и курганов. Мне хотелось разрыть один из них, но вскоре должен был отказаться от этого, потому что земля не оттаяла еще, а у набранных для сей цели бурят не было и самых необходимых орудий. К тому же суеверные буряты боятся курганов, на беду мою, в самом начале работы поднялась страшная непогода, и все они разбежались в разные стороны с такой быстротою, как будто души усопших вышли из могил и преследуют их по пятам.

Проученный неудачей первой попытки, я отложил раскапывание курганов до времени, когда земля немного подтает. Впрочем, за сим они и не вводили уже меня в искушение, потому что по выезде из Кударейской степи они попадались все реже и только весьма незначительные. Как эти, так и другие остатки древности встречаются здесь только в местах привольных, а таковых на моем пути было очень мало. Для того чтобы перебраться на нерчинскую сторону, я должен был ехать из Кударея по северо-восточному направлению до Петровских рудников и от них все далее, до Хоринской степи. Все это пространство — большей частью горы, леса, болота и топкие низменности. Не представляя большой поживы для археологии, оно точно так же бесплодно и в этнографическом отношении, потому населено по преимуществу русскими раскольниками. На всем длинном пути из Кударея до Хоринска я нашел только один благовидный предлог для остановки, и это знаменитый бурятский храм в Ара-

Киретю. Здесь около ста лам приняли меня с церемонией, подобающей, по монгольским религиозным обычаям, только Сакъямуни и другим бурханам. При вести о моем прибытии ламы облачились в свои богатые служебные одежды и, вооружившись различными инструментами, употребляемыми во время буддистского богослужения, выстроились в ряд в храмовой ограде. Лишь только я въехал в ворота, сотни труб и литавр подняли такой страшный гром, что мои полуобъезженные бурятские кони перепугались, сломали повозку, расшибли бы и меня, если б я заблаговременно не выпрыгнул из нее.

По прибытии в Хоринскую степь я остановился в бедней-шей столетней лачуге волостного правления, где едва не лишился жизни от оторвавшегося от потолка железного бруса в полпуда весу, конец которого оцарапал мне висок. После этого memento mori я уложил мои бумаги и отправился вверх по реке Ане в недалекую степь, где английские миссионеры несколько лет тому назад выстроили дом, в котором со времени удаления их если и нельзя было достать ни куска хлеба, по крайней мере не подвергалась никакой опасности жизнь моя. Неподалеке от этого дома находится скала с несколькими весьма выветрившимися надписями, которые, не знаю почему, навели миссионеров на предположение, что на южной стороне скалы зарыты семь котлов с червонцами. Нисколько не рассчитывая на эти котлы, я велел разрыть один из курганов, находящихся под этими надписями, и нашел не семь котлов, но четверть лота самого чистого золота.

Пробыв несколько дней в Агинской степи, я пустился дальше по большой дороге, ведущей к Нерчинским рудникам. Дорога эта довольно беспокойна, потому что идет через леса, горы и болота. Близ истоков Уды степь вдруг превращается в дикую горную страну. Это Яблонный хребет, обнимающий своими гигантскими отрогами большую часть Нерчинской области. Я вступил в эту горную страну в весьма неблагоприятную пору. Накануне еще радовался я чистым, ясным небом, зеленеющим полем, распускающимися цветами и другими предвестниками весны, и вот небо заволоклось черными тучами, забушевал бурный ветер, и через несколько часов земля находилась уже под толстым снежным покровом. Я ехал в открытой телеге, и потому мне страшно хотелось где-нибудь укрыться от непогоды, но, по несчастью, по дороге не было ни

одной деревни, ни даже бурятского улуса. Станции же, кроме страшной ветхости, состояли большей частью из одной комнаты, битком набитой пьяными ямщиками. Как ни неприятна была эта комната, я предпочел ее, однако ж, не меньшей неприятности провести всю ночь под открытым небом.

С рассветом следующего дня я был уже в Чите, бывшей прежде крепостью и ссылочным местом, а теперь простой деревне. Невдалеке от нее течет река Ингада, напоминающая своими островами, скалами и утесами Енисей и его притоки Абакан, Тубу, Сиду и другие. Дорога шла по бесплодным пустыням, по лесистым и безлесным возвышенностям и полям до самой китайской границы. Я часто сворачивал с нее в разные стороны, потому что мне хотелось познакомиться с нерчинскими тунгусами как в этнографическом, так и в лингвистическом отношении, собрать предания их, осмотреть надписи и другие остатки старины. Все это взяло столько времени, что только в половине мая добрался я до главного Нерчинского рудника, где теперь и нахожусь.

Хотя я и не намерен входить в подробности о Нерчинских рудниках, однако ж не могу не сказать несколько слов о сосланных сюда каторжных работниках. Вообще положение их не так дурно, как воображают. Обыкновенный работник получает от казны 2 пуда муки и 1 р. 27 коп. ассигнациями в месяц; столяры же, кузнецы, пильщики, каменщики и другие необходимые при казенных работах мастеровые — такой же паек и по 15 коп. ассигнациями за каждый рабочий день. Этого, конечно, не хватает на все его расходы, потому что ни одежды, ни квартиры от казны он не получает, но прилежный и хороший работник всегда имеет возможность зарабатывать еще на стороне. В этом отношении рудокопам, освобождаемым каждую третью неделю от казенных работ, лучше прочих. Но если принять в соображение нездоровый воздух в рудниках и постоянно грозящую опасность обвала шахт, то им, конечно, гораздо хуже мастеровых; последние хотя по закону и должны работать ежедневно, но им задается на каждый день определенный урок, по окончании которого они могут располагать остальным временем, как им угодно. Всего труднее работы при плавильных печах и при промывании золота, потому что при первых уроки невозможны, а при последних содержание не соответствует труду.

Известно, что по прибытии в Нерчинск преступники освобождаются от оков и получают полную свободу. Единственные оковы — это работа, но прослужившие казне двадцать лет честно освобождаются и от нее и пользуются всеми преимуществами ссыльных. К числу этих преимуществ принадлежит, между прочим, право возделывать землю без платы податей. Сделает каторжный в Нерчинске какое-нибудь довольно важное преступление, его заставляют работать некоторое время в кандалах. Замечательно, что из находящихся здесь финнов я не видел ни одного, закованного в кандалы. Как везде, финны и здесь слывут тихим, кротким и работящим народом, и пьянство — единственный порок, в котором упрекают их. Меня уверяли, что в течение 20 лет ни один финн не был наказан за какое-нибудь важное преступление. Сами финны со слезами на глазах уверяли меня, что они отреклись от своих греховных помыслов, и горько жаловались, что в несчастном положении своем совершенно лишены религиозного утешения. Случается, правда, что через год или через два заедет в Нерчинские рудники протестантский пастор, но и его приезд всегда бесполезен для наших земляков, потому что ни один из этих пасторов не знает ни слова ни по-шведски, ни по-фински. К сожалению, здесь нет также ни библий, ни молитвенников и вообще никаких душеспасительных книг на этих языках. При таких обстоятельствах нельзя не дивиться их нравственной жизни, тем более что нравственность и не пользуется здесь особенным почетом.

Кроме недостатка попечения о душе, горестное положение финских каторжников в Сибири усиливается еще более постоянной тоской по родине. Хотя они во всех отношениях поставлены лучше осужденных на крепостные работы, однако ж я уверен, что всякий финский преступник охотно променял бы Нерчинск на Свеаборг из-за того только, чтобы дышать воздухом своей родины. По собственному признанию преступников, тоска, овладевающая ими вдали от родины, от друзей и родных, все более смягчает их доселе закоснелые души. Эта же самая тоска обыкновенно бывает причиной и ранней смерти финнов в Нерчинских рудниках. Из множества финнов, сосланных в Нерчинск, только один, по имени Экман, пережил двадцатилетний срок каторжной работы. Все прочие частью умерли от тоски, частью бежали на родину и пропали без вести на дальнем пути. Может быть,

непривычный климат и непривычная пища также отчасти содействуют сокращению жизни финских каторжников.

Дорожные хлопоты заставляют меня прекратить на этом мои отрывочные путевые заметки.

III

Статскому советнику Шёгрену.
Чита, 3 (15) июля 1848 г.

От главного Нерчинского рудника идет множество больших и малых дорог в Верхнеудинский округ. Желая как можно лучше изучить во многих отношениях замечательную нерчинскую область, я разъезжал с конца мая по всем этим дорогам между китайской границей и большой почтовой московской дорогой. Я объехал многие из русских форпостов, осмотрел большую часть заводов и рудников и часто останавливался в русских деревнях и тунгусских улусах. В казацкой деревне *Кондуевской* напала на меня лихорадка и продержала в постели целые три недели. Несколько оправившись, 20 июня я пустился снова в путь через Агинскую бурятскую степь, далеко и широко распространяющуюся по обеим сторонам реки *Опон*. В этой степи лихорадка схватила меня опять и еще сильнее, чем в Кондуевской. Во время пароксизмов, возобновлявшихся через день, а иногда и всякой день, я принужден был лежать то под открытым небом, то в бурятском улусе, то в бедной русской лачуге. Как только пароксизм кончался, я спешил далее в надежде найти где-нибудь если не врачебное пособие, то по крайней мере спокойное и удобное помещение. Так тащился я целых шесть дней и наконец в конце июня добрался совершенно изнуренный до деревни Читы на иркутской дороге. Тут, пролежавши несколько дней в постели, я освободился от лихорадки, но силы мои так истощены, что едва ли можно будет выехать отсюда в скором времени.

Несмотря на болезнь, я не оставлял ученых разысканий ни в Кондуевской, ни по дороге в Читу. Главными предметами их были филология, этнография, статистика и топография. Вместе с тем я обращал внимание и на все, что казалось мне достойным внимания в антикварном отношении. Так, например, в Кондуевской я осмотрел несколько древних развалин, которые буряты почитают остатками Чингисханова дворца, хотя

гораздо более вероятия, что это остатки бурятского храма с принадлежащими к нему часовнями. На Агинской степи я разрыл несколько древних курганов, в которых, как обыкновенно, ничего не нашел замечательного. Касательно происхождения этих памятников здесь и во многих других местах есть предание, что они монгольские, и еще другое, приписывающее их киргизам, вследствие чего они и называются Kirgis-ür. Не обращая внимания на эти противоречащие друг другу предания, можно предположить с полнейшей достоверностью, что большая часть здешних курганов — могилы, в коих покоится пепел бурят не буддистского, а шаманского толку. Между прочими доказательствами в пользу этого говорит и тройная каменная ограда курганов, которой буряты до сих пор обносят могилы своих шаманов. В подтверждение бурятского происхождения этих курганов служит и виденное мною золотое украшение, найденное в одном из них: на нем несколько фигур, очевидно, изображающих монгольских бурханов.

Хотя из этого и несомненно, что буряты воздвигали некогда курганы, но в последнее время я открыл несколько фактов, ясно намекающих на то, что в Забайкалье жили и племена тюркского происхождения, или так здесь называемые киргизы, а из этого прямо следует, что и предание, утверждающее, что часть курганов тюркского происхождения, также справедливо. Я не привожу доказательств этого частью по крайней слабости после болезни, частью и потому, что разыскания мои не совсем еще окончены.

Из Иркутска я пришлю к вам все теперь ненужные мне книги и бумаги, равно как и вещи, купленные для Академии.

Настоящее положение моего здоровья не позволяет мне задумывать больших предприятий на будущее время, могу только сказать, что, оправившись, наверное, оставлю тотчас же Восточную Сибирь и переберусь в Омскую область.

IV

Асессору Раббе.
Чита, 3 (15 июля) 1848 г.

Три месяца тщетно ждал я вестей с дорогой родины. Наконец несколько дней тому назад почта привезла мне твои

письма и газеты от января до начала апреля. Меня колотила в это самое время лихорадка, но не успел я прочесть первого письма, извещающего о смерти моей матери, несчастного брата и незаменимого Нервандера, как вдруг меня бросило в жар, пароксизм кончился и затем уже не возвращался. Несмотря, однако ж, на то, я сильно изнемогаю, а медицинского пособия, разумеется, здесь не найдешь. О, если бы я был уже в пределах Финляндии! Мне кажется, что там даже и смерть добрее добрейшего человека в Сибири.

Хвораю я, собственно, с первых чисел мая, лихорадочные же припадки появились позднее. В половине мая ездил в главный Нерчинский рудник, между прочим и для того, чтобы посоветоваться с живущим там польским врачом, но все бесполезно. Сижу спокойно на месте, здоровье мое обыкновенно поправляется, но лишь только протрясусь несколько дней в телеге — показывается лихорадочный жар, которому теперь постоянно предшествует озноб. Кажется, придется пожить несколько времени в Иркутске и полечиться серьезно, но ты адресуй ко мне письма все-таки в Омск. При всем моем горе меня утешает по крайней мере то, что отныне каждый шаг мой будет приближать меня к Финляндии. Сдается, однако ж, что ранее Рождества я не успею оставить за собою 10000 верст, которые по составленному мною маршруту отделяют меня от отечества. Несомненно во всяком случае, что если лихорадочные пароксизмы возвратятся, летним путем я не доберусь далее Омска.

Ты опять пишешь мне, чтобы по возвращении в Финляндию я поселился в Гельзингфорсе и старался приютиться при университете. Я же, с своей стороны, уверен, что мне будет покойно и весело даже в самом отдаленном уголке Финляндии.

Тяжелым камнем лежит у меня на совести, что я, сколько ни собирался, до сих пор не собрался написать несколько строк профессору Тенгстрёму. Часто вспоминаю я об этом достойнейшем человеке и каждый раз скорбею о несчастье, постигшем его на старости лет*. Но высказать ему это у меня не хватает духа. Я боюсь, что участие мое при всей своей искренности покажется неуместным или по крайней мере лишним для человека, испытавшего столько превраг-

* Смерть единственного сына доцента философии Иоанна Роберта Тенгстрёма, умершего в Париже 13 ноября 1847 года на 25-м году от роду.

ностей в жизни. Однако ж все-таки передай ему изъявление искреннейшего моего уважения.

На письмо *Европеуса мне теперь нельзя, да и не хочется* отвечать. В последнем письме я ответил уже ему на все вопросы, которые он снова делает мне. Поклонись ему и всем друзьям от твоего брата забайкальского.

V

Статскому советнику Шёгрену.
Иркутск, 12 (24) августа 1848 г.

Вместо того чтобы представить вам научные результаты моего последнего путешествия, я на этот раз, к сожалению, не могу сообщить ничего лучшего, кроме продолжения истории моей болезни. Избавившись, наконец, от невыносимых лихорадочных *припадков в Чите, я прожил две недели в этой деревне* и только в половине июля пустился в Верхнеудинск. На пути туда я предполагал раскопать несколько курганов, но лишь только я выехал на большую дорогу, как небо покрылось тучами и пошел дождь, который почти беспрерывно продолжался целую неделю. Этот проклятый дождь не только уничтожил все мои планы относительно работ, но и не замедлил вызвать снова припадки моей болезни. Несмотря на то, я и тут продолжал свой путь до Верхнеудинска по Хоринской степи, так же точно, как еще недавно продолжал его по Агинской, потому что мне не хотелось лежать больному в бурятской избе без всякой врачебной помощи. Прибыв в Верхнеудинск, я узнал, к немалому прискорбию, что хотя в этом городе и есть три врача, но нет лекарств. В утешение мне дали благой совет собрать последние силы и дотащиться как-нибудь до Иркутска, где есть и аптека, и врачи. Я послушался и пустился далее. Дорогой лихорадка усилилась, к ней присоединились еще жесточайшие боли в нижней части живота. Почти без сознания добрался я до южного берега Байкала, где меня посадили на пароход и в бурную ночь переправили через озеро. За сим оставалось еще 60 верст до Иркутска, которые я проехал в дрянной мужицкой телеге при невыносимейших страданиях. В Иркутске врач объяснил, что я страдаю кровавым поносом и ежедневной лихорадкой, что, конечно, я очень хорошо знал и без него. Вскоре ко всему этому присоединился

еще скорбут. Положение мое было так скверно, что сначала я почти совсем потерял надежду на выздоровление, но когда бес кровавого поноса покинул меня совершенно, я снова ободрился, и эскулап мой начал уверять, что дней через восемь мне можно будет пуститься и в дальнейший путь.

Слабость моего здоровья не раз наводила меня даже на мысль пробыть осень в Иркутске и ехать в Петербург, когда станет зимний путь. Но всякий раз я бросал эту мысль преимущественно потому, что здесь я не мог найти дельного занятия, а жертвовать своей скудной казной без всякой пользы для науки мне, разумеется, не хотелось. Помоги мне, Господи, добраться только до Омска — там и жизнь дешевле, и занятия найдутся.

Пользуясь короткими свободными от лихорадки промежутками, я написал во время моего пребывания в Иркутске несколько скудных путевых заметок, которых, однако ж, премудрый врач мой не позволил мне докончить. Я полагаю, что для бюллетеня они не будут годиться, и потому прошу вас переслать их в таком случае к асессору Раббе в Гельзингфорс. Со следующей почтой я вышлю на имя Академии 8 тюков под № 39—46 с вещами, принадлежащими частью мне, частью Академии.

VI

Асессору Раббе.
Иркутск, 12 (24) августа 1848 г.

Опять я целые две недели пролежал больной, страдая в одно время ежедневной лихорадкой, кровавым поносом и скорбутом. Разумеется, что здесь, в Иркутске, я не имел недостатка в медицинском пособии, боюсь только, что здешние эскулапы слишком уж усердно потчевали меня опием и что я не скоро отрезвлюсь от произведенного им опьянения. Все члены расслаблены, а голова тяжела и кружится. Чтобы избавить меня от этих припадков, врачи запретили мне все занятия, напрягающие мыслительные способности, и в особенности всякое писательство, а потому будь доволен на этот раз и сим немногим.

При теперешней хвори моей, конечно, всего умнее было бы остаться до зимы в Иркутске, но атмосфера этого города до

того тесна, что я уже давно рвусь отсюда. Мне хотелось бы добраться хоть до Омска, но лихорадка решительно мешает определить что-нибудь заранее. Во всяком случае адресуй попрежнему все письма и посылки в этот город. Там, вероятно, уже лежат несколько пакетов от тебя, потому что последние полученные мною от тебя письма писаны еще в начале апреля. Если бы мне пришлось остаться в Омске до зимы, то во всяком случае о литературных занятиях не может быть и речи, потому что, за исключением начала остяцкой грамматики, все мои книги и бумаги отправляются с нынешней почтой в С.-Петербург. В настоящую минуту у меня только одна цель — возвратиться живым в Финляндию, и этого слишком уже довольно для моих слабых сил, особенно в такое время, когда во всей земле Рюриковой — от Петербурга до Тобольска — свирепствует холера. Неужели «вечный жид» не возвратился еще в Финляндию?

P.S. В прилагаемом извлечении из письма к Шёгрену ты найдешь подробные сведения о моей последней болезни. С этой же почтой посылаю и подробное донесение.

VII

Статскому советнику Шёгрену.
Красноярск, 3 (15) ноября 1848 г.

Печальное происшествие помешало мне писать вам о моих последних приключениях. Как ни ничтожны они сами по себе, зная, однако ж, участие, которое вы во мне принимаете, приступаю к горестному повествованию моих страданий в продолжение последних двух месяцев.

На пути из Иркутска в Красноярск в августе месяце я прибыл однажды поздно вечером в деревню Балай Канского уезда, верстах в 80 от Красноярска. В этой деревне я решился переночевать не столько ради отдыха, сколько потому, что ожидал пароксизма лихорадки, которая с самого отъезда из Иркутска посещала меня аккуратно через день. Против всякого ожидания, пароксизма на этот раз не было, и я лег спать в приятной надежде, что на следующий день мне можно будет продолжать свой путь в Красноярск, приняв, однако ж, на всякий случай из предосторожности, чтоб пароксизм не развился ночью, лекарство, прописанное мне знаменитым вра-

чом в Иркутске. Как ни было невинно это лекарство, но оно всякий раз возбуждало кашель и боль в груди, а потому я и перестал принимать его, но в Балае мне вздумалось прибегнуть к нему снова и еще в последний раз. Как прежде, так и теперь поднялся тотчас же невыносимый кашель, но на этот раз вместе с тем хлынула еще горлом кровь, да так сильно, что и я сам, и все окружавшие меня думали, что пришел последний час мой. Так как мне было известно, что в подобных случаях помогает кровопускание, то я напряг все свои силы, чтобы как-нибудь отворить себе кровь, но никак не мог. Видя, что бесплодные мои усилия только увеличивают кровохарканье, я вверил свою судьбу провидению, а между тем старшина деревни послал без моего ведома в Красноярск рапорт о случившемся со мной и просил тамошнего губернатора о немедленном доставлении медицинского пособия.

В продолжение ночи приступ кровохарканья повторился, и с такой же силой. После этого я впал в глубокий сон, который продолжался 20 часов сряду и, по всей вероятности, продолжался бы еще долее, если бы не был прерван прибытием членов волостного правления. Их было пятеро под предводительством писаря, который прочел мне данный от волости приказ, уполномочивавший их описать все мое имущество и вскрыть мое тело. Для вящего вразумления приказ это был прочтен мне троекратно, а уполномоченные поглядывали, между тем, с величайшей нежностью на мои часы и другие лежавшие на виду вещи. Когда наконец голос писаря умолк, члены правления объявили мне, что они тотчас же приступят к составлению описи. Вскрытие тела отложили, разумеется, до моей кончины, а если бы, вопреки всякому вероятию, она в течение 24 часов не последовала, располагали возвратиться в волость, поручив наблюдение за моим телом старшине. Мне казалось, что тот же старшина мог бы принять на себя попечение и об остающемся после меня имуществе, но члены суда никак не хотели отказаться от этого дела, вероятно, потому, что оно обещало им более выгоды.

Пока шли еще толки об этом, явилась другая депутация, но уже без всякого приказал. Во главе ее был человек преклонных лет, который тотчас же пустился в красноречивые рассуждения о смертности человека, о бренности всего земного и всячески старался склонить меня, чтобы я по-

слал за священником и покаялся ему в грехах своих. Между прочим, он намекнул мне и на то, что умирающие обыкновенно отказывают в подобных случаях церкви и ее служителям коров и другие более или менее ценные вещи.

Не успел *этот* оратор кончить своей речи, как раздался звон курьерского колокольчика и стук подъехавшего к крыльцу тарантаса. Вслед за тем в избу вошли три человека, из которых один рекомендовался мне как врач, другой — как фельдшер, а третий — как исправляющий должность исправника. Красноярский губернатор прислал их в Балай для того, чтобы они приняли меня на свое попечение. Врач, который в настоящем случае был главным лицом, тотчас же велел пустить мне кровь и прописал разные лекарства для внутреннего и наружного употребления; не мог, однако ж, предотвратить нового кровотечения, показавшегося в третий раз в тот же день и в обычный час лихорадочных пароксизмов. Пустили еще кровь, и в этот раз с успехом, потому что *горловое кровотечение остановилось тотчас же.*

В течение следующих двух дней меня перевезли в Красноярск без всяких новых бед и приключений. По прибытии в город врачу моему посчастливилось предотвратить сильнейшее развитие болезни, но кровохарканье все еще продолжалось, и скоро снова появились лихорадочные пароксизмы, которые прекратились было на некоторое время. Две недели лечили меня от обеих болезней — лихорадки и кровохарканья — и затем до последнего времени строжайше воспрещали всякое движение и занятие, потому что я все-таки постоянно чувствовал легкую боль в груди. Боль эта, как полагают, по крайней мере отчасти, геморроидального происхождения. Некоторые из здешних врачей даже такого мнения, что болезнь, которой я страдал в Иркутске и от которой меня лечили опием, как от кровавого поноса, была не что иное, как геморрой, и что этот геморрой, насильственно остановленный, бросился на грудь и вместе с лихорадкой, тряской по дурным дорогам и проч. был главной причиной обнаружившегося у меня кашля с кровохарканьем.

Верна или не верна эта геморроидальная теория, во всяком случае несомненно то, что мое настоящее состояние заставляет меня сильно призадумываться. Пуще всего страшит меня предстоящий мне в скором времени дальний путь — я разумею путешествие в С.-Петербург, которое, если не остановят новые

припадки болезни, думаю начать по первому зимнему пути, т.е. в начале декабря месяца. Легко может быть, что хворь моя задержит меня в Красноярске и долее. Во всяком случае раньше весны я никак не доберусь до С.-Петербурга.

Слабость не позволяет мне вдаваться в подробности о моей последней болезни и других сопряженных с нею обстоятельствах. Спешу изъявить вам глубочайшую благодарность за письмо ваше от 20 сентября, доставленное мне вчерашний день. Вместе с ним я получил и статью г. Кёппена об этнографических отношениях Финляндии, на которую предполагаю сообщить кой-какие замечания, и именно насчет так называемых Квенов (Quenen), теперь же должен ограничиться покорнейшей просьбой, чтобы вы приняли на себя труд поблагодарить его от меня за присылку этой статьи. С особенным удовольствием прочел я и известие об исправном прибытии отправленных мною в Иркутск посылок. На днях отправлю отсюда еще две небольшие посылки под №№ 50 и 51.

P.S. Наконец я получил и манджурскую грамматику Габеленца. Отныне мой адрес — в Екатеринбург.

VIII

Асессору Раббе.
Красноярск, 3 (15) ноября 1848 г.

Из прилагаемого письма к Шёгрену ты можешь приблизительно видеть, в каком положении находится твой забайкальский друг. В Красноярске уверяют, что я пью и что моя болезнь происходит от нетрезвой жизни, но ты достаточно знаешь, что это клевета. Во все четыре или пять лет, которые я прожил в Сибири, я выпил несколько рюмок вина и никогда даже не отведывал никаких водок, и потому хоть я и не Мовитс*, обо мне все-таки можно сказать: «чахотка, чахотка сведет тебя в могилу». Я очень желал бы, чтобы усталые кости мои легли на вечный отдых в дорогом отечестве, но кто знает, что еще может случиться на долгом и трудном обратном пути.

Я еще не прощаюсь с тобой навеки, но если бы, сверх чаяния, со мною случилось что-нибудь неожиданное, то будь так добр и окажи мне последнюю дружескую услугу — прими на свое попечение все, что после меня останется. Большую

* Mowits — лицо, известное из песен Бельльмана.

часть я уже отправил в С.-Петербург на сохранение частью к Шёгрену, частью к пастору Сирену. В моем чемодане осталось только несколько книг и рукописей, восемь соболей, множество аквамаринов и других камней, разные золотые и медные древности, часы, серебряная табакерка, енотовая шуба, несколько сот рублей серебром и т.д. Кроме того, есть еще мои деньги у пастора Сирена, но сколько именно — не знаю. Я желал бы, чтобы все остающееся после меня имущество было предоставлено в виде пособия тому, кто возьмет на себя труд съездить к самоедам, изучить их язык, нравы, религию и проч. и потом издать мои труды, которые в настоящем своем виде не могут быть напечатаны. Мою остяцкую грамматику мог бы обработать Бергстади, не предпринимая для этого особого путешествия. Материалами же, собранными мною по части языков тюркского, монгольского, манджурского и т.д., Академия может распорядиться по своему благоусмотрению.

Хотя все это и смахивает несколько на духовное завещание, ты не воображай, однако ж, чтобы я уже совершенно отчаивался в земном своем существовании. Напротив, я в полной надежде, что здоровье мое поправится и что я увижу солнце любезной родины. Итак, до свидания!

Твой друг М.А. К-н.

P.S. Увлекшись своими фантазиями, чуть было не забыл поблагодарить тебя за твои письма, которые после многих странствований наконец дошли до меня здесь, в Красноярске. Последнее, кажется, от 19 сентября. Впредь советую тебе адресовать свои письма в г. Екатеринбург. Надеюсь, что ты пришлешь мне календарь на будущий год и, кроме того, речь Цигнеуса о Нервандере. Если Бергстади в Гельзингфорсе, то извини меня, что я до сих пор не могу ответить на его письмо, я получил его только в конце октября. Да, кстати, попроси, чтоб он писал ко мне, если это не будет ему в тягость.

IX

Асессору Раббе.
Омск, 2 (14) декабря 1848 г.

Несколько часов тому назад я прибыл в Омск и, так как через несколько часов оставляю его, чтобы ехать далее, то и

могу написать тебе на этот раз не более семи слов, да и те, к сожалению, будут не так утешительны, как бы я желал. Хотя кровохарканье и прекратилось уже давно, но в левом легком так горит, так клокочет и хрипит, что я серьезно начинаю опасаться нового кровавого извержения. Поэтому я путешествую с ланцетом в кармане, с парой фонтанелей на руках и с поляком-слугой, заменяющим отчасти фельдшера. А так как дорога идет все по безлюдным степям, заболеть на которых положительно страшно, то я и мчусь по ним со всевозможной быстротой, проезжаю от 250 до 300 верст в сутки и останавливаюсь только для того, чтобы выпить стакан чаю или бульону, который для сбережения времени приготовляется на спирту. Таким образом, из Красноярска я добрался в двенадцать дней до Омска. Конец этого пути — от Томска до Омска, составляющий около 1000 верст, — я сделал в трое суток с половиной. Почти во столько же времени надеюсь я поспеть и в Екатеринбург, до которого отсюда считается также около 1000 верст. В этом городе я, наконец, отдохну недели две, точно так же и в Казани, и в Москве. Следовательно, даже при самых благоприятных обстоятельствах я не могу быть в С.-Петербурге ранее последних чисел февраля. Останусь ли я там или возвращусь в Гельзингфорс — этого покуда я еще и сам не решил себе.

Прибыв в Омск, я подъехал прямо к почтамту и тотчас же получил твое письмо от 31 октября с приятным известием.

В Томске я встретился с земляком Иоанном Нордквистом из Улеаборга. Он был отличный малый и один из моих старых школьных товарищей. Теперь он часовщик и живет очень хорошо. Здесь, в Омске, я познакомился с другим превосходным финном, бароном Адольфом Зильфергельмом, братом иркутского. Говорят, что здесь есть еще финн, какой-то офицер Маттен. Я спешу посетить этих господ и потому заключаю свои семь слов извещением, что на будущее время не могу сказать тебе никакого адреса, а потому ты лучше уж и не пиши ко мне более или посылай свои письма в Петербург, и за тем желаю тебе провести праздник Рождества как можно веселее.

Твой брат барабинский.

P.S. Против чаяния я должен был прожить в Омске днем долее, нежели предполагал. Причиной этого промедления было необыкновенное радушие, с которым меня при-

няли барон Адольф Зильфергельм и его жена, очаровательная полька. Наконец сегодня я отправляюсь в путь, но не через Екатеринбург, а, вероятно, через Петропавловск, Златоуст и Уфу в Казань. Эта дорога хотя несколько подлиннее, но зато гораздо приятнее и дешевле дороги на Екатеринбург. Теперь отправлюсь к барону Зильфергельму, который обещал приготовить мне маршрут и пригласил меня на прощальный обед. Этим я должен заключить свое письмо, писанное в Барабинской степи в городе Омске, лета 1848, декабря 3 (15) дня.

X

Статскому советнику Шёгрену
Уфа, 24 декабря 1848 (2 января 1849) г.

Несколько дней тому назад я прибыл в Уфу с больной грудью и нестерпимой болью в желудке. Я тотчас же послал за врачом, и ему удалось уничтожить желудочную боль, но, как кажется, на счет груди, которая теперь опять в таком жалком положении, что я по временам отхаркиваю мокроту, смешанную с кровью. В таком положении всего благоразумнее было бы, конечно, остаться здесь и дать легким успокоиться, но, к сожалению, врачи здесь так ненадежны, что я не решаюсь ввериться им и принужден, если это только будет возможно, продолжать путь до Казани, где, надеюсь, не будет недостатка в рациональном медицинском пособии. Впрочем, само собой разумеется, что я не могу и подумать тронуться с места, пока будет показываться кровь в мокроте.

Из Красноярска я выехал раньше, чем предполагал, и так неожиданно, что не мог даже уведомить вас об этом. В Омске, отъезжая оттуда, я оставил у своего хозяина несколько писем, и в том числе одно, адресованное к вам. Из Златоуста я опять хотел написать вам несколько строк, но холерическая боль в желудке, которая и здесь еще продолжала меня мучить, помешала мне исполнить это намерение. При всем моем несчастии я должен считать за счастье, что эта боль не превратилась в настоящую холеру, потому что в Златоусте эта эпидемия все еще свирепствовала, хотя уже и не так жестоко, как прежде. В последнем письме своем, если оно только дошло до вас, я выразил надежду отыскать

в Петропавловске священника Вологодского. К сожалению, он уже умер чахоткой, а семейство его, как мне сказали, выехало оттуда, и неизвестно куда. Об остяцком словаре я ни от кого не мог добиться положительных сведений. Может быть, стоило бы того, чтобы Академия сделала запрос Тобольскому архиерею относительно этого редкого труда.

Так как по болезненному состоянию я не могу собственноручно приветствовать пастора Сирена и выразить ему мою благодарность за радушное предложение его — приютить меня в своем доме по возвращении моем в С.-Петербург, то позволяю себе покорнейше просить вас принять этот труд на себя.

Донесение в Императорскую Академию наук

Возвратившись из четырехлетнего путешествия по Сибири, совершенного на счет Императорской Академии наук, я почитаю первым долгом предоставить в Академию краткий отчет как о самом путешествии, так и о важнейших результатах его. Кстати, упомяну мимоходом и о путешествии, предшествовавшем этому, которое хотя и сделано мною несколько не по поручению Академии, находится, однако ж, в весьма близкой связи с последним. О других же, еще раннейших поездках, которые я предпринимал частью на собственный счет, частью на счет финского литературного общества, скажу только, что летом 1838 года я ездил в финскую пограничную Лапонию для исследования сродства языков финского и лапонского[144].

С этой же целью в 1841 году предпринял я вместе с доктором Лёнротом новое путешествие, и в этот раз не ограничился финской Лапонией, но объехал часть норвежской и русской. Во время этого путешествия я получил от г. статского советника Шёгрена приглашение принять участие в экспедиции, которую в то время снаряжала Императорская Академия наук в Сибирь. Г. Шёгрен писал, что в случае согласия на меня возложится главнейшим образом сколько возможно точнейшее изучение живущих в Сибири самоедов в лингвистическом и этнографическом отношениях. Важность этого изучения была сознана уже и в Финляндии: *еще в 1838 году мы с Лёнротом располагали пробраться и к*

ближайшим к нам европейским самоедам, но должны были оставить это намерение по недостатку средств и по другим неблагоприятным обстоятельствам. Понятно после этого, с каким удовольствием принял я во время второго моего путешествия в 1841 году предложение г. Шёгрена, столь неожиданно открывшее мне обширное поприще, на котором я мог предаться своим любимым занятиям. Но мне хотелось достойным образом оправдать лестное для меня доверие, и потому я просил отсрочить поездку в Сибирь, дать мне время познакомиться прежде как следует с языком и с этнографией европейских самоедов и тем облегчить дальнейшее изучение их в Сибири. Г. Шёгрен по своей благосклонности выхлопотал мне отсрочку, а средства на проезд к европейским самоедам я получил из финляндского казначейства.

За сим осенью 1842 года я выехал из Архангельска и направил путь мой в Мезень. Отсюда я постоянно ехал на север по тундрам канинских самоедов. Доехав до Канина-Носа, я повернул на восток к тиманским самоедам и продолжал свое странствование берегом Ледовитого моря до устья Печоры. Отсюда я думал ехать дальше по Большеземельской тундре в Колву, но туземцы единогласно уверяли меня, что этот путь решительно невозможен, потому что санная езда, благодаря наступающей весне, вскоре прекратится, да и самоеды собираются уже оставить тундры. Вследствие этого я повернул к югу и вверх по Печоре пробрался в Устьцыльмск и в Ижемск, где всю весну занимался зырянским языком. Как только прошел лед и открылись водные сообщения, я поехал дальше. Небольшое рыбачье судно, шедшее из Ижмы вверх по Печоре в Усу, перевезло меня в село Колву, находящееся на Большеземельской тундре и населенное зырянами и самоедами. Тут целое лето 1843 года изучал я самоедов и только 4 (16) сентября сел снова на лодью и поплыл с несколькими зырянскими крестьянами вверх по Усе до ее истоков, близ коих в ожидании зимнего пути мы поселились в небольшой рыбачьей лачуге. Это несносное во всех отношениях ожидание продолжалось целый месяц. Мы тронулись не раньше последних чисел октября, и лишь в ноябре я приехал в небольшое торговое местечко Обдорск, находящееся уже в пределах Сибири. Отсюда-то и должно было начаться мое путешествие по поручению Академии. Из Обдорска я

должен был ехать вдоль берегов Ледовитого моря до устья Енисея, но, по несчастью, все, что я доселе вынес в дороге, до того расстроило мое здоровье, что мне невозможно было и думать о таком многотрудном путешествии, и в январе 1844 года я свернул в Березов за врачебной помощью. Там один искусный врач посоветовал мне оставить на некоторое время холодные тундры и всякие ученые занятия. Вследствие этого совета весной 1844 года я выехал из Сибири и через Тобольск, Верхотурье, Соликамск, Великий Устюг и Петрозаводск возвратился в Финляндию.

На родине я начал лечиться и был так счастлив, что через полгода врачи дозволили мне отправиться снова в Сибирь. В начале 1845 года я явился в С.-Петербург и, получив от Академии полную инструкцию, поехал в Казань. Здесь в ожидании летнего пути я занимался черемисским языком и, выехав в первых числах мая, в конце его был уже в Тобольской губернии, где должны были начаться возложенные на меня Академией занятия. По инструкции настоящим их предметом должно было быть самоедское племя, но так как самоеды в разных частях Сибири смешиваются с остяками, то для точнейшего различения их я счел необходимым заняться также и остяцким языком и этнографией их. Для этого я провел все лето 1845 года в остяцкой области по Оби и Иртышу. К осени я перебрался вверх по Оби в Нарымский округ Томской губернии и занялся изучением живущего здесь самоедского племени, которому прежде несправедливо приписывали остяцкое происхождение. Это изучение взяло у меня всю осень и всю зиму. Весной 1846 года я перенес свою деятельность в речную область Енисея, продолжая пока изучение вышеупомянутого самоедского племени, многочисленные ветви которого встречаются здесь в разных местах, особенно в Туруханском крае. Покончив эти занятия, я отправился летом 1846 года к самоедским племенам, живущим по нижнему течению Енисея и принадлежащим к двум большим племенам: к западно-самоедскому, или юракскому, и к восточно-самоедскому, или тавги. Так как первое было тщательно изучено мною еще прежде, то я и мог заняться почти исключительно одним только племенем тавги. Занятие это взяло, однако ж, у меня все время от конца июля 1846 до начала января 1847 года, проведенное мною в полярной стране в зимовьях Плахиной, Хантайке, Дудинке,

Толстом Носе и др. За сим я снова отправился на юг к енисейским остякам и изучал их в течение всей остальной зимы. Весной 1847 года я был уже в Минусинском округе и занимался тут изучением разных уже отатарившихся остяцких и самоедских племен. В то же время шли своим чередом и археологические исследования: я раскапывал курганы, срисовывал надписи, собирал всякого рода старинные вещи и проч. Летом я перебрался через Саянские горы в Монголию и нашел там отатарившиеся племена как остяков, так и самоедов в особенности. Осенью я переехал из Минусинских степей в Канскую область, где почти все остальное время 1847 года изучал татар, коттов и самоедов (камассинцев). Зимой 1848 года сначала я жил в Нижнеудинске у карагасов, потом посетил тункинских самоедов и к весне перебрался за Байкал. Тут, в Селенгинской уже степи, исчезли все следы самоедов, и по инструкции я мог бы закончить свои странствования, но так как Забайкалье представляло много интересного как в археологическом, так и в этнографическом отношениях, то я и решился проехать до Нерчинска, откуда прошлым летом я начал, наконец, свое возвратное путешествие, так затянувшееся разными развивавшимися в дороге болезнями.

Обозначив, таким образом, с возможной краткостью направление моих почти восемь лет продолжавшихся странствований, постараюсь с такой же краткостью изложить и результаты их, хотя они и состоят во множестве не приведенных еще в порядок материалов. Но если какие-нибудь внешние препятствия не помешают, я непременно представлю на рассмотрение Академии одно за другим несколько сочинений преимущественно этнографического и лингвистического содержания. А так как, согласно инструкции, я занимался в то же время и историей, и мифологией, и археологией, и статистикой, и топографией, то и по этим частям надеюсь принести свою лепту науке. Я повсюду собирал и тщательно записывал песни, сказания и устные предания. Собирал также и древние исторические документы, но о достоинстве их до сих пор еще ничего не могу сказать решительного. То же должен заметить и о собранных мною древностях, рукописях, этнографических предметах всякого рода и *т.п.*

Самым важным для науки материалом я почитаю мои лингвистические заметки о самоедском языке. Язык этот, как

обозначено и в отдельных моих отчетах, распадается на три главных наречия: 1) северо-западное, или юракско-самоедское, 2) северо-восточное, или тавги-самоедское и 3) южное, или остяцко-самоедское. Каждое из них в свою очередь представляет большее или меньшее число разностей или оттенков. Так, к юракско-самоедскому можно причислить следующие пять диалектных оттенков: 1) канинский и тиманский, 2) ижемский, 3) большеземельский и обдорский, 4) кондинский, или казымский, 5) юракский. Наречие тавги-самоедское имеет также пять оттенков: 1) авамский, 2) хантайский, 3) карасинский, 4) байский, 5) камассинский. Наконец, остяцко-самоедское наречие имеет два оттенка: томский и туруханский, которые в свою очередь заключают в себе много еще меньших оттенков (см. мои отчеты). О всех этих наречиях и их различных разновидностях скопилось у меня множество весьма важных, но еще и не приведенных в порядок заметок. Я предполагаю составить для каждого из этих трех главных наречий особую грамматику, более или менее полный словарь и, сверх того, по крайней мере для юракско-самоедского, краткую хрестоматию. Может быть, понадобится составить особую этимологию со словарем и для камассинского диалектного оттенка, значительно уклоняющегося от прочих восточно-самоедских. Остальные же не требуют особой обработки, их можно будет коснуться в сочинениях о главных наречиях.

Из языков, которые, кроме самоедского, занимали меня во время путешествия, первое место принадлежит финскому. О нем написано и представлено уже мною несколько небольших сочинений, а именно: зырянская и черемисская грамматика с рассуждением о влиянии акцента в лапонском языке, не говоря о диссертации «De affinitate declinationum in lingua Fennica, Esthonica et Lapponica», вышедшей еще в 1839 году после моего первого путешествия по Лапонии. Для лапонского языка у меня есть еще много не приведенных в порядок заметок относительно системы гласных, различия наречий и т.д. Касательно же финского, в особенности богат я заметками об угро-остяцком языке. Этот язык распадается также на три главных наречия, из коих одно господствует по Иртышу, другое по Верхней, а третье — по Нижней Оби. Я изучал, впрочем, только два первых и некоторые из оттенков их; третьим же не имел случая заняться, да и почитал ненужным, потому что г. Регу-

ли жил между обдорскими остяками довольно долго и занимался языком их. Мои заметки об угро-остяцком наречии уже обработаны — я составил по ним этимологию и словарь.

Под именем остяков живет и на берегах Енисея племя, состоящее из нескольких сот душ. По языку оно не обнаруживает, однако ж, близкого сродства ни с угорскими остяками, ни с остяцко-самоедским племенем и еще менее с другими известными народами Сибири.

По данной мне инструкции я занялся языком и этого племени, насколько позволяли мне время и силы мои. Равным образом обратил я внимание и на коттское наречие, которое имеет сродство с енисейско-остяцким и которым в настоящее время говорят только несколько семейств*. Хотя моими заметками об этих наречиях я и не удовлетворен вполне, полагаю, однако ж, достаточными для составления этимологии и словаря обоих наречий.

Разыскания о происхождении самоедов и енисейских остяков завели меня в область языков тюркского и монгольского. У древнейших писателей упоминается, что по верхнему течению Енисея и по притокам его: Абакану, Тубе, Кану, Мане и прочим — рассеяны самоедские племена под именами койбалов, маторов, аринов, асанов, камассинцев, карагасов, сойотов и т.д. А так как это показание г. Степанов опровергал решительно, то Академия и поручила мне добраться до истины и порешить этот спорный вопрос окончательно. По моим разысканиям оказалось, что старинное показание, хотя во многом неопределенное, неполное и запутанное, в сущности верно. Но, чтобы добраться до этого результата, я должен был приобрести сведения в тюркском и монгольском языках, ибо народы, о коих шел спор, почти все приняли эти языки, удержав, впрочем, некоторые идиотизмы и особенности языков остяцкого и самоедского. В мои занятия тюркским и монгольским наречиями входили несколько различных наречий, которыми говорили эти народцы остяцкого и самоедского происхождения. Заметок о тюркском, или татарском, наречии у меня набралось столько, что со временем я надеюсь составить татарскую грамматику с хрестоматией и словарем. Почти

* В последнее время котты, как настоящие, так и обрусевшие, соединились в одно небольшое поселение на реке Агул, как будто для того, чтоб воскресить древний язык свой.

столько же собрано мною и для наречий монгольского и бурятского.

Говоря о филологических собраниях своих, упомяну еще, что и для тунгусского языка я собрал достаточно материалов для этимологии и словаря по нерчинскому наречию. Нет никакого сомнения, что это наречие несколько обурятилось уже, но так как язык тунгусов, кочующих по Сибири, доселе совершенно неизвестен еще, то все-таки труды мои хоть чем-нибудь да будут полезны.

Но богатейшее из всех моих собраний материалов, как в филологическом, так и в этнографическом отношении, касается самоедов. Я проследил это племя на всем его протяжении — от Алтая на юге до Ледовитого моря на севере и от Енисея на востоке до Белого моря на западе — и предполагаю выдать полное этнографическое описание его или вдруг, или постепенно, выпусками. Но за эту работу я могу приняться только за тем, как приведу в некоторый порядок мои лингвистические заметки.

Хотелось бы также выдать этнографическое описание и енисейских остяков, и родственных им коттов. В это описание могло бы войти кое-что и об аринах, асанах, койбалах, сойотах и о других отатарившихся ветвях того же дерева. Угорских же остяков я описал бы отдельно. Из прочих сибирских народов особенно занимали меня минусинские татары как нравами и обычаями, так и религиозными их понятиями. Этнографическое описание их — также одно из моих предположений, оно кажется мне необходимым, потому что минусинские татары значительно отличаются от остальных сибирских соплеменников своих. Собрал я этнографические сведения и о бурятах, и о тунгусах, но эти сведения так отрывочны, что могут быть употреблены только как приложения к другим, более полным трудам.

Песни и сказки собирал я преимущественно между самоедами и минусинскими татарами. Они записаны частью на их языке, частью в переводе. Первые я предполагаю приложить к задуманным грамматикам и, сверх того, издать в переводе целое отдельное собрание самоедских, татарских и бурятских песен и сказаний.

По части археологии я обращал внимание главнейшим образом на многочисленные могилы и надписи Минусинс-

кого округа. Исследовал, но в меньшем объеме, и находящиеся по ту сторону Байкала. Не хочу хвалиться заранее, но мне кажется, что я почти наверное определил происхождение большей части этих остатков древности и что этим мне удастся несколько рассеять глубокий мрак, покрывающий старину Южной Сибири.

Не говоря о собранных мною мифологических, исторических, статистических и топографических материалах, которых не успел еще также привести в порядок, упомяну еще о том, что я постоянно имел в виду этнографический музей Академии и старался обогатить его всем, что открывал в курганах, и разными другими древностями, одеждами различных народов, их орудиями, утварью и проч. Из этих предметов у меня осталось еще кое-что, и если Академия пожелает, я готов уступить ей эти вещи. Точно так же Академия может располагать и несколькими добытыми мною в бурятских степях монгольскими рукописями, если только их нет в азиатском музее.

Этим и заключаю краткий отчет о моей деятельности в продолжение путешествия на счет Академии. Покажутся кому-нибудь результаты этой деятельности слишком незначительными, попрошу строгого судью припомнить, что я обрабатывал трудное и неблагодарное поле, что и те плоды, которые удалось собрать, стоили и здоровья, и лучших жизненных сил моих. Как бы то ни было, я вполне уверен, что по крайней мере в моем честном усердии всякий убедится и сам, когда, приведши в порядок и обработав, мне удастся издать мало-помалу все мои более или менее богатые собрания.

С.-Петербург, 8 (20) февраля 1849.
Александр Кастрен.

Приложение

Енисей в своем течении от Енисейска до Ледовитого моря

Енисей* от г. Енисейска до Ледовитого моря протекает около 200 верст, изменяясь на этом протяжении весьма разнообразно. В начале течения он очень быстр, но без водопадов, без опасных скал, или шхер, хотя дно реки, как говорят, весьма неровно и каменисто. Имея почти везде одинаковую ширину, при низкой летней воде от одной до двух верст, весной он разливается версты на четыре и более. От устья Ангары, или Верхней Тунгуски, до устья Сыма он течет в северо-западном направлении, не образуя ни одного значительного острова или рукава**. Левый берег реки очень низок, глинист и представляет болота, луга и густые лиственные леса. Эту сторону русские около Енисейска называют *польскою* (от слова поле), дальше вниз — *наволочною* (от слова наволок — низменная коса), а еще ближе к устью — *юракскою*, т.е. стороной, обитаемой юраками. Правая сторона везде известна под названием *каменной*, т.е. гористой; она очень бесплодна и покрыта преимущественно хвойными лесами: елью, сосной, кедром, лиственницей и так называемой пихтой (Abies picea) и т.п. С этой стороны вдоль Енисея тянется цепь гор, которая то подходит к самой реке, то отдаляется от нее на 2—6 верст, то совершенно исчезает из виду, как близ г. Енисейска, ниже деревни Анциферовой и т.д. Горы эти невысоки, похожи более на ряд возвышенностей, и русские называют их обыкновенно хребтом, но основание их каменисто, и местами твер-

* Енисейские остяки называют его *Пик* или *Кик*, тунгусы — *Ioandesi*, катско-пумпокольские самоеды — *Njandesi*, туруханские — *Kold*, тазовские — *Njakal-kold*.

** На пути из Енисейска в Усть-Сым я заметил только 12 островов, из которых два, самые большие, говорят, имеют до 8 верст в длину, остальные же не более 1—3 верст.

дые горно-каменистые породы. В полую воду Енисей ограничивается с обеих сторон крутым берегом, так называемым *яром*; по обытии же весенних вод оба берега представляют далеко простирающиеся скаты, усеянные частью мелким камнем, частью большими валунами, известными у русских над названием «*кор*». Песчаные берега встречаются часто только по нижнему течению реки. Как правый, так и левый берег заселены русскими и остяками, но на пространстве, о котором теперь идет речь, оба упомянутых народа занимают преимущественно левую сторону, на правой же живут более тунгусы.

При устье Сыма Енисей делает довольно крутой поворот на восток и сохраняет это направление до устья Подкаменной Тунгуски. В этой части своего течения, в нескольких верстах ниже устья *Дубчеса* или при устье *Тогдеы*, он расширяется в довольно значительный залив — первый ниже Енисейска. При деревне *Вотиной* он несколько снова суживается и затем между деревнями Вороговой и Осиновой расширяется опять в гораздо еще больший залив, который, как говорят, в некоторых местах имеет до десяти верст ширины. Бесчисленные острова, косы и бухты этого залива представляют весьма живописный вид. Горы по-прежнему тянутся по правой стороне реки, но вскоре и на левой показывается цепь довольно значительных возвышенностей, идущих к Енисею по направлению речки Кахеловой и потому называемых Кахеловой горой. Хребты эти тянутся по обеим сторонам Енисея в дугообразном направлении и сходятся наконец так близко, что издали и не видно узкой горной теснины, ведущей из прекрасного, подобного озеру залива. Проход этот с обеих сторон сжат исполинскими скалистыми стенами, между которыми вода прорывается пенящимися круговоротами, не образуя, однако ж, настоящего водопада. Тотчас за этой теснином Енисей принимает в себя огромный приток — Подкаменную Тунгуску, сворачивает на северо-запад и течет незначительными изгибами до устья Елогуя. На этом пространстве быстрота его начинает уменьшаться, он образует глубокие заливы шириной от 2—4 верст, разделяемые выдающимися косами и мысами. Берега с обеих сторон высоки, песчаны, местами голы, но большей частью покрыты хвойным лесом. Цепь гор, видневшаяся прежде на левой стороне, оканчивается мысом при деревне Сумароковой, после

чего эта сторона принимает опять свой низменный, глинистый, болотный характер. По обеим сторонам все еще видны, однако ж, каменистые берега, а при деревне Козьминой есть мыс, который по каменистому свойству своему называется *Каменным мысом*. При этой же деревне я заметил остров, имеющий, как говорят, 8 верст длины; другой — в 10 верст длины — находится при деревне Бородиной. Впрочем, острова и на этом протяжении малочисленны и незначительны. Ниже деревни Сумароковой начинаются так называемые зимовья, которые до Туруханска, за немногим исключением, расположены по правой стороне реки.

За устьем Елогуя Енисей поворачивает на с.-з. и продолжает течь в этом направлении с некоторыми небольшими изгибами до Ледовитого моря. В начале этого длинного пути Енисей сохраняет свой прежний характер, только что направление его прямее и заливы сменяются не так часто, как прежде. Число и величина островов становятся значительны. На левой стороне реки, за исключением хребта при Долгом острове, видны только низкие наволоки (косы); на правой же часто возвышаются весьма крутые мысы. Около 12 верст выше зимовья Мирсединка совершенно неожиданно начинается крутая скалистая стена, которая тянется почти непрерывно по правому берегу еще верст на 10 ниже помянутой деревни до места, находящегося против устья Нижней Тунгуски. Приняв в себя эту реку, Енисей расширяется весьма значительным заливом, но скоро опять суживается и потом течет несколько сот верст, изменяясь в ширине от 2—4 и от 5—6 верст. При зимовье Луэино он расширяется на 7 верст, при Самыловой — на 8, а при Верхне-Крестовой — на 10 верст. Ниже Крестовой Енисей разделяется на несколько рукавов, которые все вместе при Селякиной занимают 20, а при Толстом Носе — 35 верст. Чем более расширяется река, тем тише становится ее течение, и ниже Туруханска быстрота ее вообще весьма незначительна. На этом протяжении замечается множество островов у правого берега от Ермаковой до Карасиной и до Игарского, и еще больше — ниже Крестовой. Правый берег удерживает свою возвышенность еще на 200 верст ниже Толстого Носа, но затем начинает понижаться. На левой стороне ниже Ангутихи берег то понижается, то снова возвышается. Растительность уменьшается почти с

каждым шагом. Ель не распространяется за Туруханск; осина, черемуха и пихта прекращаются около Курейки, кедр ниже Плахиной не встречается уже, сосна и низкорослая береза редки уже и около Дудинки, лиственница оканчивается в окрестностях Верхне-Крестовой, при реках Хете и Солене, а близ Толстого Носа растет только низкий ивняк. Не взирая на бедность природы, русские поселенцы попадаются по этой реке еще на протяжении 350 верст ниже Толстого Носа; в прежние времена, говорят, они селились и еще далее к северу. Зимовья их находятся большей частью на правой стороне реки, но есть несколько и на левой, и именно между городом Туруханском и деревней Хантайкой.

Енисей чрезвычайно богат разной и притом весьма вкусной рыбой. В нем водится осетр (Acipenser sturio), стерлядь (Acipenser ruthenus), костерка (Ср. Pallas, Zoogr. Ross. III. стр. 92), муксун (Salmo Muksun), нельма (Salmo Njelma), чир (Salmo Nasutus), таймень (Salmo Taimen), пельядка (Salmo Peljet), омуль (Salmo Omul), сиг (Salmo Lavaretus), хариус (Salmo Thymallus), сельдь, пескарь (Cyprinus Gobio), елец (Cyprinus Dobula), не говоря уже о щуке, окуне, налиме, ерше и разных озерных рыбах, как, например, карасе, лине, кунже (Salmo Cundsha), чебаке (Cyprinus lacustris), и т.д. Все эти рыбы разделяются жителями страны на два рода: 1) *красную* рыбу, под которой разумеют три вида осетра: собственно осетра, стерлядь и костерку, и 2) *белую* рыбу, к которой относят все прочие породы рыб. Говорят, что красная рыба входит весной в огромном количестве из Байкала и перебирается Ангарой в Енисей, как бы с целью прогуляться летом к морю, но что эту длинную прогулку совершает один осетр, стерлядь же доходит только до зимовья Крестова, а костерка — до Загубского зимовья, т.е. не далее 80 верст за Толстый Нос. Осенью вся эта рыба возвращается в свои зимовья, где и проводит холодное время года в глубоких ямах. Часть ее остается, однако ж, в Енисее; по замечанию туземцев, возвращающаяся в сам Байкал бывает летом жирнее и темнее зимующей в Енисее. Идет она обыкновенно стадами (юрами), и так большими, что нередко и одно тянется на три дня, и затем несколько дней не показывается ни одного осетра. Вниз по реке осетр идет очень тихо и всегда головой против течения. Кроме того, он часто останавливается и отдыхает в глубоких ямах реки.

Что касается так называемой белой рыбы, то она во многих отношениях ведет совершенно противоположный образ жизни. Она любит преимущественно море и в продолжение лета слишком далеких странствований вверх по рекам не делает. Всех раньше поднимается чир: он начинает свое странствование, как только тронется лед, и к Петрову дню доходит до Туруханска. В одно время с чиром пускается в путь и сиг и идет большую часть лета. Потом показывается нельма, которую, начиная с первых чисел августа, в продолжение двух или трех недель ловят около Туруханска. За нею следуют многочисленные виды, известные у русских под названием муксуна, тайменя, омуля и т.д.; все эти виды показываются у Туруханска в половине и в последних числах августа. После всех поднимается сельдь, которая во всю осень доходит не далее Подкаменной Тунгуски. Точно так же и чир, и муксун, и даже нельма. Нельма попадается еще, впрочем, при Шадриной в Енисейском уезде; из всех же остальных поднимающихся из моря рыб только сиг и *тугун ловятся выше* Подкаменной *Тунгуски*. Красная рыба ловится, напротив, гораздо больше выше Подкаменной Тунгуски, нежели ниже ее. Все роды белой рыбы в течение всей осени до самого декабря идут обратно к морю.

Лов помянутых родов рыбы производится в разных местах разными способами. Между Енисейском и Шадриной так называемая красная рыба ловится только крючьями, а белая — небольшими сетями и неводами. Большие же сети и невода в этих местах не годятся, потому что река здесь слишком быстра, дно ее неровно, и берега неудобны для вытаскивания. Близ деревни Шадриной для ловли нельмы употребляют сети в 100—150 сажен длины. В деревне Ярцовой, в 8 верстах выше устья Сыма, красная рыба ловится также сетями от 100—150 сажен длины; эти сети называются *поплавнями*, их закидывают при помощи двух лодок, по одной на каждый конец, тащут, спускаясь вниз по течению, и вытаскивают на самой реке. Этот способ ловли не употребляется ниже Подкаменной Тунгуски, здесь красная рыба ловится крючьями, а другие рода рыбы — большими неводами. К северу от Туруханска употребляется сеть, похожая на так называемые поплавни, имеющая пред ними то преимущество, что ее можно закидывать при помощи одной лодки. Эти рыболовные снаряды употребляются только летом, за исключением обыкновенных не-

водов, которыми и осенью производятся лов как красной, так и белой рыбы подо льдом. Вообще на Енисее далеко не так усердно занимаются рыболовством, как на Оби. Причина этого заключается, независимо от быстрого течения реки ниже Подкаменной Тунгуски, в дурном сбыте рыбы в Туруханском крае. Во все прошлое лето в Дудинку и Толстый Нос пришли из Енисейска только три торговых судна, да и те пробыли здесь не далее июля. Вся рыба, которая ловится после этого времени, уже не находит покупателей и употребляется жителями частью для собственного продовольствия, частью на корм собакам. Да и сбываемая торговцам большой выгоды не доставляет, потому что торговцы, сверх красной рыбы, покупают только муксуна и нельму и платят за них от 29—30 копеек. Этим можно объяснить себе, каким образом и посреди величайшего изобилия поселенец терпит нужду в насущном хлебе и требует казенного содержания.

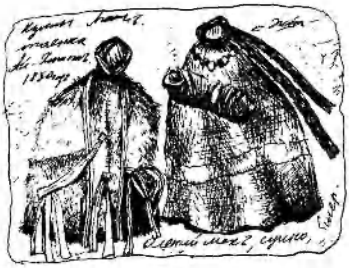
За сим скажу еще несколько слов о многочисленных притоках, впадающих в Енисей на протяжении от Енисейска до Ледовитого моря. Притоки эти: А. С правой стороны: 1) *Пит*, по-остяцки *Фит*, 2) *Кий*, 3) *Кис*, по-ост. *Тис*, 4) *Подкаменная Тунгуска*, по-ост. *Хол*, 5) *Бахта*, 6) *Фатьяниха*, 7) *Сухая Тунгуска*, 8) *Нижняя Тунгуска*, по-ост. *Бонгполь*, 9) *Курейка*, по-ост. *Кулейга*, 10) *Дудинка*. В. С левой стороны: 1) *Кемь*, 2) *Кас*, 3) *Сым*, 4) *Дубчес*, 5) *Елогуй*, 6) *Туруханъ*, 7) *Хета*, 8) *Солена*. Реки, впадающие в Енисей с правой стороны, вытекают из гор и текут все по странам гористым, по этой причине они быстры, обильны водопадами, или так называемыми *порогами*, и потому в высшей степени неудобны для судоходства. Несмотря, однако ж, на то, золотопромывальни вызвали весьма деятельную жизнь по Питу и Тису. Подкаменную Тунгуску в иные годы посещают сумароковские остяки, поднимающиеся вверх по ней на зимовку в гористых странах. Тунгусы также жили прежде по этой реке, но потом перебрались все на Елогуй. Кроме того, осенью остяки ловят рыбу с огнем как в обеих вышепоименованных реках, так и в Вахте, Сухой Тунгуске и Фатьянихе; три последние реки вытекают из небольших озер и летом никем не посещаются. По Нижней Тунгуске живут несколько тунгусов, и из Туруханска ежегодно отправляются вверх по ней восемь барок с казенной мукой для ту-

земцев. Казаки, которым поручается доставка этой муки, остаются в Тунгуске до весны и живут в маленьких избах, построенных только для этой цели. Кроме них, по этой реке нет никаких русских поселенцев. На Курейке также только один казенный магазин для карасинских и имбатских остяков и для тунгусов, живущих при большом озере Мундушке, из которого вытекает река того же имени, впадающая в Курейку. Курейка судоходна только на 100 верст от устья, далее большой водопад делает судоходство невозможным. При устье Дудинки находится самое большое из всех зимовьев ниже Туруханска, берега же самой реки совершенно пустынны и необитаемы.

Реки, впадающие в Енисей с левой стороны, выходят из обширных болот и медленно текут по странам низменным. Они очень мелки, вследствие чего судоходство по ним затруднительно. В некоторых из них, как, например, в Сыме и Касе, парусное судоходство затрудняется еще так называемыми *ломами* — это нечто вроде мостов, которые образуются из деревьев, вырываемых и наносимых во время прохождения льда. По тихому течению и ровному дну реки левой стороны удобнее для рыболовства, нежели реки правой стороны. По этой причине почти все реки, впадающие с левой стороны, посещаются как летом, так и зимой значительным числом туземцев. По Сыму, Касу и Дубчесу живут только сымские остяки. Елогуй, впадающий в Енисей девятью устьями, посещается как имбацкими остяками, так и самоедами и тунгусами. По Турухану и его притокам живут туруханские остяки-самоеды и имбацкие остяки. На Верхней Баихе есть также казенный магазин и русское зимовье. Хета и Солена посещаются зимой только юраками Толстого Носа.

Канинские самоеды

Тиманские самоеды



Комментарии

«Путешествие в Сибирь: 1845–1849» было опубликовано в географическом сборнике Николая Фролова «Магазин землеведения и путешествий» (Т. 6. Ч. II. — М., 1860. — С. 199–482). Том имел подзаголовок «Путешествие Александра Кастрена по Лапландии, Северной России и Сибири: 1838–1844; 1845–1849».

Печатается по вышеуказанному изданию. При подготовке книги к печати в ней произведена адаптация орфографии к сегодняшней норме, а также в сносках переводчика на русский язык унифицированы названия изданий, на которые он ссылается.

В отдельных случаях исправлены орфографические ошибки, допущенные в издании 1860 г. Например, приведено к сегодняшней норме склонение всех географических названий; в кастреновских *самоеды*, *тунгузы* и др. используется современное написание. Некоторые неточности вынесены в комментарии. Ряд ошибок (например, использование переводчиком Кастрена слова *идиотизмы*, очевидно, вместо *идиоматизмы*) оставлены для сохранения колорита того времени.

Предвидя упрек читателя в неодинаковом подходе к воспроизведению встречающихся в тексте 1860 г. ошибок, коллектив, работающий над изданием, в каждом случае подходил к искажениям в тексте индивидуально.

Комментарии к фамилиям, встречающимся в тексте, вынесены в первый том настоящего издания.

[1] Ухичивать (*устар.*) — утеплять, заделывать щели.

[2] Булгары (болгары) — тюркоязычное племя, появившееся на исторической арене в середине V века. В это время они обитали на Северном Кавказе, в Подонье и на Нижней Волге. В VIII веке часть булгар переселилась в Среднее Поволжье, где к началу X века они основали государство, в состав которого вошли другие родственные тюркоязычные племена (сувары, бесулы, эсегелы и др.) и местное финно-угорское население. По сведениям арабских географов и путешественников, в

IX веке булгары исповедовали ислам. После разгрома в 1236 году монголо-татарами Волжская Булгария стала улусом Золотой Орды. На левобережье Волги в результате этнического взаимодействия булгар-мусульман с единоверцами кыпчаками-татарами сформировались казанские татары. Правобережные булгары-язычники, ассимилировавшие финно-угорских соседей, стали ядром нового этноса, сложившегося к концу XV века, — чувашей.

[3] Неясно, о ком идет речь. Возможно, имеется в виду «отец сибирской истории» Герхард Фридрих (Г.Ф.) Миллер. Однако далее в тексте параллельно с «Миллер» встречается «Müller» (Мюллер).

[4] Киргизами в XVIII веке называли в Приуралье казахов.

[5] В современном написании «маньчжурскому, тюркскому... тунгусскому...».

[6] Черемисы (марийцы), мордва и вотяки (удмурты) относятся к финноязычным народам, а чуваши — к тюркоязычным. В формировании антропологического типа и культуры чувашей значительную роль сыграли и приуральские финно-угорские племена.

[7] Мокша и эрзя — две этнотерриториальные группы мордвы. В основе мордовского антропологического комплекса лежат субуральский и балтийский типы. Языки мокша и эрзя занимают промежуточное положение между прибалтийско-финскими и пермскими. Различия между ними объясняются прежде всего раздельной территорией обитания: эрзя — на Оке, мокша — в бассейне одноименной реки. Этноним «мордва» восходит к восточно-иранскому martia — «мужчина, человек». Этноним «мокша» (и гидроним Мокша), по мнению лингвистов, имеет индоиранское происхождение: от санскритского «мокша» — «проливание, утекание, освобождение». К индоиранской основе восходит и этноним «эрзя» — от «атвал» — мужчина, герой.

[8] Бьярмаландия, Бьярмландия, Биармия — название территории расселения пермских племен (предков коми-зырян, коми-пермяков и удмуртов), встречающееся в средневековых скандинавских сагах.

[9] Карелы и весь (современное название — вепсы) — финноязычные народы севера европейской части России. Карелы занимают западные берега Белого моря и территорию современной Карельской республики, вепсы живут на берегах Ладоги и Белого озера. Являются автохтонными народами Европейского Севера, на данных территориях известны по русским источникам с IX в. н.э.

[10] Гипотезу о происхождении этнонима «коми» от гидронима Кама впервые выдвинул в 1771 году И.И. Лепехин. В настоящее время среди лингвистов укрепилась точка зрения об индоиранском происхождении данного этнонима — от «кум» (хум) — человек.

[11] Казымскими (или «кондинскими», т.к. с XVIII века они были приписаны к Кондинской волости, названной по селу Кондинское на Нижней Оби) самоедами называли лесных ненцев, основная часть которых обитала в верховьях Казыма. Обычно лесные ненцы определяются как особая группа ненцев, но есть основания считать их отдельным народом, хотя и близкородственным тундровым ненцам. Кастрен упоминает 8 «племен» (т.е. родов) казымских самоедов, к сожалению, не называя их. Сейчас известны крупные роды Айнаседа, Вылла, Пяк, Иусе; роды Логаны, Ничу и Венго насчитывают всего по нескольку человек. Они занимают верховья Казыма, Лямина, Тромъегана, Агана и Пура.

[12] Кондинск — искаженное название Кодского городка на Оби, бывшей резиденции князей Кодского княжества. Начиная с XVIII века в пись-

менных источниках название Кондинский (Кондинск) вытеснило исконное название поселения. В советское время поселок был переименован в Октябрьский (районный центр ХМАО). Не путать с пос.Кондинский (бывший Нехрачи) на р.Конде.

[13] Malum necessarium (*лат.*) — необходимое, неизбежное зло.

[14] Опечатка. Следует читать: иртышский диалект.

[15] Название приведено неточно. Следует: Вош-итпа-пугот — «селение под городком». На высоком холме-останце коренного берега Иртыша раньше (в XIV—XVI вв.) находился остяцкий городок Тяпар-вош.

[16] В тексте также встречается «Селярская, Зелярская». Правильнее: Селияровская.

[17] Правильно: Вош-унт — «городская гора», Вош-охта — «городская вершина».

[18] Tiukes-unt — гора Чугас. «Чугас» в языке прииртышских ханты — одинокий холм в низине. В настоящее время урочище Чугас на правом берегу Иртыша, между поселком Черный Яр и Тугалово.

[19] Правильно: сырок.

[20] Имеется в виду село Реполово на левом берегу Иртыша. Русское название восходит к Реп ольнг — «начало горы». Полное хантыйское название — Реп ольнг ханты пухыт — «Хантыйское селение у начала горы».

[21] Более точный перевод — «запор». Имеется в виду рыболовный запор — древнейшее и наиболее эффективное рыболовное приспособление народов Обского Севера. При сооружении запора перегораживали небольшую реку жердями, вбитыми в дно. Среди жердей оставляли проем, в который устанавливали гимгу (вершу). Рыба, не находя иного пути, устремлялась в ловушку. Добычливость такого приспособления очень велика, сезон запорного лова обеспечивает запас рыбы на всю зиму.

[22] В данном случае верной является точка зрения «туземцев». Крапивное волокно задолго до прихода русских использовалось для изготовления сетей и неводов. Крапивные снасти не отличались долговечностью и требовали частого ремонта. Поэтому ханты быстро переняли сети русского образца из покупных материалов, что и породило заблуждение русских промысловиков об отсутствии у ханты собственных навыков сетевязания. В первую очередь это касается ханты Оби, в более отдаленных районах крапивные снасти встречались до 30–40-х годов нашего столетия.

[23] Песками было принято называть песчаные пляжи, образующиеся в месте поворота реки. Они наиболее удобны для неводьбы, поэтому всегда высоко ценились. Как правило, каждый песок принадлежал отдельной семье. После присоединения к России именно пески привлекли наибольшее внимание русских купцов и промышленников. Несмотря на запреты царской администрации, пески активно отчуждались у коренных жителей — их брали в аренду, покупали, забирали за долги. Бывшие владельцы песков превращались в наемных рабочих-рыбаков.

[24] Приведенное здесь слово *chat* в русской транскрипции читается как «хат», что соответствует, очевидно, хантыйскому *хатл* — «день». Это слово в хантыйском языке означает не только «день», но и «свет, солнце». Так же обозначали дневную норму добычи, дневную потребность в пище и т.п.

[25] Nec plus ultra (*лат.*) — в крайней степени.

[20] Эпоним «чудь» упоминается в русской летописи «Повесть временных лет» среди финноязычных соседей Руси. Это племя было, наряду с родственными ему мерей, мещерой, муромой, в X–XIII веках постепенно ассимилировано в русской среде. Название «чудь» сохранилось в качестве этнотопонимов на Русском Севере и в Северном Приуралье. У коми сохранились предания о чуди, которая обитала на их землях раньше и ушла под землю, чтобы не смешаться с коми. С основой «чуд, чуйд» в языке коми связаны слова, означающие «дикий, пугливый, упрямый, бояться, пугаться». С другой стороны, места, связываемые в коми-народном сознании с чудью, в том числе кладбища, до недавнего времени почитались коми как места предков.

Распространение поверий о чуди в Сибири следует соотносить прежде всего с расселением коми и северорусского населения за Уралом. Местному населению — ханты, манси, ненцам и татарам этот термин не был известен.

[21] Имеются в виду остатки оборонительных сооружений вокруг городков — ремы и ваты.

[22] В действительности пивоварение не было известно ханты. Здесь имеется в виду брага, заимствованная у русских, которую иностранные путешественники часто именовали пивом.

[23] Здесь и далее название деревни встречается в двух вариантах: Топоркова и Торопкова. В ранних картографических источниках представлена форма «Торопкова» (от хантыйского «торо» — журавль). Название «Топоркова» — результат адаптации непривычного хантыйского слова в русском языке. В настоящее время официальное название деревни — Скрипуново. Однако жители ее до сего дня помнят, что прежде деревня называлась Тенеркова.

[24] Иевши (точнее Иуси, Еуши) представляет собой один из родов лесных ненцев, которые в работе Кастрена фигурируют как казымские самоеды. До XIX в. Иуси обитали в Приобье между Пимом и Ляминым. Затем они, видимо, под давлением русской колонизации, постепенно стали передвигаться на северо-восток. Сейчас они обитают в верховьях р. Агап.

[25] Под названием тымских и нарымских самоедов фигурировала в XIX в. южная группа селькупов, обитавшая в Томском Приобье по реке Тым и в районе Нарыма. Северная же группа занимала верховья Тыма и Турухан. Селькупов в целом называли обычно остяко-самоедами. Кастрену удалось, как это будет видно ниже, застать южных селькупов еще сохраняющими свой язык и культуру. К настоящему времени они практически полностью утратили и то, и другое, будучи ассимилированы русскими и татарами. Сохраняется теперь только северная (тазовско-туруханская) группа селькупов.

[26] Ничу — один из родов лесных ненцев. Обитали они по Лямину, Казыму и, возможно, Пиму. Позже, в 30–40-е годы, часть из них переселилась на Казым, другие растворились среди ханты и русских. В настоящее время сохранились единицы представителей рода Ничу, компактной территории обитания они не имеют.

[27] Имеется в виду хантыйское село Белы, существовавшее до 50-х годов нашего столетия. Тогда его жители во время укрупнения населенных пунктов были переселены и с. Селиярово.

[28] Слова «пинкобразная труба» и «цемент», видимо, употреблены в описании печки (точнее определить ее как примитивный камин) переводчиком. Под цементом, безусловно, следует понимать хорошо про-

мешанную глину, которой обмазывали деревянный остов камина. Что касается трубы, то она имела цилиндрическую форму. Переводчик же, вероятно, придавая цилиндру русское звучание, превратил его в шапку.

[34] Вероятно, правильнее — Сотым, так как у салымских ханты предок-богатырь, прародитель и покровитель именуется Сотым-ики — «Старик Сотым».

[35] Лямин — правый приток Оби, впадающий в нее с севера ниже Сургута. В *устье реки, у деревни Лямина есть большой пойменный разлив* Ляминский Сор.

[36] Торм-лор (точнее — Торум-лор) — хантыйское название одного из крупных озер на севере Западной Сибири. Ненцы его называют Нумто, именно это название применяется на современных картах. И хантыйское, и ненецкое название означает «Божье озеро». Оно известно и почитаемо у всех, даже весьма отдаленных, групп ханты и ненцев. По некоторым преданиям, на это озеро опускался небесный бог Торум во время посещения земли. Само озеро тоже считается богом или древним богатырем, упавшим на землю, раскинув руки и ноги. Поэтому одна из заливов озера считается головой богатыря, втекающие и вытекающие из озера реки — его руки и ноги, а остров посередине Нумто — сердце. Именно этот остров пользуется наибольшим почитанием, здесь совершались крупные жертвоприношения. До образования колхозов в начале 30-х годов в озере совершенно не ловили рыбу, сейчас этот запрет не действует.

Относительно рек, связанных с Нумто, Кастрен был введен в заблуждение своим информатором из Березова. В действительности из озера вытекает только Надым. Казым берет свое начало из озера Казым-тый-лор, располагающегося примерно на 90 км южнее Нумто. Рядом с Казым-тый-лор находится еще одно озеро (которое по ошибке также нередко обозначается на картах как Казым-тый-лор), из него вытекает р. Пям. Видимо, это и есть та третья река, о которой пишет Кастрен. Предположения его о Лямине неверны, так как его истоки находятся гораздо дальше на запад. В такой путанице нет ничего удивительного, поскольку эти места и сейчас исследованы очень слабо, а в XIX в. были практически неизвестны.

[38] Опечатка. Следует читать «Надым».

[39] *Названия левого и правого притоков Лямина (Tajar и Keju) сейчас* вышли из употребления. Один из них на современных картах называется Лямин 2-й, а другой — Лямин 1-й.

[40] Юган, Демьянка и Вах берут начало из водораздельных болот Васюганской равнины, южнее которой находится Барабинская низменность.

[41] Юганские остяки, упоминаемые Кастреном, представляют собой юганскую этнотерриториальную группу ханты. Это одна из немногих групп, которая хорошо сохранилась, несмотря на исторические катаклизмы, до настоящего времени и продолжает вести традиционный образ жизни, занимаясь охотой и рыболовством.

[42] Речь идет о юганской церкви, которая расположена в русском поселке Юган. Правда, сам поселок находится не в устье, а в среднем течении одноименной реки. Церковь, претерпевшая перестройки, а позже превращенная в колхозный склад, существует до настоящего времени. Однако упомянутое крещение юганских ханты было, скорее, формальным актом. Реально же они сохранили до сегодняшнего дня традиции-

онную веру в духов, большое количество священных мест, пережитки тотемизма и тр.

[42] Речь идет об устье Иртыша, где Обь разделялась на Верхнюю (Среднюю) и Нижнюю.

[43] Pro aris et focis (*лат.*) — «за алтари и очаги», т.е. (сражаться) на самое дорогое.

[44] Bellum omnium contra omnes (*лат.*) — «война всех против всех».

[45] Древние городища на Иртыше, Оби и их притоках расположены, как правило, на высоких берегах, часто на мысах, оставшах коренных террас. Крутые естественные склоны берегов дополнительно укреплялись высокими валами и бревенчатыми палисадами или частоколом, глубокими рвами (иногда в несколько рядов). Особенно внушительно выглядят остатки городов-крепостей X–XVI веков, большинство из которых являлось «столицами» обско-угорских князьев.

[46] Г.Ф.Миллер, автор «Истории Сибири» (XVIII в.) помещал Бардаково *княжество на реку Бардаковку (современный Тромъеган), левый приток* Оби, выше по течению от Сургута. Сведения о борьбе Бардака с Ермаком не соответствуют исторической действительности, т.к. Ермаковы дружины не поднимались вверх по Оби.

[47] Современное Локосово — поселок на Оби выше Сургута.

[48] Духи умерших шаманов действительно могли представлять опасность для человека, если не уделять им должного почета и внимания, нарушать моральные нормы. По верованиям ханты, в злых духов могли превратиться после смерти черные шаманы, которые и при жизни занимались вредоносной деятельностью. Однако нужно отметить, что злокозненные шаманские духи — это, скорее, исключение, чем правило. Наоборот, чаще духи шаманов считались защитниками и помощниками своих живущих сородичей.

[49] Правильно: Мегионские юрты. Полное хантыйское название — Мехе-Унт-Пухыл — «Поселение в устье излучины».

[50] Имеются в виду Вартовские юрты

[51] Сейчас — поселок Ларьяк.

[52] Вахские остяки (то есть нахонские ханты) являются этнотерриториальной группой ханты, обитающей в бассейне р. Вах. По своему происхождению они являются одной из самых «молодых» групп, поскольку переселение их на Вах началось, самое раннее, в конце XVII века. Их предшественниками на данной территории являлись селькупы.

[53] Опечатка. Следует читать: Бардаковка. Старое (XVIII в.) название реки Тромъеган.

[54] Кресты и иконы использовали в ритуальных делах не только сургутские, но и многие другие ханты. Однако Кастрен верно отметил, что это не говорит о принятии ими православия. Реально кресты и иконы использовались ханты в чисто языческих целях. Кресты должны были защищать от злых духов людей, а иконы — жилища. Этот элемент христианства хорошо подходил к языческому мировоззрению, поэтому легко был усвоен ханты.

[55] Неточный перевод с немецкого. Речь идет о зимних бревенчатых избах, покрывавшихся дерном, и летних каркасных постройках с берестяным покрытием.

[56] Правильно: Темлячевская.

[57] Современное название реки — Тромъеган (в переводе с хантыйского — «Река Торума, или Божья река»).

[59] Кастрен приводит названия родовых (по другим данным — племенных) подразделений селькупов. Названные им подразделения Чумельгоп, Шёш-ком, Сюсся-гом и Тюе-гом соответствуют выделенным в современной науке Чумульгула, Шишгула, Сюсгула и Тегула (кроме них, также выделяются Соргула, Сельгула, Кайбигула и Пайгула). Формант ком//гом//гол//кул//гула в этих названиях переводится как «люди, свой народ». Считается, что от родового названия Сельгула происходит и слово селькупы, принятое как общее имя для всего народа. Эти родовые объединения играли важную роль в XVII–XIX вв., позже большая их часть перестала существовать. До середины XX в. сохранились только Чумульгула и Сюсгула, которые уже не выполняли функции общественно-экономических объединений, а сохранялись как историческая память.

[60] Здесь и ниже Кастрен употребляет термин «племя» по отношению к родам и крупным семейным группам (подразделениям рода) ненцев. Характеристикам племени в современном понимании может соответствовать только весь ненецкий народ в целом. Так, например, племя должно быть эндогамным (все браки заключаются внутри него). Эта черта имелась у ненецкого народа в целом, а те подразделения, которые называет Кастрен («соединение нескольких родственных семейств»), напротив, являлись экзогамными (браки внутри них не заключались). Для племени также характерно деление на фратрии, чего, естественно, не могло быть у «соединений нескольких родственных семей». Ненецкий же народ в целом как раз делился на две фратрии — Хаврочи и Вамуйта. Разумеется, племенная структура у ненцев уже во времена Кастрена была далека от классической, с ростом населения началось дробление фратрий на множество родов, они, в свою очередь, делились на группы родственных семей. Правила эндогамии и экзогамии утратили четкость, начался рост имущественного неравенства, хозяйственные и ритуальные функции стало невозможно осуществлять в рамках рода, не говоря уже о племени, поэтому они перешли в ведение отдельных групп родственных семей. Очевидно, это и послужило основанием для выделения Кастреном этих групп в качестве племен.

[61] Это замечание Кастрена имеет очень большое значение. Он впервые доказал, что население тогдашней Томской губернии, которое называли остяками или остяко-самоедами, не имеет ничего общего с настоящими остяками (ханты) и не является результатом смешения остяков и самоедов (ханты и ненцев). Хотя Кастрен и называл этот народ остяко-самоедами (см. ниже), он имел в виду, что они по происхождению и языку являются самоедами, а по культуре похожи на остяков. При этом Кастрен абсолютно верно определил, что самоеды Томской губернии сильно отличаются по языку от остальных самоедов (ненцев). Это послужило основой для выделения в дальнейшем особого народа — селькупов.

[62] Здесь имеется в виду наречие селькупов, проживавших на реке Кеть, а не народ кеты.

[63] Еушта (в современном звучании — эушта, эуштинцы, эуштинские татары) представляют собой особую группу сибирских татар, которая сложилась в низовьях реки Томь еще до русской колонизации. В XVII в. в их состав с юга влились представители тюркских племен — чатов и калмыков. Эуштинцы активно взаимодействовали и со своими северными соседями — селькупами, часть которых они ассимилировали.

Сейчас эуштинцы являются монолитной группой сибирских татар, говорят на особом диалекте сибирско-татарского языка.

[64] Не совсем понятное замечание автора. У селькупов действительно словом *куай обозначается душа, находящаяся вне тела человека. Такие* ситуации возникают во время болезни или предсмертного состояния. Однако, для обозначения рек это слово у самодийцев нехарактерно.

[65] Memento mori (*лат.*) — помни о смерти.

[66] In hoc signo vinces (*лат.*) — ты победишь под этим знаком.

[67] Здесь имеются в виду селькупы. К этому моменту путешествия Кастрен уже выяснил, что население Томской губернии от Тыма до Чулыма составлял народ, говорящий на самодийском языке, поэтому употребил название «самоеды», подчеркивая их отличие от остяков (ханты).

[68] Нум (Ном) ненцами и селькупами считался верховным небесным божеством, творцом вселенной и человека. Селькупы также использовали имя Нуми-Торум. Он считался источником всего хорошего, доброго для людей. После появления у ненцев крупных стад оленей, которые являлись основным источником жизни, Нум стал рассматриваться как защитник оленьих стад. Было принято посвящать Нуму белого оленя, которого держали в стаде и считали собственностью божества. Его не запрягали и не ловили арканом. Пока в стаде был такой олень, оно считалось под особой охраной Нума.

[69] Северные народы избегают употреблять настоящие имена сверхъестественных существ. Это вызвано представлением о том, что называние имени равнозначно прямому контакту с духом, что допустимо только при жертвоприношениях. Поэтому в повседневном общении и в фольклоре применяются подставные имена или эпитеты, например, для Нума — «старик, высокий старик, светлый старик».

[70] Финно-карельское небесное божество Укко — «старец» согласуется с хантыйским *ики* — обязательным эпитетом мужских божеств и предков-покровителей, означающим «старик».

[71] В финно-карельской мифологии Юмала — верховное небесное божество, чье имя ученые-мифологи связывают с прафинно-угорским (прауральским?) названием неба, воздуха — «ilma, juma». С этим словом, возможно, связаны и обско-угорское и самодийское *нум* (небо, воздух), и ненецкое *Иль* (Йилеу).

[72] Обозначение духов вообще и, в частности, мелких, безымянных духов у селькупов (томских самоедов, по Кастрену). Так называли мелких лесных и водных духов, духов животных, семейных и личных духов. Отметим только, что более точно это название звучит как *лоз//лох*, а во множественном числе, соответственно, *лозы//лохи* (а не «лохеты, лозеты», как приведено переводчиком в тексте, несмотря на специальное указание Кастрена относительно единственного числа).

[73] Под фетишами М.А. Кастрен здесь понимает, очевидно, всех семейных и личных идолов, которые хранились ненцами в специальных священных нартах. Такие нарты во время перекочевок шли впереди всего аргиша, а на стойбищах ставились позади чума. Здесь хранили не только самих идолов, но и другие священные предметы — бубен, одежду и подарки духам. В состав семейных святынь включались и фетиши в прямом смысле слова — камни особой формы, металлические предметы, найденные на старинных поселениях, куски метеоритов и др. Об этих святынях заботились, дарили новую одежду, украшения, во время забоя оленей первыми угощали свежей кровью. Идо-

лы и священные предметы, в свою очередь, должны были помогать хозяевам: отпугивать злых духов, давать здоровье и благополучие.

[74] Имеется в виду личные духи-покровителя, которых мог иметь каждый человек. Их изображения делали самостоятельно или при помощи шамана. Такие духи распространяли свое влияние только на своего хозяина, поэтому Кастрен отмечает, что после смерти человека его духи не хранились. Известно, однако, что личные духи могли также передаваться по наследству от отца к сыну и от матери к дочери.

[75] М.А. Кастрен описывает широко известный обряд «камлания в темном чуме». Этот ритуал являлся своего рода демонстрацией возможностей шамана, подтверждением его связи с духами. Конкретные проблемы людей здесь не решались. Такое камлание проводили шаманы низкой категории. Более сложным являлось «камлание в светлом чуме», где действия шамана были видны присутствующим. Во время такого обряда шаман камлал с бубном, призывал и общался с духами, с помощью которых узнавал будущее, обеспечивал удачу в промыслах или избавление от болезней.

[76] Такие песни входили в состав священных песен. Они повествовали о мифических героях и их свершениях, о родовых предках (богатырях) и крупных исторических событиях, которые, несмотря на фольклорное оформление, в значительной мере соответствуют реальности. Исполнять их могли только мужчины, само исполнение считалось священнодействием. С помощью подобных песен можно было лечить болезни и добиваться расположения духов. Учитывая их связанность, и следовательно, скрытость от посторонних, фиксация их является большой заслугой М.А. Кастрена.

[77] Точнее: кумыш — мужская зимняя одежда ханты и ненцев. Имеет глухой край, снабжена капюшоном и рукавицами, пряшитыми к манжетам. Изготавливается из оленьих шкур мехом наружу. Широко используется до настоящего времени.

[78] Очевидно, допущена опечатка и следует читать «генетические». От латинского generatum — родовой. В данном случае имеется в виду мужской и женский род. Собственно же различие заключается в том, что у мужских шуб спинка ровная, а у женских — с несколькими закладками.

[79] Западня для белок — это черкан, ловушка ущемляющего типа, изготовленная на основе лука. Вместо стрелы черкан имеет давок, прикрепленный к тетиве. Давок отводится вверх при натягивании тетивы и подпирается сторожком. Ставится черкан на беличьих или горностаевых тропках. Зверек проходит под черканом, обивает сторожок, и тетива с давком прижимает его к древку лука. Черканы использовались всеми народами Западной Сибири, в настоящее время встречаются редко.

[80] Западня для лисиц — слопец, ловушка давящего типа. Она состоит из двух-трех скрепленных бревен. Один их конец лежит на земле, а другой приподнимается и закрепляется в таком положении системой сторожков. Наступая на сторожки, зверь обрушивает на себя бревна. Слопцами ловили лис, глухарей, тетеревов. Иногда сооружались большие слопцы на медведя. При ловле лис и медведей в ловушку помещали приманку. Слопцы до настоящего времени используются народами Западной Сибири достаточно широко.

[81] В мифах обских угров известна гигантская птица Карс, имеющая облик орла. На ней верхом путешествовал фольклорный герой Эква-пы-

рись (манси) или Ими-хиты (ханты). Изображения священной птицы из меди и бронзы в виде орла, иногда с фигуркой человека, встречаются в археологических древностях Урала и Западной Сибири.

[82] Ennesa non legunt (*лат.*) — по-гречески не читаются.

[83] Енисейскими остяками именовались до начала XX в. кеты, обитающие на Енисее. По языку и происхождению кеты не родственны хантыи (их язык вообще самостоятелен), тем не менее их называли остяками по внешнему сходству культуры с хантыйской. Кеты также занимались охотой и рыболовством, жили в землянках. Территория их обитания практически не изменилась со времен Кастрена и включает бассейн среднего и нижнего течения Енисея. Происхождение кетов — один из самых сложных и спорных вопросов в этнографии Сибири. Некоторые исследователи поиски их прародины простирают вплоть до Тибета. Впрочем, сейчас уже не подвергается сомнению южное происхождение кетов. Переселяясь на Енисей, они поглотили проживавшее здесь палеоазиатское население (с ним сейчас связывают группу кетов-югов). Позже в состав кетов вошли небольшие группы селькупов и энцев. В настоящее время кеты — один из самых малочисленных народов России, их насчитывается около 1 тыс. человек. Помимо прочего, это связано с тем, что значительная часть кетов в XVII–XIX вв. была поглощена другими народами — северными алтайцами, татарами, самодийцами.

[84] Арины, котты, асаны — небольшие кетоязычные народы (см. предыдущее примечание), обитавшие на Северном Алтае. Они занимались скотоводством, охотой, рыболовством и немного — земледелием. Известно, что арины занимали окрестности современного Красноярска. К XIX в. эти народы утратили свой язык и культурное своеобразие, смешавшись частью с русскими, частью с хакасами. Еще в начале XX в. в составе хакасов и алтайцев были известны роды с названием Ара, происходящие от аринов.

[85] Удория — одна из северных областей Коми края, включала в себя верховья рек Вашка (Удора) и Мезень.

[86] Здесь вновь речь идет о енисейских остяках, то есть кетах.

[87] Предположение о том, что часть кетов обитала прежде в бассейне р. Кеть, вполне оправданно. Оттуда кеты были, очевидно, вытеснены селькупами и переселились на Енисей, присоединившись к основной части кетского народа, что нашло отражение в приведенной легенде. Эти переселенцы влились в состав сымских кетов на правах особой Тымдэгетской патронимии (группы родственных семей) и прослеживались до начала XX в. На их древнюю связь с селькупами указывает тот факт, что они даже после переселения продолжали заключать браки преимущественно с селькупскими родами.

[88] Пальма — копье с длинной и прочной рукоятью. Наконечник пальмы достигал в длину 30–40 см. При этом у эвенков (тунгусов) наконечник представлял собой длинный нож с односторонней заточкой, а у ханты (остяков) он имел форму удлиненного обоюдоострого ромба. Селькупы использовали оба эти вида. Пальма применялась для охоты на медведя и во время военных столкновений.

[89] Основным персонажем кетской мифологии является небесное божество Ень, творец земли и людей, источник положительного начала. Ему противостоит злое женское божество, хозяйка нижнего (подземного) мира, которая умерщвляет людей, чтобы увеличить число своих подданных. Обычно богиня царства мертвых у кетов именуется Хосе-

дэм, но, возможно, Кастрен зафиксировал более древний вариант. Не исключено также, что приводимое автором имя связано с селькупским названием богини нижнего мира — Има-ката. Большим почитанием у кетов пользуется медведь, считающийся духом — хозяином леса. Охота на медведя не запрещена, но обставляется сложной религиозной обрядностью.

[30] Святой Василий Сибирский (или Мангазейский и Туруханский) прославался как покровитель промыслов, которому поклонялись как русские сибиряки, так и крещеные тундровые ненцы и эвенки. По преданию, в миру его звали Василий Федоров. Этот юноша-приказчик, прибывший в Мангазею вместе со своим хозяином-купцом, будучи обвинен в воровстве, погиб мученической смертью. Гроб с его телом по приказу мангазейского воеводы Пушкина брошен в болото, а спустя много лет, в 1652 году, он выплыл за поверхность. Нетленные мощи Василия были перезахоронены на высоком месте, где вскоре была построена часовня в честь чудотворца. В 1659 году чудесная сила мощей была освидетельствована тобольским дьяконом Иваном Семеновым. Город Мангазея в 1672 году был заброшен, а его население перебралось от устья р. Таз на р. Туруханк, приток Енисея, где была построена Новая Мангазея, или Туруханск. Место, где стояла Старая Мангазея, ненцы называют Тахаравы Хэрад — «Разрушенный город».

[31] Баихинские самоеды — в XVIII–XIX вв. так именовалась группа селькупов, проживающая на Туруханке и его притоках Нижней и Верхней Баихе. В их состав вошли некоторые группы семей кетов и самоедоязычных энцев. Сам топоним «Баиха» выводится от имени одного из крупных энецких родов Бай (Бан), обитавшего в XVII–XVIII вв. в этом районе.

Карасинские самоеды получили свое название по имени Карасинской волости (в низовьях Туруханки и Курейки). Карасинцы в XIX в. также представляли собой селькупов со значительной примесью кетов и энцев. Однако уже после путешествия М.А. Кастрена, в конце XIX — начале XX в., здесь стал преобладать кетский элемент за счет переселения кетов с Енисея, и утвердился кетский язык. Карасинские самоеды перестали существовать, войдя в состав курейской группы кетов.

Тазовские самоеды — это по сей день самая крупная группа селькупов, обитающая в верхнем и среднем течении Таза. Именно на их основе создан Красноселькупский район в ЯНАО.

[32] Здесь М.А. Кастрен суммирует свои лингвистические исследования, подчеркивая, что в бассейне Енисея проживают две общности — остяки (кеты) и самоедские народы (селькупы, меньше — энцы и ненцы), которых неправомерно объединять под принятым тогда общим названием «остяки».

[33] Юраки — принятое до начала XX в. название тундровых ненцев, занимавшихся оленеводством. Упомянутые здесь тазовские юраки занимали низовья Таза. Их кочевья распространялись до Енисея, где часть из них платила ясак (налог в царскую казну) и посещала Туруханскую ярмарку.

[34] Долганы — тюркоязычная народность, близкородственная якутам. До XVII в. долганы представляли собой эвенкийское (тунгусское) родовое подразделение, обитавшее на Лене и уже здесь испытавшее сильное влияние якутов. В XVIII в. отмечено их переселение на юг Таймыра. Здесь долганы-эвенки смешались с самодийцами и включили в свой состав русских старожилов, проживавших в Мангазейском вое-

водстве. Одновременно продолжался постоянный приток якутских семей. Постепенно якутский язык возобладал над остальными (учитывая, что русские старожилы к тому времени тоже говорили по-якутски), и сложилась новая народность — тюркоязычные долганы. Их культура представляет собой смешение якутских, эвенкийских и русских черт.

[95] Енисейские самоеды, которых здесь упоминает М.А. Кастрен, представляют собой энцев — один из самодийских народов, который до XVII в. занимал обширные пространства по Тазу и Енисею, вплоть до п-ва Таймыр. Затем под давлением с разных сторон ненцев, селькупов, кетов и эвенков территория их обитания сократилась. Значительная часть энцев была поглощена названными народами, другая оттеснена на север. По информации, полученной М.А. Кастреном, центром обитания энцев в XIX в. стал бассейн Пясины и низовья Енисея. Далее автор приводит названия трех энецких родов, которые известны и по ясачным документам. Самату (или хантайские самоеды, поскольку они платили ясак в Хантайском зимовье), Мунгаджи//Мугтади (или карасинские самоеды, так как они платили ясак в Карасинском зимовье, но позже были вытеснены из этих мест селькупами и кетами), Бак (или подгородные самоеды, поскольку платили ясак в городе Туруханске; прежде обитали в бассейне Баихи, но были вытеснены оттуда селькупами). В примечании №2 на этой странице М.А. Кастрен довольно точно наметил основные направления миграций энецких родов в XVIII — начале XIX в.

[96] Тавги — одно из родовых подразделений нганасан, самодийского народа на Таймыре. Впервые тавги упомянуты в ясачной росписи 1627 г. В целом нганасаны до начала XX в. именовались в русских документах «пясидскими самоедами», но иногда в таком обобщающем значении употреблялось и название тавги. Пясидские самоеды тесно взаимодействовали с энцами роде Самату, вместе с которыми платили ясак в Хантайском зимовье. Большую роль играли контакты с эвенками, а с XVIII в. — с долганами: и те, и другие приняли участие в окончательном складывании нганасан. В настоящее время нганасаны продолжают обитать на Таймыре — это самый восточный из самодийских народов. Их численность на сегодняшний день менее 1 тыс. человек.

[97] Это замечание является важным итогом исследований М.А. Кастрена. До него термин «остяки» распространялся и на ханты, и на енисейских кетов, что априори подразумевало их родство. М.А. Кастрен впервые установил, что енисейские остяки — это совершенно особый народ, который теперь мы именуем кетами.

[98] Pontus niger (*лат.*) — Черное море

[99] Kennst Du das Land, wo die Zitronen blühn? (*нем.*) — Знаешь ли ты страну, где цветут лимоны (*Гёте*).

[100] М.А. Кастрен здесь разделяет самодийское население Таза на два наречия, основываясь на косвенных материалах, поскольку посетить Таз ему не удалось. Тем не менее, это предположение оказалось верным: в верхнем течении Таза обитают селькупы (по Кастрену, *тазовские остяки-самоеды*), *а в низовьях — тундровые ненцы, которых* автор обоснованно определяет как одно целое с обдорскими (*амальскими*) ненцами.

[101] Ир-гум — родовое подразделение селькупов на восточных границах обитания этого народа, в соседстве с кетами. К этому роду восходит

селькупская фамилия Ириковых, зафиксированная в XIX в. на Елогуе и известная до настоящего времени.

[103] Это широко известный факт. Термином Лавк//Лик называют селькупов не только кеты, но и русские старожилы. Очевидно, это слово восходит к селькупскому «товарищ, приятель», как обращались друг к другу селькупы при общении. В древности этим словом селькупы обозначали воинов, дружинников князцов. Видимо, по звучанию слово совпало с кетским обозначением гуся, почему М.А. Кастреву и был дан кетами перевод «Гусиные люди».

[104] Имеются в виду фратрии — экзогамные половины этноса, состоящие из нескольких родов.

[104] Разумеется, «высокопарность» названия не могла привести к его смене. Более того, никакой смены названий и не было. Орлиными людьми называли себя селькупы одной из фратрий, а Гусиными людьми называли всех селькупов кеты. Что касается Журавлиных людей, то они входили на правах рода в состав фратрии Орлиных людей. Поэтому здесь нет противоречия и смены названий — Журавлиных людей в более широком смысле можно было именовать и Орлиными.

[105] Авамскими и хатангскими самоедами называла в XIX в. подразделения нганасан. Эти названия носят административно-географический характер и не имеют отношения к нганасанским родам. Авамские самоеды — это западная часть нганасан, относившаяся к Авамской инородческой управе с центром в Дудинке, хатангские самоеды — это восточная часть нганасан, проживавшая в бассейне р. Хатанга и на берегах Хатангского залива моря Лаптевых.

[106] Упомянутые М.А. Кастреном родовые подразделения известны с XVII в. Они обитали на Нижней и Средней Лене, а позже переместились на Южный Таймыр. Генетически все они действительно являлись эвенкийскими (тунгусскими) родами, однако уже на Лене испытали сильное влияние якутов. Эти родовые подразделения (а также не упомянутый Кастреном тунгусский род Каранто) приняли участие в формировании долганского народа, а род Долган дал ему и свое имя. В условиях постоянного притока якутов в XVIII–XIX вв. эвенкийские роды тюркизировались и восприняли якутский язык. В начале XIX в. две трети долган говорили по-якутски, а к двадцатому веку якутский язык победил полностью.

Что касается странного названия «жиган», то это русское искажение имени тунгусского рода *аян* (по-другому — *аян, эжан*). Очевидно, к этому родовому названию восходит и приводимый ниже самодийский термин *аймя*, которым они обозначали долганов и тунгусов. Перевод *аймя* как «младшие братья» является переосмыслением иноязычного термина на самодийский манер.

[107] Группа береговых юраков сложилась в устье Енисея в конце XVII — начале XVIII в. Ее основой послужили энецкие роды Лампай (упоминают М.А. Кастреном) и Аседа. В дальнейшем они испытали сильное влияние со стороны тундровых ненцев (юраков), так что к XIX в. от последних практически не отличались. Поэтому за ними также закрепилось название юраков. Несмотря на оненечивание, родовое название Лампай за береговыми юраками сохранилось. Считается, что этот род тесно связан с тундрово-ненецким родом Ламдо.

[108] Название Канас-кет, связанное М.А. Кастреном с р. Кан, очевидно, вовсе не является родовым этнонимом и не имеет отношения к этой реке. Так называли себя сымские (южные) кеты, на языке которых

это означает «светлый (свой) человек». В качестве обозначения любых людей-кетов этот термин встречается в фольклоре. Что касается Ульгет, то это действительно кетское родовое название, хотя оно и не связано с рекой Улуком (Улукем — тюркское название Енисея и не имеет отношения к кетскому языку). Наиболее четко это родовое подразделение прослеживается у имбатских (северных) кетов в огласовке Олгыт//Улгыт. До сих пор потомки этого рода, носящие сейчас фамилию Латкиовых, помнят о своей родовой принадлежности.

[106] Pro dolor (*лат.*) — какая печаль!

[107] Сибирское ханство, основное население которого было тюркоязычным, конечно же, нельзя считать финским государством. В стремлении отыскать в Сибири древнейшую прародину финкоязычных народов Кастрен нередко выдвигал недостаточно аргументированные идеи, надеясь в дальнейшем подкрепить их бесспорными фактами.

[108] Quantum satis (*лат.*) — сколько хочется.

[109] Предание о мифическом «белоглазом» народе, обитавшем когда-то на Приенисейских степях, подтверждается данными топонимики, археологии и антропологии. В бронзовом и раннем железном веках там обитали племена индоевропейского происхождения. Вероятно, речь шла о дивлинах — европеоидном народе, обитавшем в Южной Сибири в I тыс. до н.э. — середине I тыс. н.э. Сведения о дивлинах содержатся в трудах «отца истории» Геродота и древнекитайского ученого Сыма Цяня, где они описываются как светловолосые и голубоглазые (белоглазые) люди с длинными прямыми носами. Китайцы называли их «рыжеволосыми дьяволами».

Сегодняшние историки связывают с дивлинами т.н. татарскую археологическую культуру. Страна дивлинов находилась на Среднем Енисее, в Минусинской котловине. На юге она граничила с Хунской державой.

[110] Кыргызы — тюркоязычное племя, оседлые скотоводы и земледельцы. Потомки дивлинов и один из предков нынешних хакасов. Имели т.н. руническую письменность, которая была создана на основе письменности соседних праноязычных европеоидов-согдийцев, обитавших в Средней Азии.

[111] Койбалы до XVII в. были отдельным родом самоедоязычных маторов. Название их происходит от имени родового предводителя Койбала. К XIX в. в состав койбалов вошли кетоязычные и тюркоязычные группы, однако частично сохранялся самодийский язык. Впервые обратил внимание на самодийский язык койбалов П.С. Палляс в конце XVIII в. Койбалы занимались скотоводством, охотой и немного земледелием. Оленеводство, характерное для других южных самодийцев, у них отсутствовало. К середине XIX в. койбалы были полностью тюркизированы и вошли позже в состав хакасов.

[112] Маторы — самоедоязычный народ Северного Алтая, растворившийся в среде тюркских народов к концу XIX в. Родовые подразделения, восходящие к маторам, известны в составе восточных тувинцев, хакасов, тофаларов. Предками маторов и других южно-самодийских народов считаются дубо, известные по китайским хроникам с VII в. н.э.

[113] Сойоты (сойоны, урянхайцы) — название тувинцев в русских источниках до начала XX в. Самоназвание тувинцев — туба, тува, тыва. Название сойоты//сойоны связано с именем древнего племени соян, вошедшего в состав тувинцев. До настоящего времени в составе последних имеется род сойон.

[117] Кизильские татары, как и упомянутые ниже качинские и сагайские татары, являются родо-племенными подразделениями абаканских татар, которых М.А. Кастрен называет также минусинскими татарами. В состав пестрого образования абаканских татар вошли, помимо разных тюркоязычных племен, группы кетоязычного и самодийского (через койбалов) происхождения. В настоящее время абаканцы известны как хакасы.

[118] Similia similibus curantur (*лат.*) — подобное подобным лечится. Аналог русской пословицы «Клин клином выбивается».

[119] Ultra posse nullus obligatur (*лат.*) — никто не может сверх меры.

[120] Ville champêtre (*фр.*)— «полевой город».

[121] Сагайские татары — см. примечание 117.

[122] Айран — алкогольный напиток, получаемый из кислого молока методом перегонки. Широко распространен среди тюркских и монгольских народов Евразии.

[123] Здесь имеется в виду правило экзогамии.

[124] Айна (айны, айы) первоначально, очевидно, обозначали любых мелких духов. После укрепления шаманизма, который связывался с подземными духами, айна как основные помощники шаманов также стали считаться только подземными, злыми существами.

[125] Кудай — общее обозначение бога в мифологии тюркских народов. Именем Кудай называли также 7 богов-творцов, обитающих на небе на священной горе. Они покровительствуют людям через посредство подчиненных им духов. В распоряжении семи Кудаев находится рай.

[126] Ирле-хан (Эрлик) в мифологии тюркских и монгольских народов — глава подземного мира (царства мертвых), которому подчинены все злые духи. В его распоряжение поступают и души умерших людей. Существует предположение, что этот персонаж восходит к уйгурским буддистским верованиям об Эрли-кагане, главе ада. Эрлику в тюркской мифологии противостоит Ульгень, один из главных небесных богов, покровительствующий людям. Кастрен, как и более поздние авторы, указывает на то, что Эрлик считается главным духом шаманов. Этот феномен связан, очевидно, с тем, что почитание небесных божеств сформировалось до появления шаманизма, и ритуалы совершались родовыми старейшинами. И впоследствии шаманы почти никогда не допускались ко многим обрядам, посвященным небесным божествам.

[127] Речь идет о т.н. «писаницах» — скалах с рисунками, выполненными минеральными красками или точечной выбивкой силуэтов. На горном хребте Бояры близ Минусинска известны писаницы с изображениями людей, оленей, коз, бревенчатых и глинобитных изб, конических юрт, которые связываются учеными с населением тагарской археологической культуры (диплинами). Возраст писаниц различный — от каменного века до средневековья. Многие писаницы почитаются коренными жителями как священные места.

[128] Белтир (бельтирцы), как и уже упоминавшиеся выше сагайцы, являлись родовым подразделением абаканских татар, занимавших Минусинскую котловину. Абаканскими татарами называли политэтничное тюркское население этого района, которое постепенно консолидировалось в один этнос. В наше время он известен как хакасы, при этом происхождение этнонима «хакас» до сих пор точно не выяснено. Сами абаканцы не знали его до 30-х годов XX в., когда оно было принято в качестве официального названия народа. Исследователи связывают этноним «хакас» с кыртызами.

[129] Перечисленные здесь М.А. Кастреном родовые названия абаканских (минусинских) татар сохранялись до конца XIX в., а некоторые и позже. Кроме них, по переписям сюда включались и койбалы. Роды действительно имели происхождение от различных ветвей тюрок и самодийцев, но, связанные территорией обитания, консолидировались в одну хакасскую общность.

[130] Тубалары (туба) — группа тюркоязычных народов Северного Алтая. В их состав вошел значительный самодийский компонент. Об этом говорит уже то, что самодийцы — маторы и койбалы — употребляли такое же самоназвание (туба). Тубалары приняли участие в формировании практически всех тюркских народов Алтая — шорцев, хакасов, алтайцев, тофаларов. Однако тубалары вряд ли могли входить в состав качинцев (или только небольшая часть), как указывает М.А. Кастрен. В русских документах XIX в. качинцев относили к абаканским татарам, а тубаларов — к черневым татарам.

Тубинцы же, упомянутые здесь в качестве синонима, являлись тюркоязычной племенной группой, именуемой киргизское происхождение. В русских документах XVII–XVIII вв. их именовали киргизами-тубинцами.

[131] Использование оленя для верховой езды является особенностью алтайского оленеводства. Северные олени, например, для этой цели служить не могут из-за своих небольших размеров. Верховое оленеводство считается более древним по сравнению с вьючным, и его происхождение связывается обычно с самодийскими народами. Такой тип оленеводства сохраняется до настоящего времени у восточных тувинцев.

[132] Камассинцы — небольшая самоедоязычная народность, населявшая верховья реки Кан. В XVII в. они насчитывали около 500 чел. В конце XVIII–начале XIX в. камассинцы делились на лесных (охотников и оленеводов) и степных (скотоводов, охотников и немного — земледельцев). Первые в это время уже активно смешивались с кетоязычными котами и тюркоязычными каргасами (тофаларами), а вторые — с качинскими татарами, одной из групп абаканских татар, предков хакасов. Большое влияние на них оказала и русская ассимиляция. К началу XX в. самодийский язык среди потомков камасинцев сохранялся лишь несколько человек.

[133] Каргасы — прежнее название тюркоязычных тофаларов, употреблявшееся до начала XX в. Самоназвание — тофа (тыфа). По происхождению каргасы близки к тувинцам-тоджинцам, практикующим оленеводство. В их формировании приняли участие, кроме тюркских, самодийские племена Алтая. В настоящее время тофаларов насчитывается около 500 человек, обитают они в Нижнеудинском р-не Иркутской области.

[134] В Восточной Сибири и на Алтае слово «урал» употребляется в нарицательном значении: «скала», «каменистая гора», «высокие горы». В собственном значении Уралом называют также Кузнецкий Алатау. О происхождении этого слова существует обширная литература. По одной из версий, оно восходит к тюркскому *арал* — остров.

[135] Таскыл — гольцовая вершина гор в Казахстане, на Алтае, в Саянах, Кузнецком Алатау, Туве. Термин, очевидно, происходит от древнетюркского *таз* — камень, булыжник.

[136] Non est de nihilo, quod publica fama succurat, et partem veri fabula semper habet (*лат.*) — Нет ничего, о чем не говорит народная молва. И долю правды сказка (молва) всегда имеет.

[138] «Далай-лама Бог...» — духовный глава тибетских буддистов (ламаистов), согласно ламаистской мифологии, является земным воплощением бодхисатвы (существа, достигшего совершенства Будды, но еще не ставшего им) Авалокитешвары, олицетворяющего сострадание. «Далай» (*монг.*) — верховный, вселенский; «лама» (тибет.) — «верховный».

[139] Quattuor capita (*лат.*) — четвертая глава.

[140] Имеются в виду народы уральской языковой семьи, относящиеся к т.н. «уральскому антропологическому типу». Кастрен исходит из отождествления Уральских гор с легендарными Гиперборейскими горами древних греков.

[141] Сангха (от санскритского sampha — группа, собрание) — в буддистской мифологии одно из трех священных сокровищ — буддистская община. Таким образом, речь идет не о собственном имени храма.

[142] Сампо — в карело-финской мифологии название чудесной мельницы, источника изобилия (хлеба, денег, соли и т.п.), похищенного хозяйкой Похъелы (подземного загробного мира) и вызволенного фольклорным героем Ильмариненом или Вайнемойненом. Созвучие с тибетским «сангха», отмеченное Кастреном, носит случайный характер, что видно из различия в значении этих слов.

[143] Буряты — монголоязычный народ, обитающий вокруг оз. Байкал. Близкородственны монголам и калмыкам. Основные занятия бурят — скотоводство и охота. В настоящее время насчитывают около 350 тыс. человек, имеют свою автономию. На юго-западе активно взаимодействуют с тюркскими народами, на севере — с эвенками (тунгусами). В результате смешения с эвенками сформировалась западная группа бурят-охотников.

[144] Санскрит (от древнеиндийского «самскрта» — обработанный, совершенный) — язык, на котором говорили древние индоарии. На санскрите написана вся ведийская священная литература и первые буддистские священные книги.

[145] Имеется в виду язык саамов (лопарей), который относится к самостоятельной подгруппе финно-угорской группы языков. Обитают саамы в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии, а также на Кольском полуострове в России. Общая численность в настоящее время составляет около 60 тыс. человек.

А. Зенько, С. Пархимович

Оглавление и содержание

I. Путешествие из С.-Петербурга в Тобольск.

Путевые заметки. Отъезд из С.-Петербурга в понедельник 12 (24) марта 1843. Петербургская, Новгородская, Тверская, Московская, Владимирская, Нижегородская и Казанская губернии, необозримые равнины, Валдайские горы, берега Волги. — Города Новгород, Тверь, Москва, Владимир, Нижний Новгород. — Прибытие в Казань. — О жителях Казанской губернии. Булгары — вымершее финское племя, первоначальные жители; движение народов. Татары и русские. — Татары — смесь турок и монголов; спорные об этом мнения. — Еще существующие финские народцы: чуваши, черемисы и мордва — южного волжского племени; вотяки — северного пермского; теперешние места их жительства, число их. — Важное значение финских племен в древней истории культуры Восточной России; их земледелие и торговля: Великая Пермия (Bjarmaland) и Великая Булгария. — Филологические заметки касательно происхождения названий различных финских народцев от рек или от слова «вода». — То же относительно названий двух вымерших финских народцев: мери и муромы. 8

Письмо к Шёгрену. Казань, 31 марта (12 апреля). Прибытие в этот город. 18

Письмо к Раббе. Казань, 29 апреля (11 мая). Пребывание в Казани; Казанский университет и преподавание в нем восточных языков. — Важность сих последних для финского языка и финской истории. 19

Путевые заметки. 1) Отъезд из Казани 1 (13) мая. — Дурные дороги в это время года; пространные равнины и безлесные возвышенности; татары и татарские деревни. — Разнообразная природа в Вятской губернии: озера, леса, болота; вотяки. — Пермская губерния, город Пермь и его жители. 2) Отъезд из Перми, переезд через Урал. — Разность Урала близ Обдорска, близ Верхотурья и близ Екатеринбурга. — Тюмень. 3) Отъезд из Тюмени. — Земля и люди в Сибири. 4) Тобольск; раздумье о предстоящем направлении путешествия по инструкции и тройственное разделение его на северное, или самоедское, среднее, или остяцкое, и южное, или монголо-татарское. — План путешествия к северным самоедам по Тазу и Енисею оставляется. — Решение держаться в продолжение лета Иртыша и Оби и заниматься преимущественно остяцким языком. 22

II. Путешествие из Тобольска в Самарову.

Путевой отчет. Отъезд из Тобольска 23 мая (6 июня); станция Бронникова. — Плавание вниз по Иртышу, его течение, рукава,

острова, берега. — Демьянск и Денщикова. — Три недели в Цингалинских юртах; занятия остяцким. — Пребывание в Самаровой. — Несколько заметок касательно Иртыша: его глубина, подъем и понижение воды, разлития; новое и старое русло, *полуи* и *старицы*; гористость правого берега и низменность левого; рыба и рыболовство. — Остяки по Иртышу; влияние русских; рыболовство и звероловство. — Остяцкая юрта, внутренность ее, утварь, печь, окна; характер и внешний вид остяка. — Одежда хозяйки. — Дурное обращение с женщиной, обыкновенная цена жены, похищение жен. — Рассказы старика о чуди, чудской городок. — И доселе сохранившееся у остяков чествование медведя. 32

Письмо к Раббе. Самарова, 24 июня (6 июля). Самарова — большая русская деревня; предположение съездить на самоедскую и остяцкую ярмарку в Силярское. 47

III. Путешествие из Самаровой в Сургут.

Путевой отчет. Поездка в Силярское откладывается; плавание по реке в деревню Торопкову. — Открытие нескольких доселе неизвестных небольших самоедских родов, или племен. — Пребывание в остяцкой деревне Чебаковой на Верхней Оби. — Возвращение в Торопкову. Поездка в Силярское и в недалекие от него Балынские юрты; изучение самоедского языка. — Сродство самоедского с финскими языками. — Сродство финского, или так называемого уральского племени с алтайским. — Выход финнов из Алтайских гор. — Разлитие Оби в июле, бедствия в это время окрестных жителей. — Плавание из Бал в Сургут по Оби, покрытие тиной, пустынные берега ее. Недостаточность населения; на протяжении 200 верст только три русские деревни и несколько жалких летних остяцких юрт или рыбачьих шалашей. — В этой области и остяки редко живут постоянно на берегах Оби; большая часть по окончании рыболовства возвращается к небольшим притокам ее, местам их постоянного жительства; боязнь их всякой цивилизации. — Важнейшие в этнографическом отношении притоки Оби: Салым, Лямин Сор, Пым и его наносы — *ломы*; Балык, Юган, Три-Юган и впадающий в него Аган. — По всем этим рекам живут остяки, за исключением Лямин Сора и истоков Агана, по которым живут самоеды. 49

Письмо к Шёгрену. Торопкова, 4 (16) июля. 61

Письмо к Раббе. Чебакова, 23 июля (6 августа). 63

Письмо к Шёгрену. Сургут, 12 (24) августа. 65

Письмо к нему же. Сургут, 28 августа (9 сентября). 66

IV. Путешествие из Сургута в Нарым.

Путевой отчет. Сургут, прежде остяцкая крепость, во время завоевания Сибири — сильный казацкий город, теперь жалкое местечко с одним только названием города. — Плавание вверх по Оби из Сургута в Нарым около 800 верст. — Берега Оби постоянно пустынны и безлюдны. — Русская деревня Лохосова; предвестники зимы. — Там и здесь остяцкие летние юрты из бересты; сибирская непогода. — Устье Магиона. — Устье Ваха, его притоки и остяцкое население. Воскресенье и праздничная одежда остяков. — Деревни Нижний и Верхний Лумпокольск, русская церковь и школа для детей остяков; жалобы остяков. —

Остяцкая деревня Пирчина, граница Томской губернии. — Остяцкое племя — многочисленнейшее из туземцев Тобольской губернии; распространение его к северу до Обской губы, к югу до рек Демьянки и Васюгана и разделение на три области: Иртышскую, Верхне- и Нижне-Обьскую. — Различия языка, сургутское наречие чистейшее; различные степени культуры — иртышские остяки образованнейшие, обдорские большей чистью и не крещены еще. Честность и другие хорошие качества всех остяков, общие им недостатки — пьянство и леность. — Управление, свои законы, привилегии. — Остяцкие округа и волости и число населения их в Денщиковском, Сургутском, Кондинском и Обдорском отделах Тобольской губернии. — Продолжение путешествия в Томской губернии, жители — самоеды, хотя и именуются остяками и похожи на последних как внешностью, так и обычаями; устье Тыма и русская деревня Тымск. — Большая русская рыболовня. — Устье Васюгана; речная область его заселена, за исключением Чежабки, остяками. — Прибытие в Нарым 23 сентября (7 октября)..... 67

Письмо к Лёвроту. Нарым, 1 (13) ноября. Остяцкая грамматика кончена. — Новооткрытые самоедские наречия..... 91

Письмо к Коллману. Нарым, 4 (16) ноября. Занятия остяцким и самоедским..... 92

Письмо к Шёгрену. Нарым, 1 (13) декабря. Отчет о путешествии из Тобольска в Нарым. — Самоедское население и язык его в Томской губернии, отчасти наверно принимаемый за остяцкий; ошибка Клапрота. — Замечание касательно названий самоедских племен..... 94

Письмо к Раббе. Нарым, 1 (13) декабря. Сродство финнов с китайцами. — Поездка в деревню Тогур в 110 верстах от Нарыма..... 99

Письмо к нему же. Тогур, 11 (23) января 1846. Плохое состояние здоровья, предполагаемая поездка в Туруханск..... 100

V. Путешествие из Нарыма в Томск.

Письмо к Шёгрену. *Томск, 5 (17) марта. По отъезде из Нарыма* трехмесячное пребывание между томскими самоедами, изучение языка их и различных его наречий в деревнях Тогур и Молчановке на Оби. — Татарское племя Ешта в окрестностях Томска; предание о князьке его Тоянс..... 101

Письмо к Раббе. *Томск, 5 (17) марта. Переезд из Нарыма в Томск* 470 верст. — По дороге трехмесячное пребывание в лесных странах у самоедов; их жалкая жизнь; Барабинские болота. — Рождество и Новый год в русской деревне Тогур, необыкновенно искусный и говорливый самоед. — Масленица в деревушке Молчановой, страшно распространенное пьянство в Сибири как между мужчинами, так и женщинами. — Близ Томска татары, их гостеприимство и благодушие..... 104

Письмо к Шмельману. Томск, 5 (17) марта. Сродство финнов с тунгусами, манджурами и монголами. — Возражение против различий кавказской и монгольской рас как с физиологической, так и преимущественно с филологической..... 108

Путевой отчет. Самоеды Томской губернии. Главное *народонаселение в северных частях этой губернии от* Тыма до Чулыма, за исключением Васюганской речной области,

самоедское. — Общий обзор распространения остяцких и самоедских племен в Северо-Западной Сибири и по границам ее. — Язык, религия, образ жизни томских самоедов. — Язык их и три его наречия: 1) нижнее, 2) среднее, или кетское, и 3) верхнее. — Их мифология; Нум и подчиненные ему духи лохеты и лосеты; шаманы и фетиши, заклинания, чары. — Сходство их богатырских песен с финской «Калевалой», содержание двух самоедских богатырских песен; песни лирического содержания; старые предания о чудских могилах. — Одежда и образ их жизни теперь немногим отличается от жизни и одежды иртышских и сургутских остяков; сильное влияние на них русских. — Промыслы и ежедневные занятия лесных самоедов, живущих по притокам Оби, поездки зимой на охоту в маленьких санях, *нартах*; охотничьи снаряды и звери; рыболовство летом и зимой. 113

VI. Путешествие из Томска в Енисейск.

Письмо к Ленроту. Енисейск, 20 марта (1 апреля) 1846 г. Прибытие в Енисейск. — Филологические замечания о языках остяцком и самоедском. — Небезопасность дорог. 135

Письмо к Раббе. Енисейск, 20 марта (1 апреля). 137

Письмо к Шёгрену. Маковская, 2 (14) апреля. Маковская — деревня в 90 верстах к западу от Енисейска, намерение остаться в этой лесной стороне, чтоб разрешить спорный вопрос о натско-пумпокольских остяках. — Кое-что о путешествии из Томска в Енисейск; население по всей этой дороге русское, за исключением татар в некоторых местах. — Койбалы и различные мнения об этом татарском племени. — P.S. Пумпокольские остяки — чистые самоеды. Клапрот не прав. Степанов прав. 138

Письмо к Раббе. Маковская, 3 (15) апреля. 143

Письмо к Коллиру. Енисейск, 8 (20) мая. Возвращение из Маковской. — Бергстади в деревне Анциферовой. 144

Письмо к Шёгрену. Енисейск, 16 (28) мая. Еще кое-что о натско-пумпокольских остяках. 145

VII. Путешествие из Енисейска в Туруханск и Толстый Нос.

Путевые отчеты. 1) Отъезд из Енисейска, 18 (30) мая 1846 г. в небольшой лодке вниз по Енисею; по берегам ладины; окрестности дики и однообразны. — Вначале в зватоносной Енисейской стране встречаются еще деревни Анциферова, Назимова и другие; разнообразность населения, енисейские остяки. — Устье Сыма; ярмарка; берестяные юрты, станы князьков тунгусского и остяцкого. — Физиономия, одежда, характер, манеры и игры тунгусов. — Добродушие остяцкого князька и его семейства; крайняя бедность его, старина и мифология енисейских остяков; стрельба из луков и пляска. — Крайняя нищета как русских, так и остяков ниже Сыма. — Ссыльные разных наций и вер. — Устье Нижней Тунгуски, монастырь, древняя Мангазея, легенда. — Прибытие в Туруханск, мрачная наружность города, дома, улицы и проч. — Ярмарка и сбор податей с туземцев этой страны, енисейские остяки; баихинские, тазовские и карасинские самоеды и их князьки. — Промыслы и дикость живущих по Енисею остяков, самоедов, тунгусов и т.д. Отъезд в деревню Дудинку. — Трудность

плавания в лодке, тащимой вниз по Енисею собаками. — Пустынность берегов. — Трехнедельное пребывание в зимовье Плахине и восьмидневное в зимовье Хантайка. 2) Отъезд из Дудинки после трехмесячного в ней пребывания в Толстый Нос в так называемом *балоке* (род оленьих санок). — Зимовья Замылово, Зелякино, Казацкое и др.; все они полны енисейскими самоедами, возвращающимися с приморских тундр; их разделение на три рода: хантайских, карасинских и подгорных, или баихинских. — Прибытие в зимовье Толстый Нос. — Солнце исчезло, вместо него месяц, звезды и северное сияние 1-6

Письмо к Раббе. Туруханск, 28 июня (10 июля). — В извинение маленькая повесть о честном зырянском крестьянине Кирилле в Ижме; усиленные занятия бедными самоедами всех стран мира. — Тунгусы — дворянство Сибири, так называемые енисейские остяки — совершенно особенное племя, сосредоточенное между Енисейском и Туруханском. — Город Туруханск с 1822 г. — жалкое местечко 1-8

Письмо к Раббе. Туруханск, 13 (25) июля. Свадьба в Туруханске, прибытие в город окружного начальника 1-2

Письмо к Лёйроту. Туруханск, 28 июня (10) июля 1-3

Письмо к Шёгрену. Туруханск, 17 (29) июля. Отчет о путешествии из Енисейска в Туруханск. — Туруханск полон самоедов, занятие в продолжение шести недель по преимуществу тазовскі м наречием. — Важные поправки Клапротовых таблиц и этнографии этого наречия и лавкских гусиных остяков. — Этнографические посылки 175

Письмо к Колляну. Туруханск, 17 (29) июля 180

Письмо к Шёгрену. Дудинка, 10 (22) ноября. Причины, почему вместо того, чтобы отправиться к Тазу, отправился сюда. — Занятия со времени приезда в Дудинку, 23 августа (4 сентября) языком тавги, или авамско-самоедским. — Долганы, три небольших якутских племени 131

Письмо к Раббе. Дудинка, 10 (22) ноября. Опять в области тундр. — Ежедневные прогулки по тундрам ради здоровья, чуть не заблудился. — Статистика: люди и животные 133

VIII. Обратное путешествие из Толстого Носа в Енисейск.

Путевой отчет. Толстый Нос — поворотный пункт путешествия к северу; туземцы. — Юраки. — Возвращение в Дудинку. Авамские самоеды. — Зимовье Хантайка; трехнедельное занятие енисейскими самоедскими наречиями. — Обратная поездка в Туруханск; прибытие в него в середине января в санях, запряженных 16 собаками. — На пути из Туруханска в Енисейск исследование двух енисейско-самоедских наречий — имбацкого и сымского. — Предания и предположения о происхождении и колонизации енисейских остяков 137

Письмо к Шёгрену. Туруханск, 11 (23) января 1847 г. Прибытие в Туруханск. Несколько слов об обратном путешествии из Толстого Носа и о занятиях во время этого путешествия 192

Письмо к Шёгрену. Назимова, 22 февраля (6 марта). Занятия, несмотря на болезнь, енисейскими остяками в деревнях Верхне-Имбацке и Вахте и потом в Назимовой. — Койбалы и сойоты 1-4

Письмо к Лёйроту. Назимова, 22 февраля (6 марта). Возвращение

из полярной страны. — Енисейские остяки, их язык и особенности. — Еще о койбалах. 195
Письмо к Раббе. Назимова, 22 февраля (6 марта). 197
Письмо к Шёгрену. Енисейск, 22 марта (3 апреля). 198
Письмо к Коллану. Енисейск, 22 марта (3 апреля). Приготовления к поездке в Минусинск, цель этого путешествия. 200
Письмо к Раббе. Енисейск, 22 марта (3 апреля) 201

X. Путешествие в Минусинском округе до китайской границы
Письмо к Шёгрену. Минусинск, 20 апреля (2 мая). Отъезд из Енисейска в город Ачинск; отсюда по большой дороге в Ужур; конец зимнего пути. — Четырнадцатидневная езда по степям казильских и качинских татар вверх по Белому Юсу мимо Небесных озер. — Предания о чуди и древних могилах, или курганах; сомнительное происхождение их. — Ответ на вопросы г. Кёппена о различных татарских племенах. — Дороговизна в этой стране. 202
Письмо к Раббе. Минусинск, 22 апреля (4 мая). 207
Путевой отчет. Минусинск. — Занятия в доме качинского степного управления при устье Абакана татарским языком. — Поездка в Качинскую и Сагайскую татарские степи по левой стороне Абакана. — Койбальское погребение, погребение вообще татар. — Однообразие степи; там и сям курганы, татарские деревни, или улусы, стада и табуны, пастухи и пастушки. — Посещение богатого качинского татарина; его красивая жена; пир и совет; айран. — Опять в степи: лошадь — любимое животное татарина. — Отыскивание древних надписей по реке Уйбат. — Ночлег у трех женатых братьев. — Татарское зимовье у горы Ю-таг; хозяин-певец. — Богатырские песни татар, сходство их с финскими и самоедскими; могущество песни. — Мифологические понятия: Кудзй — высочайшее божество и доброе начало и его ханы; Айна — злое начало и Ирле-хан; чествование скал, каменных истуканов, деревьев и различных животных. — Поездка далее до реки Аскис, при впадении ее Сагайское управление. — Управления Минусинского округа. — Татарские племена, принадлежащие к каждому из них; происхождение их частью от тюрков и киргизов, частью от самоедов, енисейских остяков, аринов и маторов; предание об аринах. — Разрывание курганов. — Новые поездки по Койбальской степи вдоль правого берега Абакана. — Около трех недель в деревне Ут и окрестных улусах между койбалами; печальные воспоминания об экспедиции Палласа; русские поселенцы. — Ночь в бедной койбальской юрте; песня о Тыснар-Кусе и его жене. — Плавание вниз по Енисею от деревни Аныченое; многочисленные фигуры, высеченные на скалах, киргизского происхождения. — Поездка на восток вдоль берега Тубы. — Шадатский форпост; остюда путешествие в Саянские горы верхом. — Гора Чокур. — Николаевский золотой прииск. — Высокие, покрытые снегом вершины, или таскылы, предания о них. — Китайская граница. 208
Письмо к Шёгрену. Шуша, 15 (27) июля. Причины скорого оставления енисейских остяков. — Язык койбалов, маторов и тубинцев — прежде самоедских племен. — Древние курганы — Высеченные на камнях фигуры и знаки. 237
Письмо к Раббе. Шуша, 17 (29) июня. 240

Письмо к Шёгрену. Шадатск, 5 (17) июля 242
Письмо к нему же. Деревня Тес на Тубе, 5 (17) августа. Возвращение из полного приключений путешествия через *Саянские горы. — Посещение Небесной империи. Сойотский* дарга, или князь. — Сойоты большей частью чистые татары, частью же самоедского происхождения. — Как самоеды, так и енисейские остяки вышли из Саянской горной системы 243
Письмо к Раббе. Деревня Тес, 5 (17) августа. 246
Письмо к Шёгрену. Минусинск, 5 (17) сентября. 247
Письмо к Раббе. Минусинск, 5 (17) сентября. — Еще раз в деревне Шуше. — Опять в Минусинске 249
Письмо к Лёкроту. Красноярск, 23 сентября (5 октября). 250

X. Путешествие в Канском округе до Иркутска.
Письмо к Шёгрену. Андша, 11 (23) октября. Андша — деревня в Камасинских лесах, около 130 верст от Канска. 252
Письмо к Раббе. Андша, 5 (17) ноября. Камасинцы говорят тремя языками: татарским, самоедским и коттским, я занимаюсь последним. 254
Письмо к Шёгрену. Агульск, 1 (13) декабря. Камассинцы — три разные нации и разделяются на три улуса: Угумахов, Абалаков и Агульский. — Первый составляют по происхождению качинские татары, частью земледельцы, частью пастухи и называются степными камассинцами. — Второй — так называемые кальмашенили, или лесные камассинцы, по происхождению самоеды — единственное из оставшихся в южной части Енисейской губернии: их около 150 душ пяти различных родов, они бедны, занимаются звероловством, язык очень похож на язык северо-восточных самоедов. — Третий — остаток коттов, этих 76 душ, язык — *наречие енисейских остяков, по образованию русские.* — Карагасы. 256
Письмо к Шёгрену. Нижнеудинск, 14 (26) января 1848. Болезнь. — Речные области Аны и Усолки, даже и память об асанах исчезла в этих странах; единственные туземцы — тунгусы. — Рассеянные остатки коттов, или котовцев, наполовину русских, наполовину бурят, поблизости Нижнеудинска; контроечки близ Канска. — Занятия в Нижнеудинске монгольским и карагасским. — Карагасы — татарское племя, но многое намекает на их самоедское происхождение. — Общее происхождение карагасов, койбалов и сойотов; их языки — только диалектные разности тюркского и качинского. 261
Письмо к Раббе. Нижнеудинск, 6 (18) января. Занятие карагасским и бурятским, сродство монгольского с тюркским, самоедским и финским. 266
Письмо к Шёгрену. Иркутск, 1 (13) марта. Отъезд из Нижнеудинска в Иркутск, а отсюда в Тунку. — Находящиеся здесь сойоты теперь один только род, по языку и обычаям буряты, а по религии — поклонники ламы; всему воспоминание о их самоедском происхождении исчезло. Возвращение в Иркутск. 269
Письмо к Раббе. Иркутск, 27 февраля (10 марта). Второй раз в Иркутске, это лучший город Сибири; роскошь и петербургская мода. 271
Письмо к Европеусу. Иркутск, 27 февраля (10 марта). 272

XI. Путешествие в Кяхту и Нерчинск.
Путевой отчет. Отъезд из Иркутска в санях по Ангаре. — Переезд по гладкому льду через Байкал. — За Байкалом многочисленные деревни, население — русские и буряты; рассказы о древних исчезнувших народах и, между прочим, о народе бите; названия местностей финско-самоедского происхождения. — Верхнеудинск. — Селенгинск. — Бурятский храм при Гусином озере. — Посещение хамба-ламы в его жилище, разговор с ним о буддистском учении. — Отрывок из рукописи о Далай-ламе, Богдо Банчине и храмах тибетских; Сампо. — Бурятский чиновник. — Бурятские улусы, деревянные избы и войлочные юрты; фетиши. — Одежда богатых и бедных бурят; пиши. — Прибытие в Кяхту. — Маймачин. — Наружный вид его, улицы, ворота, жилища, дворы. — Гостеприимство китайцев. 274
Письмо к Раббе. Кяхта, 22 марта (3 апреля). Посещение Маймачина. — Пребывание у бурят, учность, медицинские и другие познания их лам. 289
Письмо к Шёгрену. Нерчинский главный рудник, 18 (30) мая. Отчет о забайкальском путешествии. — Прибытие в Кяхту; поездка в Кударейскую степь. Поездки в Хоринскую и Аинскую степи; бурятский храм в Ара-Киретю. — Яблонный хребет. — Деревня Чита; поездки отсюда по всем направлениям, чтоб познакомиться с нерчинскими тунгусами. — Прибытие в Нерчинск. — Каторжники 291
Письмо к нему же. Чита, 3 (15) июля. Три недели в русской деревне Кондуевской по причине болезни; отсюда по Агинской степи в Читу. — Занятия здесь, несмотря на болезнь, разные предания о происхождении здешних курганов 296
Письмо к Раббе. Чита, 3 (15) июля. 297
Письмо к Шёгрену. Иркутск, 12 (24) августа. Продолжение истории болезни 299
Письмо к Раббе. Иркутск, 12 (24) августа. 300

XII. Возвратное путешествие из Иркутска в С.-Петербург.
Письмо к Шёгрену. Красноярск, 3 (15) ноября. Отъезд из Иркутска и прибытие в деревню Балай. — Сильное горловое кровотечение. — Волостные чиновники; врач из Красноярска. — Меня перевозят в Красноярск; запрещение всякого движения и занятий. 301
Письмо к Раббе. Красноярск, 3 (13) ноября. 304
Письмо к нему же. Омск, 2 (14) декабря. Переезд из Красноярска в Омск с ланцетом в кармане в 12 дней. — Встреча как в Томске, так и в Омске земляков. 305
Письмо к Шёгрену. — Уфа, 21 декабря (2 января 1849 г.). — Разное о путешествии из Красноярска сюда. — Холера в Златоусте. — Священник Вологодский. 307

Донесение в Императорскую Академию наук.
Упоминовение о прежних путешествиях: в финскую и русскую пограничную Лапландию, в Северную Россию и Сибирь в 1841—1844 годах. — Краткий обзор путешествия в Сибирь 1845—1848 годов, исследования самоедского племени, по инструкции — главная цель последнего путешествия. — Плоды этих восьмилетних путешествий — масса большей частью

не приведенных в порядок материалов, преимущественно филологических и этнографических. Важнейшие из них — лингвистические заметки о самоедском языке, его трех главных наречиях и многих диалектных разностях. — Обнародованные уже сочинения о финских языках, заметки об утро-остяцком языке и его двух главных наречиях, частью уже обработанные. — Заметки о енисейско-остяцком и сродном с ним коттском, о татарских и бурятских наречиях, принадлежащих прежним остяцким и самоедским племенам, известным под различными названиями, и, наконец, материалы для тунгусского языка по нерчинскому наречию. — Этнографические материалы для описания самоедов: материалы, касающиеся енисейских остяков и коттов, с заметками об аринах, асанах, койбалах, сойотах и т.д.; касающиеся уторских остяков, минусинских татар, бурят и тунгусов. — Песни и сказки, особенно самоедов и минусинских татар. — В археологическом отношении обращалось преимущественное внимание на курганы и надписи в Минусинском округе и в Забайкалье. — Заключение. 308

Приложение.
Енисей в своем течении от Енисейска до Ледовитого моря. 316

Рисунки.
Портреты самоедов 323

Зенько А.П., Пархимович С.Г. Комментарии 325